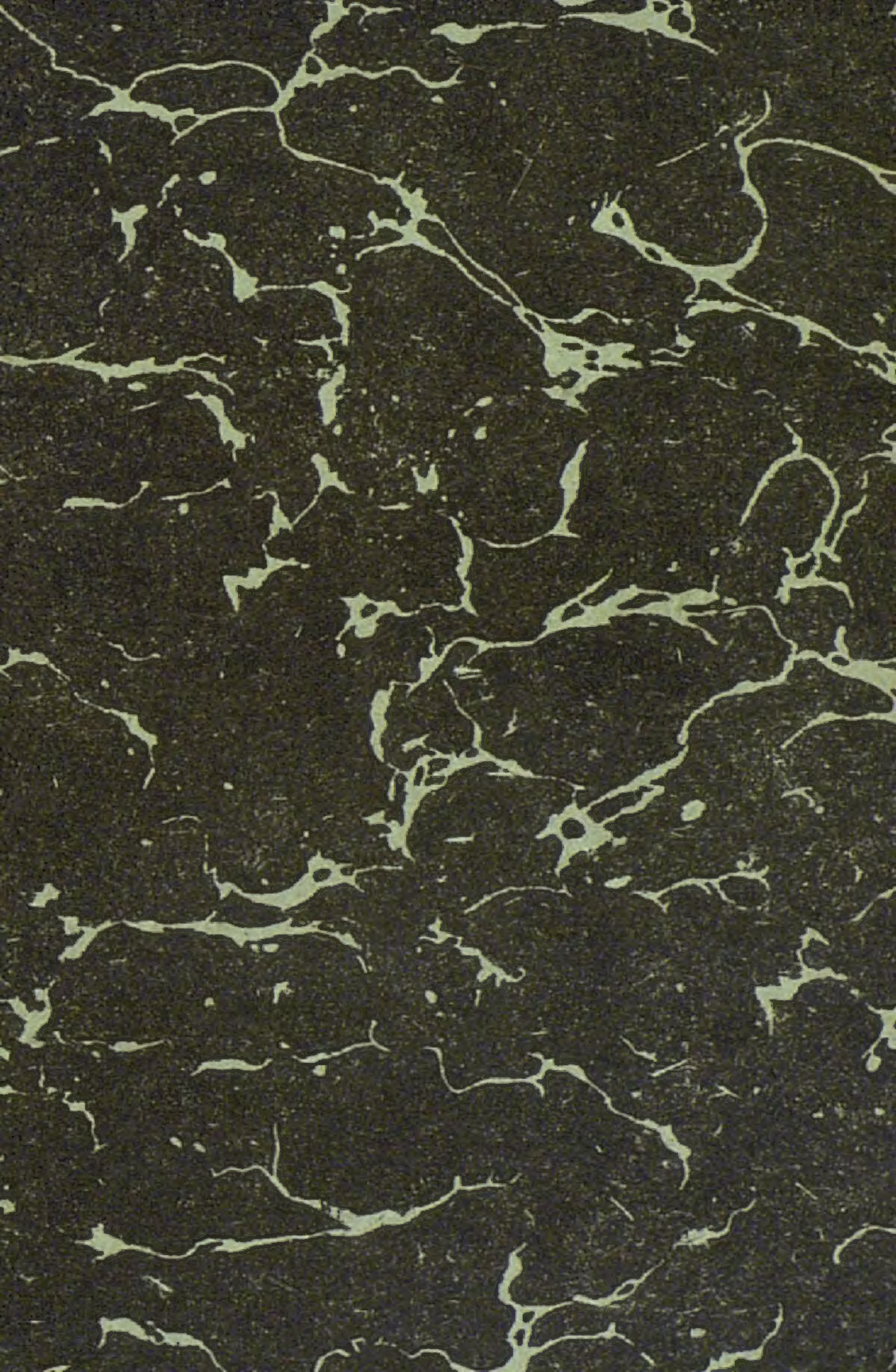


Цѣна 1 руб.

Собраніе сочиненій

Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Критико-біографическій очеркъ, вступительныя статьи, примѣчанія, библіографическій указатель, два портрета и автографъ

Подъ редакціей

Вл. П. Кранихфельда

Томъ первый



С.-Петербургъ
Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе",
Забалканскій просп., соб. д. № 75

Собраніе сочиненій

Н. А. Добролюбова.

Всемірная библіотека.

Собранія сочиненій знаменитыхъ
русскихъ и иностранныхъ писателей.

Въ эту серію входятъ слѣдующія
собранія сочиненій:

I серія.

А. В. Амфитеатрова, подъ наблюденіемъ *автора;*
Л. Н. Андреева, со вступительной статьей проф. *М. А. Рейснера;*
Ѳ. М. Достоевскаго, съ многочисл. приложеніями;
Г. А. Мачтета, подъ редакціей *Д. П. Сильчевскаго;*
В. Г. Тана, подъ наблюденіемъ *автора;*
Ольги Шапиръ, подъ наблюденіемъ *автора.*

II серія.

Д. Я. Айзмана, подъ наблюденіемъ *автора;*
С. А. Ан-скаго, подъ наблюденіемъ *автора;*
Н. Н. Златовратскаго, подъ наблюденіемъ *автора;*
Б. А. Лазаревскаго, подъ наблюденіемъ *автора;*
А. И. Левитова, со вступ. статьей *А. А. Измайлова;*
В. В. Муйжеля, подъ наблюденіемъ *автора;*
Вас. И. Немировичъ-Данченко, подъ наблюденіемъ *автора;*
Н. Ф. Олигера, подъ наблюденіемъ *автора;*
Н. М. Осиповича, подъ наблюденіемъ *автора.*

III серія.

А. С. Пушкина, подъ редакціей *П. О. Морозова* и *В. В. Каллаша;*
М. Ю. Лермонтова, подъ ред. *Арс. И Введенскаго;*
Н. В. Гоголя, подъ редакціей *В. В. Каллаша;*
И. А. Крылова, подъ редакціей *В. В. Каллаша;*
А. В. Кольцова, подъ редакціей *Арс. Ив. Введенскаго;*
С. Т. Аксакова, подъ редакціей *А. Г. Горнфельда;*
А. Н. Островскаго, подъ ред. *М. И. Писарева;*
Н. Г. Помяловскаго, съ біограф. очерк. *Н. А. Благовѣщенскаго;*
А. А. Потѣхина, подъ наблюденіемъ *автора;*
П. М. Невѣжина, подъ наблюденіемъ *автора;*
С. В. Максимова, со вступ. статьей *П. В. Быкова;*
И. С. Никитина, подъ ред. *А. Г. Ѳомина* и *Ю. И. Айхенвальда;*
Н. А. Добролюбова, подъ редакціей *В. П. Кранихфельда;*
Н. Я. Соловьева, съ портретомъ *автора.*

IV серія.

Чарльза Диккенса, со вступ. статьей *Д. П. Сильчевскаго;*
Элизы Оржешко, подъ ред. *С. С. Зелинскаго;*
Г. де Мопасана, съ критико-біографич. очеркомъ *З. А. Венгеровой,*
Эдгара По, съ критико-біографич. очеркомъ *М. А. Энгельгардта;*
Эмиля Зола, подъ редакц. и со вступ. статьями *Ѳ. Д. Батюшкова* и *Е. В. Аничкова;*
Георга Брандеса, съ предисловіемъ *М. В. Лучицкой.*

С.-Петербургъ.
Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе".
Забалканскій просп., соб. д. № 75.

Собраніе сочиненій

Н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

Критико-біографическій очеркъ, вступительныя статьи, примѣчанія, библіографическій указатель, два портрета и автографъ.

Подъ редакціей

Вл. П. Кранихфельда.

Милый другъ, я умираю
Оттого, что былъ я честенъ;
Но за то родному краю
Вѣрно буду я извѣстенъ.

Милый другъ, я умираю,
Но спокоенъ я душою...
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею.

Н. Добролюбовъ.

Томъ I.



С.-Петербургъ.
Типо-литографія Акц. О-ва „Самообразованіе", Забалканскій просп., д. № 75.

Бумага безъ примѣси древесной массы.



Оглавленіе тома I.

Приложенія.

Портретъ Н. А. Добролюбова.

Автографъ Н. А. Добролюбова.

Н. А. Добролюбовъ.

Критико-біографическій очеркъ.

I.

Не много словъ понадобилось Некрасову для того, чтобы надъ свѣжей могилой своего почившаго сотрудника характеризовать его рано оборвавшуюся жизнь: «Бѣдное дѣтство въ домѣ бѣднаго священника, бѣдное полуголодное ученіе; потомъ четыре года лихорадочнаго неутомимаго труда, и наконецъ годъ за границей, проведенный въ предчувствіи смерти, — вотъ и вся біографія Добролюбова».

И если это не совсѣмъ такъ, то *почти* такъ. Жизнь Добролюбова дѣйствительно бѣдна событіями и легко укладывается въ намѣченную Некрасовымъ упрощенную схему.

Но развѣ одними внѣшними событіями опредѣляется содержаніе человѣческой жизни? Для нея они служатъ скорѣе рамой, оправой, которая лишь намекаетъ на стиль картины, но далеко не раскрываетъ всѣхъ его особенностей и красокъ. Въ простую безыскусственную оправу внѣшнихъ событій жизни Добролюбова вставлена картина огромнаго историческаго значенія и цѣнности.

Послѣ смерти критика даже идейные его антагонисты вынуждены были говорить о литературной гегемоніи Добролюбова, а главное — объ его правѣ на эту гегемонію, какъ объ *общепризнанномъ* фактѣ. «Отрицать Добролюбова, какъ явленіе эфемерное и побочное, — высказывался по этому поводу Н. Н. Страховъ, — значитъ, въ извѣстной степени, отрицать литературу, какъ явленіе эфемерное и побочное» («Время», 1862, № 3).

А между тѣмъ писатель, завоевавшій общее признаніе, не всего себя отдалъ литературѣ, и то, что мы знаемъ подъ именемъ «сочиненій» Добролюбова, далеко еще не выражаетъ всей полноты его идейныхъ переживаній.

Когда перечитываешь опубликованные Чернышевскимъ письма, дневники и замѣтки Добролюбова [1], когда знакомишься съ собранными тѣмъ же Чернышевскимъ, но по разнымъ причинамъ до сихъ поръ не опубликованными матеріалами того же характера [2], то какъ-то невольно ставишь себѣ вопросъ: что же, въ концѣ концовъ, имѣетъ большую цѣнность, — они ли, матеріалы, открывающіе доступъ въ интимный міръ Добролюбова, или его статьи и рецензіи, которыми самъ онъ раскрывалъ передъ нами свою духовную сущность?

Хочется, конечно, не дѣлать различія между строками, написанными Добролюбовымъ для себя и для насъ. Хочется сказать, что и то и другое оди-

[1] Здѣсь имѣются въ виду „Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова“, во-первыхъ, изданные отдѣльной книгой (М. 1890), и, во-вторыхъ, вошедшіе въ „Полное собраніе сочиненій Н. Г. Чернышевскаго“ (т. IX и X, ч. 2). Сюда же, въ-третьихъ, слѣдуетъ присоединить опубликованные Литературнымъ Фондомъ (въ „Юбилейномъ сборникѣ“ и въ „Соврем. Мірѣ“) дневники Добролюбова 1855 и 1857 гг.

[2] Всѣ матеріалы, собранные Чернышевскимъ, сохраняются въ архивѣ Литературнаго Фонда.

наково вводитъ насъ во внутренній міръ Добролюбова, а, стало быть, и то и другое для насъ равноцѣнно. И это въ извѣстной степени будетъ справедливо, но не совсѣмъ.

Идеи, которыя проводитъ Добролюбовъ въ своихъ сочиненіяхъ, уже не принадлежатъ ему одному. Это общее достояніе всѣхъ насъ, и мы сплошь и рядомъ пользуемся ими, какъ стертой монетой, не зная и даже не интересуясь, кѣмъ и при комъ она отчеканена. Къ тому же мы хорошо освѣдомлены о закономѣрной преемственности идей. Мы знаемъ, что Добролюбовъ сошелъ къ намъ не съ неба и что въ сферѣ провозглашенныхъ имъ положеній у него были не только предшественники и учителя, но послѣ него остались также послѣдователи и ученики. Мы знаемъ объ этомъ до такой степени отчетливо, что часто самымъ добросовѣстнымъ образомъ смѣшиваемъ Добролюбова съ Герценомъ и Бѣлинскимъ съ одной стороны, и съ Писаревымъ — съ другой.

Но если идейная индивидуальность Добролюбова, вслѣдствіе указанныхъ причинъ, нерѣдко расплывается въ нашемъ сознаніи, теряясь своими контурами частью въ 40-хъ, частью въ 60-хъ годахъ прошлаго столѣтія, то соціально-психологическій обликъ его, выростающій изъ интимныхъ записокъ, писемъ и дневниковъ, навсегда запечатлѣвается въ нашей памяти единственнымъ и въ своемъ родѣ первымъ, — первымъ русскимъ интеллигентомъ-разночинцемъ.

Казалось бы, что и здѣсь *первое* мѣсто можетъ быть оспариваемо у Добролюбова. Бѣлинскій — вотъ первый изъ русскихъ разночинцевъ, вышедшій на широкое поприще литературы и во всеуслышаніе

провозгласившій тѣ затаенныя разночинскія мысли и мечты, которыя впослѣдствіи повторилъ и развилъ въ своихъ сочиненіяхъ Добролюбовъ.

Не надо забывать, однако, что разночинецъ Бѣлинскій былъ окруженъ тѣснымъ кольцомъ представителей старо-дворянской культуры, подъ обаяніемъ и властью которой онъ росъ, учился и работалъ. Отсюда и берутъ начало всѣ неистовства, съ которыми мы непремѣнно сочетаемъ дорогое намъ имя «неистоваго Виссаріона». Это были отчаянныя попытки прорваться сквозь строй чуждыхъ ему традицій и внѣ ихъ отыскать самого себя.

Съ бо́льшимъ правомъ могъ бы претендовать на званіе перваго русскаго интеллигента-разночинца Н. Г. Чернышевскій. Но и его (предположительную, конечно) кандидатуру приходится снять. Господинъ и хозяинъ въ области отвлеченнаго мышленія, Чернышевскій многими сторонами своей психики не можетъ быть признанъ типичнымъ для какой бы то ни было опредѣленной среды и даже для какой бы то ни было опредѣленной эпохи. Какъ чуткій мыслитель, онъ сумѣлъ крѣпкими нитями связать свою литературную дѣятельность съ самыми жгучими вопросами дня, первымъ откликаясь на всѣ злободневныя темы, но какъ человѣкъ онъ все-таки былъ — «не отъ міра сего».

Собственно говоря, такимъ же человѣкомъ «не отъ міра сего» считался, считается и до сей поры — Добролюбовъ. И этотъ въ корнѣ своемъ ошибочный взглядъ мѣшалъ разглядѣть подлинную физіономію критика. Первоначальнымъ виновникомъ этой ошибки, повторяемой всѣми біографами Добролюбова, надобно признать Чернышевскаго. Обладая всѣми матеріалами для характеристики Доб-

ролюбова, зная о многомъ «человѣческомъ, слишкомъ человѣческомъ» въ жизни Добролюбова непосредственно со словъ и писемъ своего друга и сотрудника, Чернышевскій сознательно скрылъ отъ читателей нѣкоторые документы, въ предположеніи, что есть вопросы, «надъ понятіями общества объ которыхъ еще господствуетъ пошлость, требующая тайны»[1].

Послѣдующіе біографы Добролюбова, черпавшіе свои свѣдѣнія исключительно изъ опубликованныхъ Чернышевскимъ матеріаловъ, не обратили должнаго вниманія на эту многозначительную оговорку и поспѣшили канонизировать критика, приписавъ послѣднему совершенно несвойственныя ему черты.

Скабичевскій, напримѣръ, во многихъ случаяхъ, когда ему приходилось писать о Добролюбовѣ, упорно твердитъ о присущемъ будто бы ему «строгомъ ригоризмѣ, до подвижничества христіанъ первыхъ вѣковъ».

И замѣчательно, что всѣ мы приняли эту, поистинѣ, фантастическую характеристику Добролюбова безъ всякой критики и свято, въ теченіе полувѣка, вѣровали въ нее. Какимъ-то удивительнымъ образомъ мы ухитрились сочетать въ нашемъ представленіи навязанный намъ образъ ригориста и подвижника съ живымъ и подлиннымъ обликомъ писателя, неутомимо провозглашавшаго самоцѣнность человѣческой личности и право ея на свободное самоопредѣленіе.

«Пора намъ убѣдиться въ томъ, — писалъ Добролюбовъ въ самомъ началѣ своей литературной дѣятельности, — что искать страданій и лишеній —

[1] См. „Современникъ", 1862, № 1, а также „Полное Собр. сочиненій" Чернышевскаго, т. IX, стр. 38.

дѣло неестественное для человѣка... Романтическія фразы объ отреченіи отъ себя, о трудѣ для самого труда или «для такой цѣли, которая съ нашей личностью *ничего общаго* не имѣетъ», — къ лицу были средневѣковому рыцарю печальнаго образа; но онѣ очень забавны въ устахъ образованнаго человѣка нашего времени» («Н. В. Станкевичъ»).

Случилось то, чего такъ опасался Добролюбовъ въ послѣдніе дни своей жизни: смерть разыграла надъ нимъ обидную шутку. Монашеская схима, въ которую обрядили Добролюбова послѣ смерти, и была именно этой обидной шуткой. Не пора ли, наконецъ, и прекратить ее?

II.

«Жизнь меня тянетъ къ себѣ, тянетъ неотразимо», — читаемъ мы признаніе Добролюбова въ одномъ изъ его дневниковъ институтскаго періода.

Разночинецъ выходитъ на открытую арену жизни и хочетъ взять отъ нея все, что она способна дать, — всѣ ея обольщенія, ея чары и краски. Только что окончивъ институтъ, онъ пишетъ своему товарищу А. П. Златовратскому: «Мы съ тобой еще только начинаемъ нашу весну... Насъ ожидаютъ наслажденія науки, мысли, правды, радости любви и дружбы»...

Многаго ждетъ онъ отъ жизни, хотя и знаетъ, что всѣ ея «наслажденія» и «радости» не дадутся ему въ руки даромъ. Въ его распоряженіи нѣтъ «Захара и еще трехсотъ Захаровъ», готовыхъ, по его приказанію, исполнять всѣ его капризы и прихоти. У него нѣтъ ничего похожаго на тѣ уютныя

родовыя «гнѣзда», въ которыхъ идеалисты 40-хъ годовъ наполняли свои сердца поэзіей, а копельки — ассигнаціями. Онъ долженъ будетъ, не надѣясь на чью-либо постороннюю помощь, одними только личными усиліями, упорной борьбой отвоевывать отъ жизни каждый клочекъ ея скупого счастья. Такъ что же? Развѣ вся обстановка его суроваго трудового дѣтства не подготовила его къ этой борьбѣ?

Собственно говоря, эпитетъ «бѣдный», которымъ Некрасовъ характеризовалъ дѣтство Добролюбова и матеріальное положеніе его отца, едва ли можетъ быть принятъ безъ оговорокъ и разъясненій.

Чернышевскій, выросшій въ одинаковыхъ съ Добролюбовымъ условіяхъ, склоненъ, напротивъ, подчеркивать даже избытокъ своей и добролюбовской семьи. Сравнивая свое положеніе сына городского священника съ положеніемъ десятковъ дѣйствительно бѣдныхъ, полураздѣтыхъ и полуголодныхъ дѣтей сельскаго духовенства, Чернышевскій, не безъ ироніи, конечно, но все-таки можетъ говорить о нѣкоторой степени «знатности и богатства» своей семьи. Онъ утверждаетъ даже, что большинство его семинарскихъ товарищей почувствовали бы себя въ домѣ его родителей такими же бѣдняками и ничтожными людьми, какъ самъ онъ чувствовалъ бы себя «въ салонѣ герцога девонширскаго».

Во всякомъ случаѣ, если священника нижегородской Никольской церкви Александра Ивановича Добролюбова нельзя было назвать бѣднякомъ, то отъ «герцога девонширскаго» его отдѣляло еще большее разстояніе. Тотъ незатѣйливый уютъ, который онъ успѣлъ создать для своей многочислен-

ной семьи, былъ прежде всего слишкомъ непроченъ. Не говоря уже о возможной смерти или длительной болѣзни кормильца семьи, первый же капризъ преосвященнаго Іереміи легко, однимъ росчеркомъ пера, могъ бы до основанія разрушить годами складывавшуюся обстановку. И такія покушенія со стороны архіерейскаго дома дѣйствительно дѣлались. Требовались постоянныя и напряженныя усилія, чтобы удержаться хотя бы на достигнутомъ уровнѣ благополучія, и неудивительно поэтому, что въ семьѣ о. Александра воцарилась атмосфера исключительной дѣловитости и труда.

По-своему, онъ, конечно, любилъ семью, но, вѣчно занятый, — поглощенный дѣлами прихода, законоучительства, а потомъ и домостроительства, изъ-за котораго пришлось войти въ долги, — онъ не имѣлъ ни времени, ни умѣнія, чтобы подойти къ дѣтямъ, и между отцомъ и сыномъ не установилось интимной близости. Будущій критикъ не однажды останавливался въ недоумѣніи передъ вопросомъ, — любитъ ли его отецъ или нѣтъ? Въ свою очередь, о. Александръ, часто и не безъ основанія гордившійся талантами и успѣхами сына, иногда, раздраженный какими-либо своими неудачами, обрушивался на него, обвиняя его въ холодности и равнодушіи къ отцовскимъ интересамъ.

Случилось однажды, что какъ разъ въ день Новаго года со двора Добролюбовыхъ сбѣжала корова. Весь этотъ день двѣнадцатилѣтній семинаристъ, вопреки своему обычному домосѣдству, провелъ внѣ дома и, возвратившись вечеромъ, встрѣтился съ раздраженнымъ отцомъ.

«Къ вящшему несчастью, — записываетъ въ дневникѣ Добролюбовъ, — маменька съ старшей

моей сестрой уѣхали къ А. Н. Н. на вечеръ, папаша былъ одинъ, и я долженъ былъ подвергнуться непріятностямъ. Сначала папаша пожалѣлъ о коровѣ, побранилъ заочно работницу, — за дѣло! — и принялся писать свои дѣла... Я подумалъ, что ждать мнѣ больше нечего, взялъ свѣчку и пошелъ къ себѣ въ комнату. Но папаша позвалъ меня къ себѣ и сказалъ, что «если бъ я мало-мальски радѣлъ отцу, жалѣлъ его, если бы у меня хоть немного было мозгу въ головѣ, то я занялся бы этимъ дѣломъ, а не оставилъ бы безъ вниманія, будто мнѣ все равно, хоть все гори, все распропади . . .» Послѣ этого нечего было ждать ласковаго слова. Я таки испугался предстоящей сцены и поскорѣе, по приказанію папаши, сошелъ въ кухню и разспросилъ кухарку объ успѣхахъ ея поисковъ, которые были совсѣмъ безуспѣшны. Узнавши это, я въ точности донесъ папашѣ. Онъ сталъ что-то говорить, и вдругъ, Богъ вѣсть какъ, разговоръ перешелъ ко мнѣ, и тутъ-то я долженъ былъ выслушать множество вещей, которыхъ теперь и не припомню въ подробности. Но только главный смыслъ ихъ былъ таковъ: «Ты — негодяй; ты не радѣешь отцу, не смотришь ни за чѣмъ; не любишь и не жалѣешь отца; мучишь меня и не понимаешь того, какъ я тружусь для васъ не жалѣя ни силъ, ни здоровья. Ты — дуракъ, изъ тебя толку не много выйдетъ; ты ученъ, хорошо сочиняешь, но все это вздоръ. Ты — дуракъ и будешь всегда дуракомъ въ жизни, потому что ты ничего не умѣешь и не хочешь дѣлать. Вы меня не слушаете, вы меня мучаете; когда-нибудь вспомните, что́ я говорилъ, да будетъ поздно. Можетъ я недолго ужъ проживу. Отъ такихъ безпокойствъ, тревогъ и непріятностей по неволѣ захочешь уме-

реть; лучше прямо въ могилу, чѣмъ этакъ жить. Ничего въ свѣтѣ нѣтъ для меня радостнаго; нигдѣ не найду отрады; весь свѣтъ — подлецъ; всѣ твои науки никуда не годятся, если не будешь умѣть жить. Умѣй беречь деньгу: безъ денегъ ничего не сдѣлаешь; деньги, охъ! — трудно достигаются: надо умѣть да и умѣть пріобрѣтать ихъ; какъ меня не будетъ, вы съ голоду всѣ умрете; никакія твои сочиненія тебѣ не помогутъ. Изъ тебя ничего хорошаго не выйдетъ; хило — гнило, хило — гнило; немного въ тебѣ мозгу: а еще умнымъ считаешься». — Все это, на разныя манеры повторяемое, я слушалъ съ 8 до 11 часовъ, ровно три часа . . . Каково это вынести?»

И Добролюбовъ тутъ же прибавляетъ, что такіе упреки ему приходится слышать не впервые, но на этотъ разъ они произвели на него тѣмъ болѣе тяжелое («ужасное») впечатлѣніе, что и для него лично этотъ день прошелъ неблагополучно, сильно взволновавъ и разстроивъ его.

Эта страница изъ дѣтскаго дневника Добролюбова, рисующая взаимную отчужденность между отцомъ и сыномъ, характеризуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и ту холодную замкнутость, которою, какъ щитомъ, прикрывалъ себя отъ незаслуженныхъ оскорбленій въ семьѣ самолюбивый мальчикъ. Онъ упорно отмалчивался, безъ возраженій принимая потокъ сыпавшихся на него обвиненій, и только на вопросъ: «такъ ли?» — отвѣчалъ съ подчеркиваемой односложностью: «такъ-съ», еще болѣе нервируя и раздражая отца.

Недовѣрчивый и настороженный по отношенію къ отцу, Добролюбовъ всю свою привязанность отдалъ матери, — женщинѣ, по общимъ отзывамъ.

рѣдкой доброты, привѣтливой и умной. «Отъ нея, — писалъ впослѣдствіи Добролюбовъ, — получилъ я свои лучшія качества, съ ней сроднился я съ первыхъ дней моего дѣтства, къ ней летѣло мое сердце, гдѣ бы я ни былъ, для нея было все, что я ни дѣлалъ».

Рано, чуть ли не пяти лѣтъ, выучился Добролюбовъ, при помощи матери, читать и уже съ шести или семи лѣтъ онъ пристрастился къ чтенію и постоянно сидѣлъ за книгами. Занятія получили правильный систематическій характеръ, когда къ мальчику взяли учителя. Выборъ послѣдняго оказался какъ нельзя болѣе удачнымъ. Семинаристъ философскаго класса М. А. Костровъ, впослѣдствіи породнившійся съ Добролюбовымъ женитьбой на его сестрѣ, былъ не только добросовѣстнымъ, но и талантливымъ наставникомъ. Занятія съ Костровымъ продолжались около трехъ лѣтъ, послѣ чего мальчикъ въ 1846 г. поступилъ въ старшій классъ духовнаго училища, поражая здѣсь и преподавателей и учениковъ своей основательной подготовкой.

Новая и чуждая обстановка училища встрѣтила десятилѣтняго новичка не очень дружелюбно. Младшій по возрасту изъ всѣхъ остальныхъ товарищей и значительно болѣе другихъ развитой, онъ, — застѣнчивый, робкій, — не вошелъ въ ихъ шумные и часто озорные ряды. Въ такомъ же одинокомъ положеніи онъ оставался и въ семинаріи. Внѣ классовъ онъ почти не встрѣчался съ товарищами. Это происходило не только отъ вопіющей бѣдности и дикости семинаристовъ, не рѣшавшихся переступать за порогъ дома «герцога девонширскаго», — онъ же городской священникъ и, страшно вымолвить! — членъ духовной консисторіи.

Была и другая причина отчужденности отъ товарищей. Чернышевскій, вспоминая о разгульныхъ нравахъ, царившихъ въ тѣ времена въ семинаріяхъ, замѣчаетъ, что Добролюбовъ былъ настолько моложе своихъ товарищей, что не годился бы быть участникомъ попоекъ, если бы жизнь въ семьѣ и не удерживала бы его отъ подоб ой наклонности.

Такимъ образомъ, товарищеск ія среда не нарушила того одиночества, въ которомъ однообразно и скучно протекала его жизнь дома, въ семьѣ.

III.

А между тѣмъ жизнь и тепер тянетъ его къ себѣ, «тянетъ неотразимо». Онъ жаждетъ людей, жаждетъ общенія съ ними и въ своихъ поискахъ наталкивается на отдѣльныхъ представителей мѣстнаго чиновнаго дворянства. Для юн аго семинариста это совсѣмъ особый міръ, ни мало не похожій на мѣщанскую, часто оскорбительную въ своей грубости, въ своемъ невѣжествѣ среду привычнаго ему круга. Его собственная семья заи кивает передъ этимъ высшимъ міромъ и всѣми силами старается дотянуться до него. Благопристойная и нарядная внѣшность соединяется здѣсь с ироким и разностороннимъ, съ точки зрѣнія се ариста, знаніемъ и съ уваженіемъ къ знанію. дѣсь, даже въ пылу раздраженія, не унизятъ на , не назовутъ ее вздоромъ и не противопостав ея несравненную цѣнность потной цѣнно сбереженнаго рубля.

Еще до поступленія въ духовн чилище Добролюбову привелось сблизиться съ кімъ Владимиремъ Наркисовичемъ, сыномъ п ащика, мальчи-

комъ лѣтъ 12—14. Близость ихъ, за отъѣздомъ мальчика, была непродолжительна, но надолго запечатлѣлась въ памяти Добролюбова однимъ изъ лучшихъ воспоминаній дѣтства. Нѣкоторые слѣды этой кратковременной дѣтской дружбы сохранились въ бумагахъ Добролюбова, при чемъ нельзя пройти безъ вниманія мимо затѣянной ими «литературной игры»: перевоплощаясь въ царей, полководцевъ, они писали другъ другу письма отъ имени этихъ историческихъ лицъ, и получившій такое письмо долженъ былъ отвѣчать въ духѣ того историческаго лица, къ какому оно было адресовано. Культурный характеръ этой дѣтской забавы даетъ яркое представленіе и о характерѣ духовныхъ запросовъ и потребностей маленькаго поповича, который въ своей средѣ такъ и не нашелъ замѣстителя уѣхавшему изъ Н.-Новгорода Владиміру Нарцисовичу.

Правда, спустя нѣсколько лѣтъ въ семинаріи онъ одно время сошелся близко съ нѣкіимъ В. Л—имъ. Но дружба съ нимъ тяготила Добролюбова. Особенно тяготило его вліяніе, которому подчинилъ его Л—ій и отъ котораго онъ всѣми силами старался освободиться. И когда это, наконецъ, удалось ему, онъ отмѣтилъ свое освобожденіе въ дневникѣ (24 января 1853 г.) какъ событіе, какъ побѣду, знаменующую его моральный и умственный ростъ. Въ чемъ же заключалось вліяніе Л—аго? «Онъ научилъ меня, по природѣ серьезнаго, — пишетъ Добролюбовъ, — смѣяться надо всѣмъ, что только попадется въ глаза; онъ заставилъ меня, человѣка довольно основательнаго и медленнаго, смотрѣть на предметы поверхностно, произносить о нихъ сужденіе, посмотрѣвши только форму и не ка-

саясь содержанія; изъ ума моего онъ сдѣлалъ остроуміе, изъ презрѣнія ко многому — насмѣшку надъ этимъ многимъ, изъ внимательности — находчивость».

Не замѣчательно ли, что семнадцатилѣтній юноша, подводя итоги вліянію Л— аго, приписываетъ себѣ какъ разъ именно тѣ самые недостатки, которые потомъ, почти въ его же собственныхъ выраженіяхъ, припишутъ Добролюбову-критику его литературные враги изъ лагеря стараго барскаго идеализма?

Конечно, Добролюбовъ, всегда черезчуръ строгій къ самому себѣ, и на этотъ разъ преувеличилъ свою, внушенную будто бы Л—имъ «не-серьезность». Конечно, по свойственной всѣмъ вообще врагамъ особенности зрѣнія, преувеличатъ въ будущемъ эту мнимую «не-серьезность» Добролюбова и враждебные ему романтики.

Но фактъ тотъ, что въ пору своей ранней юности Добролюбовъ сошелся съ будущими своими противниками въ отрицательной оцѣнкѣ нѣкоторыхъ несомнѣнно ему присущихъ свойствъ.

Очень возможно, что В. Л—ій, о которомъ мы знаемъ только то немногое, что сообщилъ намъ Добролюбовъ, дѣйствительно пересаливалъ въ своемъ остроуміи, высмѣивая все, «что только попадается на глаза». Но дѣло здѣсь не въ степени. Дѣло въ томъ, что романтическое настроеніе, которое переживаетъ Добролюбовъ-семинаристъ, совершенно не уживается со смѣхомъ. Скромную дань своему природному юмору онъ отдалъ въ 1850 г., когда задумалъ вести «Лѣтопись классическихъ глупостей», но и ее онъ оборвалъ на первыхъ же полутора рукописныхъ страничкахъ. Теперь

ему не до смѣха. Чистой поэзіей хочетъ онъ освѣтить свою одинокую и убогую юность. И онъ всюду ищетъ этой поэзіи.

Окружающая его обстановка скромнаго мѣщанскаго уюта и мѣщанской дѣловитости лишена поэзіи въ его глазахъ. Она представляется ему «грязнымъ омутомъ» съ «немытыми, нечищенными физіономіями», съ «душной атмосферой педантскихъ выходокъ, грубыхъ ухватокъ и пошлыхъ остротъ» (Дневникъ 1852 г.).

Онъ усиленно тянется изъ этого круга въ привлекающій его своею нарядною внѣшностью міръ нижегородской аристократіи, но это не удается ему. И сколько обидныхъ щелчковъ, сколько больныхъ уколовъ встрѣтилъ на этомъ пути неуклюжій, застѣнчивый поповичъ со своими близорукими отъ постояннаго чтенія глазами! Тамъ небрежный кивокъ въ отвѣтъ на привѣтствіе, здѣсь сухой оскорбительный пріемъ, — и за все это самолюбивый юноша казнитъ, конечно, самого себя, свою нелюдимость и неловкость. О, если бы онъ не былъ такимъ! «Нынѣшній вечеръ, — записываетъ онъ 9 ноября 1852 г., — я готовъ былъ пожертвовать всѣмъ моимъ умомъ, познаніями, благородствомъ, лучшими убѣжденіями за поверхностное образованіе, пошлую болтовню и развязныя манеры свѣтскаго фата»...

Были условія, которыя даже благопріятствовали сближенію съ мѣстной чиновной аристократіей. Въ домѣ его отца занимали въ разное время квартиру Щепотьевы, Пещуровы, Прутченко, Галаховы, кн. Трубецкіе. Все это были въ общемъ недурные люди, впослѣдствіи оказавшіе и самому Добролюбову и его семьѣ много цѣнныхъ услугъ. Теперь

же, такъ сказать, географическая близость съ квартирантами должна была стирать условныя границы между ними и семьей священника. Такъ оно и складывалось на дѣлѣ: отношенія съ «квартирантами» устанавливались дружескія, простыя. Но тѣмъ разительнѣе казалась стѣна, немедленно же выроставшая, какъ только квартирантъ переставалъ быть квартирантомъ, т. е. попросту переѣзжалъ на другую квартиру.

Рельефно и ярко вырисовывается изъ дневника Добролюбова одинъ подобный эпизодъ. Въ добролюбовскомъ домѣ въ 1852 г. жила семья Щепотьевыхъ, съ которой у юноши установились добрыя дружескія отношенія. «Побывать у постояльцевъ и поиграть тамъ съ ихъ прекрасными дѣтьми», — для этого со стороны Добролюбова не требовалось никакихъ усилій, никакой борьбы со своей застѣнчивостью: захотѣлъ и пришелъ. Изъ всѣхъ дѣтей особенно ему нравилась двѣнадцатилѣтняя дѣвочка Ф., къ которой онъ питалъ даже болѣе чѣмъ дружбу, хотя и не открывалъ ей своихъ чувствъ. И вотъ осенью постояльцы переѣзжаютъ на другую квартиру. Казалось бы, чего тутъ горевать? Не такъ ужъ великъ Н.-Новгородъ, чтобы переѣздъ на новую квартиру могъ бы помѣшать дружескимъ встрѣчамъ. А между тѣмъ Добролюбовъ отнесся къ этому простому случаю какъ къ какому-то стихійному бѣдствію, роковому, непоправимому. Трогательно описавъ разлуку съ дѣвочкой, на третій день онъ снова заноситъ въ дневникъ: «два дня прошло безъ нихъ, и я не исцѣляюсь отъ тоски моей» . . .

Въ поискахъ родственной души, съ которой онъ могъ бы, по собственнымъ его словамъ, отдохнуть въ веселомъ или умномъ разговорѣ отъ пустоты сво-

ей жизни, Добролюбовъ встрѣчаетъ на своемъ пути только что назначеннаго въ нижегородскую семинарію учителя нѣмецкаго языка И. М. Сладкопѣвцева. Несмотря на многословныя и восторженныя страницы, посвященныя ему Добролюбовымъ въ дневникахъ и письмахъ, личность Сладкопѣвцева не вырисовывается изъ нихъ какими-нибудь особенно выдающимися качествами. Но онъ былъ молодъ, ему, только что окончившему петербургскую духовную академію, предшествовали хорошіе отзывы, и этого было достаточно, чтобы Добролюбовъ заочно возлюбилъ его. Это была даже не любовь, а какое-то восторженное обожаніе, вылившееся въ болѣзненныя формы. Цѣлый годъ Добролюбовъ издали преклонялся передъ своимъ кумиромъ, не рѣшаясь приблизиться къ нему. Наконецъ, случайно онъ сошелся съ нимъ ближе. «Что-то особенно возбуждало во мнѣ благоговѣніе къ нему»,— писалъ Добролюбовъ, самъ затрудняясь опредѣлить источникъ своего восторга. И когда Сладкопѣвцева перевели въ Тамбовъ, отчаяніе Добролюбова не знало предѣловъ. «Какія проклятія, какія слова выразятъ то, что я чувствую теперь въ глубинѣ души моей... Я теперь надѣлалъ бы чортъ знаетъ что, весь міръ перевернулъ бы вверхъ дномъ, выцарапалъ бы глаза, откусилъ бы и пальцы тому, который подписалъ увольненіе Ивана Максимовича»...

IV.

Неудачи и разочарованія, которыя Добролюбову приходится испытывать въ его тяготѣніи къ людямъ, заставляютъ его чаще и чаще обращаться къ религіи. Въ исповѣданіи вѣры и въ дѣлахъ ея онъ ищетъ все той же поэзіи, которой лишена окружающая его

обстановка. Не напрасно же, поступивъ въ Педагогическій институтъ, онъ пишетъ отцу о своей религіозной настроенности: «мы съ большимъ благоговѣніемъ смотримъ на все священное именно потому, что оно дальше отъ насъ». Для студентовъ же академіи — поясняетъ онъ дальше — «все это дѣлается ужъ слишкомъ обыкновеннымъ, чтобы не сказать пошлымъ». Но и на этомъ пути его ожидаютъ неудачи, которыя объясняются уже не внѣшними обстоятельствами складывающейся жизни, а внутренними причинами — аналитической работой его критическаго ума. Потому что, чѣмъ сильнѣе разгорается въ немъ жажда вѣры, тѣмъ энергичнѣе въ то же время начинаетъ работать его критическая мысль. За нѣсколько мѣсяцевъ до отъѣзда въ Петербургъ Добролюбовъ со стороны производилъ впечатлѣніе «самаго набожнаго человѣка въ Нижнемъ», какъ характеризуетъ его Костровъ. И въ самомъ дѣлѣ, — юноша усердно и съ глубокимъ чувствомъ молится, самымъ строгимъ образомъ выполняетъ всѣ церковные обряды и предписанія и, наконецъ, заводитъ подневную записку, съ имъ же изобрѣтеннымъ названіемъ: «Психоторіумъ» — углубленіе въ душу. Изо дня въ день записываются имъ здѣсь всѣ его грѣховныя дѣянія и помышленія. Кажется, какъ будто онъ дошелъ до предѣла, за которымъ уже начинается религіозная экзальтація. Но на самомъ дѣлѣ это увлеченіе религіей совпадаетъ у Добролюбова съ моментами остраго сомнѣнія въ ней, и оба эти душевныя настроенія съ одинаковой яркостью отражаются въ «Психоторіумѣ».

Все-таки книги, книги самаго разнообразнаго содержанія, оказались наиболѣе вѣрными друзьями

одинокаго дѣтства Добролюбова. Правда, и къ семинарской наукѣ, хотя она и тяготила его, онъ относился съ полною добросовѣстностью, манкируя уроками только по болѣзни. Разночинцу, пробивающему себѣ дорогу къ жизни, нельзя пренебрегать дипломомъ. Но, благодаря своимъ блестящимъ способностямъ, онъ бросаетъ семинарской схоластикѣ лишь немногіе часы, а все остальное время отдаетъ книгѣ. Пока что недостатка въ книгахъ онъ не испытываетъ. Въ домѣ есть большая сравнительно библіотека, собранная, должно быть, въ дни молодости отцомъ. За книгами онъ не стѣсняется обращаться и къ знакомымъ. Постоянному чтенію книгъ Добролюбовъ обязанъ своимъ развитіемъ, которое впослѣдствіи изумляло даже очень и очень на этотъ счетъ требовательныхъ людей.

Переходъ отъ книги къ бумагѣ для одинокаго человѣка почти неизбѣженъ: надо же, въ концѣ концовъ, подѣлиться съ кѣмъ-нибудь своими знаніями, сомнѣніями, вопросами. И вотъ почему Добролюбовъ съ раннихъ лѣтъ почувствовалъ потребность въ бумагѣ. Потребность перешла въ привычку, привычка въ страсть, удовлетворяя которой Добролюбовъ радъ былъ снизойти даже до презираемой имъ «семинарской пыли». Онъ поражалъ весь классъ, закатывая «задачи», — хріи и диссертаціи — въ 30, 40 и 100 листовъ!

Внимательно разбираясь въ своихъ собственныхъ душевныхъ переживаніяхъ, онъ заводитъ дневники, однодневныя записи которыхъ занимаютъ пространство иногда въ нѣсколько печатныхъ страницъ. Пишетъ стихи, письма, которыя не отправляетъ по адресу, набрасываетъ на отдѣльныхъ клочкахъ заинтересовавшія его мысли, сочиняетъ

разсказы и повѣсти [1], создаетъ планы разнообразныхъ другихъ литературныхъ работъ. Изъ числа этихъ послѣднихъ вниманіе мое особенно привлекла одна рукопись, которая какъ-то сразу освѣтила для меня цѣликомъ всего Добролюбова, сливъ въ одномъ красивомъ образѣ религіозно настроеннаго ребенка съ будущимъ критикомъ, одушевленнымъ демократическими идеалами. Рукопись не имѣетъ даты, но характерный для дѣтскихъ сочиненій Добролюбова почеркъ позволяетъ съ увѣренностью отнести ее къ раннимъ литературнымъ опытамъ, времени 1848 - 1849 года. Рукопись озаглавлена «Священная исторія для простолюдиновъ» и заключаетъ въ себѣ набросокъ лишь первой главы («Начало міра»), которая открывается словами: «Этотъ прекрасный міръ, который мы видимъ, существовалъ не всегда» . . .

Вотъ оно, — еще, конечно, неосознанное и неоформленное, — начало народнической тяги Добролюбова къ «*простолюдинамъ*» (они же впослѣдствіи «простонародье» — народъ), которымъ онъ пытается открыть глаза на этотъ загаженный человѣчествомъ, но все же по существу *прекрасный* міръ.

Сроднившись съ бумагой, на которую онъ дѣйствительно, благодаря постоянной практикѣ, легко и свободно переноситъ свои мысли и настроенія, Добролюбовъ рано сталъ задумываться о писательствѣ какъ о профессіи. Въ отличіе отъ писателей старой барской закваски, съ ихъ неизмѣнной щепетильностью въ вопросѣ объ оплатѣ авторскаго труда, юный разночинецъ сразу же взглянулъ на дѣло

[1] Изъ самыхъ раннихъ работъ Добролюбова въ этомъ духѣ слѣдуетъ упомянуть исписанное мелкимъ почеркомъ сочиненіе въ видѣ писемъ съ датою 3 апрѣля 1848 г.

просто. Для разночинца трудъ — единственный источникъ его существованія, и, стало быть, барскимъ сантиментамъ здѣсь не мѣсто. И вотъ, написавъ изрядное количество стиховъ, четырнадцатилѣтній разночинецъ шлетъ въ столицу, въ редакцію «Москвитянина», декларацію: пришлите мнѣ 100 рублей, по полученіи которыхъ я, съ своей стороны, вышлю вамъ 40 стихотвореній. Правда, это вышло немножко неловко, — самонадѣянно, задорно. Сообразивъ это, юноша не въ малой степени сконфузился. «Это давно лежитъ у меня на совѣсти, — вспоминаетъ онъ черезъ два года въ своемъ дневникѣ: — и если когда-нибудь выведутъ на чистую воду, то я не знаю, что еще можетъ быть для меня стыднѣе этого? . .» Теперь онъ посылаетъ свои стихотворенія и статейки, не ставя никакихъ условій и полагаясь всецѣло на совѣсть самихъ редакцій. Но по существу отношеніе его къ литературѣ, какъ къ профессіи, остается то же. «Я въ своихъ мечтахъ не забываю и деньги и, разсчитывая на славу, разсчитываю вмѣстѣ и на барыши» — записываетъ онъ въ дневникъ рядомъ съ покаяннымъ признаніемъ о неудачной деклараціи въ «Москвитянинъ». И надобно замѣтить, что этотъ преувеличенно дѣловитый тонъ, который чувствуется въ оцѣнкѣ Добролюбовымъ будущихъ литературныхъ барышей, отнюдь не принижаетъ литературу въ его глазахъ. Напротивъ. Какъ разъ именно эта дѣловитая, такъ сказать, профессіональная точка зрѣнія побуждаетъ его относиться къ дѣлу съ такою серьезностью, съ какою едва ли до него относился къ литературѣ кто-либо изъ писателей-идеалистовъ. Раннія неудачи ни мало не сокрушаютъ его. «Это все пока вздоръ» — замѣчаетъ

онъ о нихъ въ дневникѣ и прибавляетъ: «гораздо важнѣе для меня пріобрѣтеніе нѣкоторыхъ положительныхъ знаній и большая установленность или твердость взгляда и убѣжденія». Онъ вѣчно недоволенъ собой, вѣчно стремится къ совершенствованію. И даже послѣ того, какъ первыя статьи его блеснули въ «Современникѣ» и сразу же обратили на себя вниманіе читателей и журналистики, онъ, неудовлетворенный собою, пишетъ (въ 1858 г.) Л. Н. Пещуровой: «Вы хотите, чтобы мое писанье составляло для меня утѣшеніе и гордость? Я вижу самъ, что все, что пишу, слабо, плохо, старо, безполезно . . . Поэтому я не дорожу своими трудами, не подписываю ихъ, и очень радъ, что ихъ никто не читаетъ» . . .

Итакъ, еще въ семинаріи передъ Добролюбовымъ обозначилась впереди литературная карьера. Онъ рѣшилъ быть писателемъ, и съ точки зрѣнія этого рѣшенія вполнѣ объяснимы его колебанія и нерѣшительность въ выборѣ для себя высшаго учебнаго заведенія. Въ одномъ онъ настойчивъ и твердъ: онъ ни въ какомъ случаѣ не поѣдетъ въ Казань, хотя нижегородская семинарія въ извѣстной степени и была связана существовавшими въ то время правилами съ казанской духовной академіей. Для Добролюбова важенъ Петербургъ, — «не по желанію видѣть сѣверную Пальмиру, не по разсчетамъ на превосходство столичнаго образованія: это все на второмъ планѣ, это только средство. На первымъ же планѣ стоитъ удобство сообщенія съ журналистами и литераторами», потому что, объясняетъ онъ въ дневникѣ 15 марта 1853 г.: «главнымъ образомъ соблазняетъ меня авторство». Неудивительно поэтому, что, несмотря на давнія мечты объ университетѣ, онъ, по собственному признанію, безъ особенной

настойчивости поддерживаетъ ихъ въ бесѣдахъ съ отцомъ. Вѣдь отецъ согласился отпустить его въ Петербургъ, а въ такомъ случаѣ не все ли въ сущности равно, — академія ли или университетъ? И въ концѣ концовъ Добролюбовъ — не только мирится съ академіей, но и самъ находитъ въ ея пользу аргументы: «разница между тѣмъ и другимъ [т. е. между университетомъ и академіей] самая малая, а между тѣмъ сберегается въ 4 года около 1000 руб. сер. — вещь немаловажная».

Заручившись письмомъ епископа Іереміи къ ректору петербургской духовной академіи, Добролюбовъ въ августѣ 1853 г. отправляется въ Петербургъ.

V.

Случайность столкнула въ Петербургѣ Добролюбова со студентомъ, который два года назадъ, не выдержавъ экзамена въ академію, поступилъ въ Главный Педагогическій институтъ. Добролюбовъ соблазнился этимъ примѣромъ и, выдержавъ экзаменъ въ институтъ, предпочелъ въ немъ и остаться, рискуя навлечь на себя гнѣвъ отца и Іереміи. Однако, вопреки тревожнымъ ожиданіямъ Добролюбова, все обошлось благополучно.

Объ институтскомъ періодѣ жизни Добролюбова, помимо опубликованныхъ въ разное время его дневниковъ и переписки, въ архивѣ Литературнаго Фонда имѣется еще совершенно неиспользованный высокой цѣнности матеріалъ, который даетъ возможность въ значительной мѣрѣ восполнить установившіеся по этому поводу взгляды. Я имѣю въ виду главнымъ образомъ воспоминанія товарищей и друзей Добролюбова — Б. И. Сциборскаго и М. И. Ше-

мановскаго, а также нѣкоторые офиціальные документы, которыми и буду здѣсь пользоваться.

Послѣ семинаріи институтъ, несмотря на царившіе въ немъ казарменные порядки, произвелъ на Добролюбова хорошее впечатлѣніе. И нѣкоторое время онъ хвалитъ въ своихъ письмахъ всѣхъ, начиная отъ директора И. И. Давыдова, который показался ему прекраснѣйшимъ и благороднѣйшимъ человѣкомъ, и кончая профессорами, многіе изъ которыхъ дѣйствительно были талантливыми лекторами и стояли на высотѣ современнаго знанія. Подъ руководствомъ этихъ профессоровъ Добролюбовъ съ огромнымъ усердіемъ взялся за институтскую науку, и мы знаемъ [1], что въ теченіе четырехлѣтняго своего пребыванія въ институтѣ онъ выполнилъ нѣсколько значительныхъ и серьезныхъ работъ.

Среди товарищей Добролюбовъ, по словамъ Сциборскаго, выдѣлялся первое время необыкновенной уступчивостью и мягкостью въ обращеніи со всѣми, независимо отъ нравственнаго достоинства личности. Онъ говорилъ тогда, что на всякаго нужно смотрѣть прежде всего какъ на человѣка, а потомъ уже судить о его достоинствахъ и недостаткахъ. Но давыдовскій режимъ сумѣлъ заставить Добролюбова измѣнить это отношеніе къ людямъ, и скоро онъ говорилъ уже, что не всякое животное на двухъ ногахъ можно назвать человѣкомъ. Впрочемъ, мягкость въ его характерѣ осталась навсегда.

Большинство принятыхъ въ 1853 г. вмѣстѣ съ Добролюбовымъ въ Педагогическій институтъ были семинаристы, меньшинство—гимназисты. Первые избрали филологическій факультетъ института, вто-

[1] См. предисловіе къ тому VIII настоящаго изданія.

рые — математическій. Математики смотрѣли на семинаристовъ свысока и даже нѣсколько враждебно, посмѣиваясь надъ семинарской неуклюжестью, ненаходчивостью и робостью.

Впослѣдствіи совмѣстная жизнь, общіе интересы и общая борьба съ начальствомъ сблизили эти враждующія группы, при чемъ первымъ поводомъ къ сближенію послужилъ слѣдующій случай, разсказанный Шемановскимъ. Въ институтѣ куреніе преслѣдовалось, но, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, преслѣдованія цѣли не достигали. Однажды инспекторъ института Тихомандрицкій обрушился на студентовъ за нарушеніе этого правила, и грубая форма его окриковъ особенно задѣла самолюбіе математиковъ. Послѣдніе стали подбивать филологовъ подать Давыдову жалобу. Жалоба была написана Добролюбовымъ и подана имъ вмѣстѣ съ однимъ математикомъ Давыдову въ присутствіи цѣлаго курса. Директоръ жалобу принялъ, но повелъ дѣло обычнымъ порядкомъ: требовалъ выдачи зачинщиковъ, угрожая въ противномъ случаѣ исключить студентовъ, подавшихъ жалобу. Исторія, все болѣе и болѣе осложняясь, тянулась нѣсколько дней, пока, наконецъ, подавшіе жалобу Добролюбовъ съ товарищемъ не объявили зачинщиками самихъ себя.

Въ столкновеніяхъ съ институтскимъ начальствомъ Добролюбовъ всегда готовъ былъ, по отзыву того же Шемановскаго, идти на самопожертвованіе, и это тѣмъ болѣе цѣнилось студентами, что Давыдовъ безконтрольно распоряжался судьбою студентовъ и, по желанію, могъ любого изъ нихъ закатать приходскимъ или уѣзднымъ учителемъ куда-нибудь въ Якутскую область. Прямота, чувство товарищества, выдающіяся начитанность и развитіе Добролюбова

выдѣляли его изъ среды остальныхъ студентовъ института и привлекали къ нему вниманіе и симпатіи товарищей. Впрочемъ, этотъ первый годъ институтской жизни до такой степени былъ заполненъ факультетскими занятіями, что, при своей замкнутости, Добролюбовъ успѣлъ близко сойтись, да и то по особому случаю, только съ однимъ Д. Ѳ. Щегловымъ [1].

Этимъ особымъ случаемъ была послѣдовавшая отъ родовъ 8 марта 1854 г. смерть матери Добролюбова. Извѣстіе объ этомъ свалившемся на его семью несчастьѣ произвело на Добролюбова потрясающее впечатлѣніе. Утѣшая своими письмами отца, самъ онъ временами доходилъ до послѣдняго отчаянія «Милая, дорогая моя! — заноситъ онъ въ свой дневникъ: — я всего лишился въ тебѣ. Мнѣ тяжко, мнѣ горько. Помолись за меня, чтобы Богъ остановилъ меня на краю гибели! Вѣдь ты чистая праведница. Явись мнѣ, утѣшь меня. Дай мнѣ вѣру, надежду».

Вотъ въ эти-то тяжелыя для Добролюбова дни, когда онъ въ своемъ одинокомъ горѣ такъ нуждался въ постороннемъ участіи, къ нему и подошелъ Щегловъ. Осторожно, со всею чуткостью, свойственной юности, Щегловъ коснулся тяжелой душевной раны товарища, всѣми мѣрами помогая ему залѣчить ее. Въ то же время Добролюбовъ, все еще бывшій во власти религіозныхъ традицій своего дѣтства, быть можетъ впервые, въ лицѣ Щеглова, столкнулся съ убѣжденнымъ защитникомъ иного міровоззрѣнія. Подготовленный собственными сомнѣ-

[1] Д. Ѳ. Щегловъ, державшійся въ институтѣ крайнихъ лѣвыхъ взглядовъ, впослѣдствіи радикальнѣйшимъ образомъ измѣнилъ имъ. Въ 1859 г. имъ написана тенденціозная въ этомъ смыслѣ книга „Исторія соціальныхъ системъ“.

ніями, Добролюбовъ съ полною терпимостью отнесся къ взглядамъ своего новаго товарища, хотя и не сразу принялъ ихъ. И только новое несчастье, обрушившееся на него черезъ пять мѣсяцевъ послѣ перваго, заставило Добролюбова заново пересмотрѣть всѣ свои прежнія вѣрованія и навсегда уже отказаться отъ нихъ. Это была смерть отца, заставшая Добролюбова въ Н.-Новгородѣ во время его первыхъ институтскихъ каникулъ.

И какъ ни велико было это новое несчастье, взвалившее на 18-лѣтняго юношу моральную и матеріальную отвѣтственность за судьбу осиротѣвшей семьи, — пяти сестеръ и двухъ братьевъ, — Добролюбовъ имѣлъ всѣ основанія «благословить» его:

Благословенъ тотъ часъ печальный,
Когда ошибокъ дѣтскихъ мгла
Вслѣдъ колесницѣ погребальной
Съ души озлобленной сошла!..[1]

Добролюбовъ какъ-то сразу возмужалъ и, сбросивъ съ себя всѣ цѣпи прошлаго, быстро и увѣренно пошелъ впередъ навстрѣчу новымъ запросамъ своего времени.

Послѣ смерти о. Александра семья Добролюбовыхъ осталась безъ всякихъ средствъ. Единственное достояніе ихъ заключалось въ домѣ, весь доходъ съ котораго уходилъ, однако, на погашеніе лежавшаго на немъ долга. Первымъ побужденіемъ Добролюбова было поэтому бросить институтъ и, выпросивъ себѣ мѣсто уѣзднаго учителя въ родной губерніи, содержать семью. Но его удалось отговорить отъ этого шага, послѣ того какъ среди родственниковъ

[1] См. стихотвореніе Добролюбова „Памяти отца" въ т. VIII настоящаго изданія.

и знакомыхъ семьи нашлись желающіе взять на воспитаніе сиротъ. На время Добролюбова удовлетворило такое рѣшеніе вопроса, но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ подаетъ въ конференцію института записку, въ которой уже офиціально заявляетъ о своемъ желаніи выйти изъ института. «Я не простилъ бы себя, — пишетъ онъ здѣсь, — если бы не сдѣлалъ всего, что только въ силахъ сдѣлать для избавленія сиротъ отъ ихъ тяжелой доли». Конференція не захотѣла, однако, потерять выдающагося «по своимъ прекраснымъ способностямъ и отличнѣйшимъ успѣхамъ» студента и, чтобы удержать его, занялась, черезъ товарища министра народнаго просвѣщенія кн. П. А. Вяземскаго, устройствомъ семьи Добролюбова. Такъ, благодаря именно этимъ хлопотамъ, за старшей сестрой Добролюбова былъ записанъ приходъ отца, чему долго и упорно противодѣйствовалъ епископъ Іеремія, только теперь вдругъ почему-то вспомнившій, что Добролюбовъ противъ его воли пренебрегъ академіей.

Итакъ, Добролюбовъ остался въ институтѣ, но теперь онъ заваленъ частными уроками, которыхъ усердно ищетъ для добыванія средствъ. Вообще онъ всѣми силами старается быть полезнымъ своимъ сестрамъ и братьямъ: все время внимательно слѣдитъ за ихъ судьбой, помогаетъ имъ деньгами, хлопотами, совѣтами и, когда это сдѣлалось возможнымъ, — выписываетъ къ себѣ въ Петербургъ братьевъ.

Правда, его не разъ упрекаютъ въ отчужденности отъ родныхъ. Онъ очень неаккуратенъ въ перепискѣ съ ними: случается, что начатое уже письмо къ нимъ онъ въ теченіе полутора мѣсяцевъ не можетъ довести до благополучнаго конца. Но эта сторона отношеній Добролюбова къ роднымъ станови-

ся понятной изъ объясненій Чернышевскаго: послѣ смерти родителей преображенный духовный міръ Добролюбова сталъ настолько далекимъ отъ понимания его родныхъ и родственниковъ, что Добролюбовъ долженъ былъ насиловать себя въ перепискѣ съ ними.

VI.

Возвращаясь къ институтскимъ отношеніямъ, слѣдуетъ сказать, что сближеніе со Щегловымъ было первымъ шагомъ по пути установленія Добролюбова съ товарищами болѣе тѣсныхъ связей. Вскорѣ изъ нихъ выдѣлился сплоченный кружокъ, въ который вошли Щегловъ, Добролюбовъ, Турчаниновъ, Сциборскій, Златовратскій, Шемановскій, Бордюговъ, Порожницкій, Сидоровъ, Радонежскій и др. Щегловъ первое время игралъ въ жизни этого кружка главную роль, но впослѣдствіи онъ многихъ оттолкнулъ отъ себя, такъ какъ постепенно выяснилось, что всѣ его дѣйствія, по характеристикѣ Добролюбова, вытекали изъ его личныхъ отношеній. Тогда главенство въ кружкѣ естественно перешло къ Добролюбову, который, впрочемъ, и раньше во многихъ предпріятіяхъ являлся инициаторомъ и наиболѣе энергичнымъ, а часто даже единственнымъ работникомъ [1]. Недаромъ же члены кружка, съ любовью вспоминая по выходѣ изъ института о своей товарищеской сплоченности, коротко характеризуютъ ее именемъ «добролюбовской шайки».

Шемановскій разсказываетъ, что такъ какъ въ стѣнахъ института сближеніе товарищей было затруднено, то впервые добролюбовскій кружокъ свя-

[1] Здѣсь слѣдуетъ вспомнить хотя бы литературныя предпріятія Добролюбова: „Слухи“ и „Сплетни“, о которыхъ я говорю въ предисловіи къ т. VII настоящаго изданія.

залъ себя товарищеской вечеринкой въ особой, нанятой для этой цѣли квартирѣ. Затѣмъ кружокъ собирался у бывшихъ институтскихъ товарищей, вышедшихъ изъ института, — Порожницкаго, Сидорова, — или у знакомыхъ студентовъ университета и медицинской академіи.

Хотя основной задачей кружка было самообразованіе и отчасти нѣкоторые виды взаимопомощи, но событія складывались такъ, что и въ студенческомъ движеніи кружку пришлось сыграть видную роль.

Добролюбовъ, отрѣшившись, по его выраженію, отъ «призраковъ восточнаго воображенія», осуществилъ свою свободу прежде всего тѣмъ, что развязалъ присущій ему даръ смѣха, который до сихъ поръ, какъ мы знаемъ, онъ искусственно подавлялъ въ себѣ. И Шемановскій и Сциборскій выдвигаютъ въ своихъ воспоминаніяхъ сатирическій талантъ своего товарища, злободневные стихи котораго производили впечатлѣніе, ходили въ спискахъ по городу и заносились студентами въ самые отдаленные углы Россіи. Одно такое стихотвореніе, которое Сциборскій называетъ невиннѣйшимъ изъ всѣхъ стихотвореній этого жанра, — «На юбилей Греча» (1855 г.) — случайно дошло до институтскаго начальства вмѣстѣ съ именемъ автора. Давыдовъ всполошился, произвелъ въ бумагахъ Добролюбова обыскъ, который обнаружилъ вообще неблагонадежное направленіе студента. Запуганный Давыдовымъ Сибирью и остро чувствуя свою обязанность передъ своей осиротѣвшей семьей, Добролюбовъ въ первый и въ послѣдній разъ смирился передъ угрозами и такимъ образомъ спасъ себя. Но это была временная слабость юноши и, можетъ быть, памятуя о своемъ «униженіи» передъ Давыдо-

вымъ, во всѣхъ послѣдующихъ событіяхъ институтской жизни онъ первый подавалъ голосъ протеста противъ злоупотребленій начальства и первый же открыто и смѣло выступалъ, гдѣ нужно, парламентеромъ отъ студенчества.

Конечно, всѣ эти открытыя выступленія въ лучшемъ случаѣ не давали никакихъ результатовъ, въ худшемъ — оканчивались преслѣдованіемъ «зачинщиковъ». Еще въ 1855 г., послѣ одного изъ такихъ открытыхъ выступленій, товарищъ Добролюбова Порожницкій спасъ себя отъ неминуемой бѣды только тѣмъ, что подалъ во время прогулки лично Александру II прошеніе о переводѣ въ медицинскую академію. Въ 1856 г., послѣ открытаго выступленія отъ имени студентовъ, недовольныхъ скверной институтской пищей, Добролюбовъ, подъ угрозой быть выгнаннымъ изъ института, подалъ прошеніе объ увольненіи его. Только благодаря благожелательному вмѣшательству кн. Вяземскаго, Добролюбову удалось окончить институтскій курсъ.

Все это вселяло въ студентовъ увѣренность, что въ открытой борьбѣ съ Давыдовымъ нѣтъ смысла. И они начали прибѣгать къ инымъ мѣрамъ воздѣйствія. Такъ, въ томъ же 1856 г. Добролюбовъ, конечно при общемъ сочувствіи близкихъ товарищей, анонимными письмами въ редакцію и къ вліятельнымъ лицамъ распространилъ слухъ, будто студенты высѣкли Давыдова. Послѣднему эта сплетня и въ самомъ дѣлѣ причинила гораздо больше волненій, чѣмъ всѣ студенческія выступленія, взятыя вмѣстѣ. Но Добролюбовъ очень скоро оцѣнилъ непригодность подобныхъ пріемовъ борьбы. Онъ горячо упрекалъ себя за сдѣланную имъ *подлость* и говорилъ, что никогда не проститъ ея себѣ.

Въ 1858 г. въ «Колоколѣ» (№ 23-24) была напечатана статья Добролюбова: «Партизанъ Иванъ Ивановичъ Давыдовъ». Шемановскій, отмѣчая отдѣльныя фразы этой статьи, ставитъ ее въ связь съ только что разсказаннымъ эпизодомъ о мнимой экзекуціи надъ Давыдовымъ. Такъ, между прочимъ, тамъ сказано, что Давыдовъ своей безнаказанностью довелъ студентовъ до пасквилей. Да и вообще статья часто отъ насмѣшливаго (надъ Давыдовымъ) тона переходитъ въ оправдательный (для студентовъ), ясно указывая, что побудило автора написать ее.

Къ этой же борьбѣ съ Давыдовымъ и съ его педагогической системой имѣютъ отношеніе и двѣ статьи Добролюбова объ институтѣ, напечатанныя въ «Современникѣ» въ 1856 и 1859 г.г. [1].

Ловкій и опытный интриганъ, Давыдовъ сумѣлъ жестоко отомстить за всѣ полученныя имъ отъ Добролюбова непріятности. О томъ, что по окончаніи Добролюбовымъ института онъ рѣшительно отклонилъ требованія профессоровъ о выдачѣ Добролюбову золотой медали, можно бы и не вспоминать. Онъ поступилъ хуже, — онъ нанесъ Добролюбову тяжелый моральный ударъ, разссоривъ его съ лучшими институтскими товарищами и друзьями. Воспользовавшись однимъ частнымъ разговоромъ съ Добролюбовымъ, Давыдовъ пустилъ хитро сплетенную и ловко обставленную клевету, будто Добролюбовъ унижался передъ нимъ, выпрашивая себѣ теплое учительское мѣстечко. Легкая тѣнь правды такъ удачно прикрыла гнусную ложь этой выдумки, что друзья Добролюбова повѣрили ей и потребовали отъ

[1] См. предисловіе къ т. VIII.

него объясненія. Оскорбленное самолюбіе Добролюбова не позволило ему въ этотъ моментъ оправдываться передъ усомнившимися въ немъ товарищами, и только два года спустя (въ письмѣ къ Турчанинову) онъ впервые разъяснилъ, наконецъ, этотъ эпизодъ. Добролюбовъ совершенно не нуждался въ учительскомъ мѣстѣ, о которомъ шла рѣчь. Напротивъ, желая окончательно освободиться отъ всякихъ покушеній на его судьбу со стороны Давыдова, онъ заранѣе обезпечилъ себя фиктивнымъ мѣстомъ домашняго учителя у кн. Куракиныхъ. А между тѣмъ въ гордомъ молчаніи Добролюбова товарищи усмотрѣли признаніе факта, и нѣкоторые изъ нихъ тутъ же съ нимъ прекратили отношенія. Сциборскій, тотъ даже разорвалъ карточку, на которой вмѣстѣ съ Добролюбовымъ было снято шесть самыхъ близкихъ товарищей.

Впрочемъ, старая дружба преодолѣла интригу: товарищи, не всѣ сразу, но все же возстановили старыя отношенія, и взаимное довѣріе ихъ другъ къ другу больше не подвергалось искушеніямъ. Въ сторонѣ остался одинъ Щегловъ, но окончательное расхожденіе его съ Добролюбовымъ уже произошло, по свидѣтельству Шемановскаго, на прощальномъ студенческомъ вечерѣ, который состоялся до давыдовской исторіи.

Большое мѣсто въ институтской жизни Добролюбова заняли Давыдовъ и борьба съ нимъ. Для выработки характера будущаго борца за новую Россію все это, конечно, имѣло свое значеніе. Но все же это были только эпизоды въ исторіи, наполненной инымъ, болѣе цѣннымъ содержаніемъ.

VII.

Какъ я уже сказалъ, основная задача «добролюбовской шайки» заключалась въ самообразованіи въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. «Развить въ себѣ способность отзываться всей душой на всякое требованіе вѣка, понимать современное движеніе мысли, осмыслить пріобрѣтаемыя знанія разумнымъ пониманіемъ отношеній ихъ къ жизни», — вотъ какъ опредѣляетъ Сциборскій цѣль кружка. Дѣло заключалось здѣсь, слѣдовательно, не только въ образованіи ума, но и въ образованіи характера.

Юные разночинцы, разрывая со всѣми традиціями современнаго имъ крѣпостническаго общества и становясь въ непримиримую оппозицію къ нему, естественно отказывались и отъ старой морали. Правда, современная имъ европейская, точнѣе нѣмецкая, философская мысль въ извѣстной степени выручала ихъ. Она дала имъ обоснованную и даже болѣе или менѣе разработанную теорію новой морали, которая на мѣсто Бога и человѣчества ставила человѣка, а жизнь объявляла высшимъ мѣриломъ всего существующаго. Но въ интимной области взаимныхъ человѣческихъ отношеній голая теорія далеко еще не рѣшаетъ задачи. Она не даетъ отвѣта на цѣлый рядъ тонкихъ и часто щекотливыхъ вопросовъ обыденной практики жизни. Понятно отсюда, что вопросы морали должны были прежде всего заинтересовать «шайку» подготовлявшихся къ жизни разночинцевъ. Добролюбова по крайней мѣрѣ эти вопросы волновали не мало и, какъ видно изъ его дневниковъ, писемъ, а впослѣдствіи и статей, онъ разрѣшилъ ихъ такъ, какъ

именно и долженъ былъ разрѣшить ихъ вступающій въ жизнь разночинецъ. Противопоставляя себя старому міру съ его изжитыми уже догмами, одиночка-разночинецъ объявилъ, что онъ будетъ считаться только съ велѣніями своей внутренней природы, — что онъ будетъ честенъ только съ самимъ собой. Точную формулу этой новой морали разночинца мы находимъ въ одномъ изъ писемъ Добролюбова къ Шемановскому: «Теперь наша дѣятельность именно и должна состоять во внутренней работѣ надъ собой, которая довела бы насъ до того состоянія, чтобы всякое зло — не по велѣнію свыше, не по принципу — было нами отвергаемо, а чтобы сдѣлалось противнымъ, невыносимымъ для нашей натуры . . . Тогда нечего намъ будетъ хлопотать о созданіи честной дѣятельности: она сама собою создастся, потому что мы не въ состояніи будемъ дѣйствовать иначе какъ только честно».

Въ выработкѣ міросозерцанія «шайки» вообще, а Добролюбова въ частности большую роль играли, разумѣется, сочиненія Бѣлинскаго, Герцена, Чернышевскаго. Но то, что захватило и увлекло Добролюбова у этихъ авторовъ, онъ взялъ не столько даже отъ нихъ, сколько изъ того первоисточника, изъ котораго они сами черпали раньше въ свои идейныя сокровищницы. Общія переживанія и настроенія издавна и властно толкали русскаго разночинца къ этому источнику, и если сюда же привели они, въ лицѣ Герцена, русскаго барина-эмигранта, то нельзя не замѣтить, что разночинецъ и баринъ усвоивали эту новую духовную пищу не всегда одинаково. И недаромъ же Добролюбовъ впослѣдствіи, отмѣчая интересъ къ Фейербаху другого барина, — Андрея Петровича Берсенева, — не могъ

удержаться отъ саркастическаго восклицанія: «Вотъ любопытно бы послушать, что онъ о Фейербахѣ-то говоритъ!» («Когда же придетъ настоящій день?»).

Фейербахъ и другіе такъ называемые лѣвые гегельянцы,—Руге, Штраусъ, Бруно-Бауэръ,—и были именно тѣмъ источникомъ, къ которому, вслѣдъ за Герценомъ, Бѣлинскимъ и Чернышевскимъ, — пришелъ Добролюбовъ. Этихъ нѣмецкихъ писателей имѣетъ, очевидно, въ виду и Сциборскій, когда разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ объ увлеченіи кружка иностранными книгами, которыя иногда переводились общими силами и затѣмъ прочитывались вслухъ. Часто кто-нибудь одинъ брался прочитать книжку, чтобы перевести изъ нея товарищамъ лишь наиболѣе замѣчательныя мѣста. Сциборскій свидѣтельствуетъ, что Добролюбовъ являлся главнымъ поставщикомъ этихъ книгъ, и онъ же въ этой области былъ ревностнѣйшимъ дѣятелемъ. Въ архивѣ Литературнаго Фонда и теперь еще сохраняются обрывки переводовъ изъ Фейербаха, которые онъ дѣлалъ, вѣроятно, для кружка.

Конечно, всѣ эти книги поглощаются русскими студентами далеко не изъ дилетантской любознательности къ нѣмецкой литературѣ и философіи. Нѣтъ, съ ихъ помощью они рѣшаютъ «великіе вопросы» о «великомъ будущемъ» Россіи, — о томъ славномъ будущемъ ея, о которомъ говорятъ имъ иногда эти же самые нѣмецкіе писатели. И когда Бруно-Бауэръ, отчаявшись въ будущности нѣмецкой культуры, въ 1855 г. выступаетъ съ панегириками Россіи, какъ странѣ грядущей новой цивилизаціи, то, конечно, это его брошюры настраиваютъ студентовъ на такія, напримѣръ, торжественныя бесѣды: «Мы, — заноситъ Добролюбовъ въ днев-

никъ 18 декабря 1855 г., — затрагиваемъ великіе вопросы, и наша родная Русь болѣе всего занимаетъ насъ своимъ великимъ будущимъ, для котораго хотимъ мы трудиться неутомимо, безкорыстно и горячо... Да, теперь эта великая цѣль занимаетъ меня необыкновенно сильно...»

Дальше, изъ того же дневника явствуетъ, что товарищи, единодушно готовые служить «великой цѣли», далеко не съ такимъ же единодушіемъ опредѣляютъ характеръ этого служенія. Для себя лично Добролюбовъ рѣшаетъ этотъ вопросъ такъ: онъ вѣритъ въ высокое предназначеніе Россіи, но видитъ, что ея великое будущее, — это вмѣстѣ съ тѣмъ отдаленное будущее; кромѣ того онъ не чувствуетъ въ себѣ революціонера, способнаго къ дерзкимъ предпріятіямъ... Правда, и онъ готовъ на всякое самопожертвованіе ради великаго дѣла, если бы это сулило послѣднему вѣрный успѣхъ. Но такія условія отсутствуютъ, и поэтому, — пишетъ онъ: — «тихо и медленно буду я дѣйствовать, незамѣтно стану подготовлять умы».

Вся фразеологія этого признанія, неясная, туманная, говоритъ о томъ, что вопросъ, надъ которымъ сейчасъ работаетъ мысль Добролюбова, ему самому не рисуется еще въ сколько-нибудь опредѣленныхъ очертаніяхъ. И въ то же время въ пріемахъ, съ какими юноша подошелъ къ вопросу, чувствуется серьезная и добросовѣстная работа мысли.

Между прочимъ все то, что говоритъ Добролюбовъ въ цитируемомъ дневникѣ отъ своего имени, онъ противопоставляетъ иному рѣшенію этого вопроса Щегловымъ.

Чернышевскій, познакомившись со Щегловымъ, когда тотъ былъ уже на послѣднемъ курсѣ инсти-

тута, двумя словами опредѣлилъ все его содержаніе: «бойкій гимназистъ». Но въ институтѣ Щегловъ долгое время пользовался большимъ вліяніемъ. Холодный и разсчетливый, онъ рисовался передъ товарищами революціонной фразой, которую наивные юноши принимали за искреннее выраженіе героическаго характера. И Добролюбовъ, впослѣдствіи раскусившій истинную сущность своего товарища, теперь почти оправдывается передъ самимъ собою въ томъ, что онъ не можетъ увлечься «обольстительною мечтою» Щеглова и неспособенъ стать «совершителемъ великаго переворота».

Прошелъ годъ, и товарищи снова столкнулись въ спорѣ на ту же животрепещущую для Добролюбова тему. Щегловъ попрежнему щеголяетъ бойкой, но безсодержательной фразой. Онъ — «революціонеръ, полный ненависти ко всякой власти надъ нимъ, но признающій необходимымъ неравенство правъ и состояній даже въ высшемъ идеалѣ человѣчества». Добролюбовъ же отчетливо и опредѣленно формулируетъ продуманную и выношенную имъ мысль. «Я — отчаянный соціалистъ, хоть сейчасъ готовый вступить въ небогатое общество съ равными правами и общимъ имуществомъ всѣхъ членовъ.» И если Щегловъ видитъ свой анархическій идеалъ осуществленнымъ въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ (?!), то для Добролюбова «идеала на землѣ еще не существуетъ, кромѣ развѣ демократическаго общества, митингъ котораго описалъ Герценъ» (Дневникъ, 15 января 1857 г.).

Соціализмъ, исповѣданіе котораго Добролюбовъ со страницъ институтскаго дневника переноситъ затѣмъ и на страницы своихъ критическихъ и публицистическихъ статей, въ высокой степени

типиченъ для идеолога разночинно-интеллигентской среды. Изъ кого вербовалась эта среда, какова была матеріальная обстановка на зарѣ ея жизненнаго поприща, — объ этомъ можно было бы теперь и не разсказывать. Но все-таки я позволю себѣ сослаться еще разъ на разночинца Сциборскаго, который, нарисовавъ картину полной лишеній и изнурительнаго труда институтской жизни Добролюбова, заканчиваетъ свои воспоминанія нѣсколькими обобщающими строками: «Мы маленькіе люди, незнакомые съ высокими потребностями комфорта; судьба съ дѣтства обрекала насъ на тяжелый подвигъ жизни, не давши намъ даже средствъ для пріобрѣтенія права на трудъ полезный. Мы должны были сами путемъ тяжелыхъ лишеній и испытаній, путемъ постоянной борьбы съ препятствіями, прежде всего завоевать себѣ право на трудъ, получивши образованіе. А чего стоило образованіе при нашихъ условіяхъ, — это можетъ понять только тотъ, кто прошелъ этотъ путь безъ всякихъ посторонныхъ поддержекъ, не имѣя ничего ни дарового, наслѣдственнаго, кромѣ рукъ и головы на плечахъ».

Ранняя смерть Добролюбова не поражаетъ Сциборскаго. Она представляется ему роковымъ слѣдствіемъ тѣхъ условій, при которыхъ приходится разночинцу отвоевывать себѣ положеніе. «Нашъ курсъ — иллюстрируетъ Сциборскій свою мысль, — среднимъ числомъ состоялъ изъ 40 человѣкъ, и вотъ въ такое непродолжительное время уже двѣнадцатый товарищъ нашъ — Николай Александровичъ — въ могилѣ».

Для завершенія картины добавлю, что этотъ своеобразный статистикъ скоро и самъ, вслѣдъ за Добролюбовымъ, пополнилъ собранныя имъ цифры. Былъ ли онъ тринадцатымъ по счету или, быть мо-

жетъ, между нимъ и Добролюбовымъ легли другія безвременныя могилы институтскихъ товарищей, — неизвѣстно.

Послѣ сказаннаго можно ли удивляться тому, что вопросы о соціальномъ неравенствѣ почти преслѣдуютъ Добролюбова въ институтскіе годы? Вотъ сидитъ онъ у Галаховыхъ и слушаетъ бесѣду вполнѣ обезпеченныхъ и состоятельныхъ людей о томъ, какъ хорошо быть такимъ богатымъ, какъ, напримѣръ, Морни. И мысль его невольно спускается отъ Морни къ Галаховымъ, отъ Галаховыхъ къ себѣ, отъ себя къ людямъ, еще болѣе нуждающимся... «Мысли эти меня очень грустно потревожили, — записываетъ онъ въ дневникъ, — и соціальные вопросы показались мнѣ въ эту минуту святѣе, чѣмъ когда-нибудь.»

Эта запись датирована въ дневникѣ 1-мъ числомъ января 1857 г., а 9 января мы читаемъ опять: «Еще съ утра на лекціи Срезневскаго, по поводу какого-то слова его совершенно ничтожнаго, у меня вдругъ родился цѣлый рядъ идей о томъ, какъ можно бы и какъ хорошо бы уничтожить это неравенство состояній, дѣлающее всѣхъ людей несчастными, или, по крайней мѣрѣ, повернуть все вверхъ дномъ, а въ съ потомъ *какъ-нибудь* получше уставится все»...

Сопоставляя эту запись дневника со сдѣланнымъ имъ въ декабрѣ 1855 г. признаніемъ о тихомъ и медленномъ дѣйствіи на умы, можно подумать, что за истекшій годъ не только выяснился соціалистическій идеалъ Добролюбова, но вмѣстѣ съ тѣмъ коренньмъ образомъ измѣнилось и его отношеніе къ тактикѣ. Но на самомъ дѣлѣ послѣдняго не случилось.

Правда, исповѣдуемый Добролюбовымъ утопи-

ческій соціализмъ не даетъ своимъ адептамъ опредѣленныхъ указаній на средства, которыми онъ осуществляется, да и возможное его осуществленіе не обезпечивается объективными ручательствами. Героическихъ средствъ Добролюбовъ не отрицаетъ. И о своей личной готовности на всякое самопожертвованіе онъ признается не только самому себѣ въ дневникѣ 1855 г., но о томъ же заявляетъ онъ и Чернышевскому въ письмѣ, написанномъ имъ за пять мѣсяцевъ до смерти. «Если бы было такое дѣло, которое можно бы порѣшить куціевскимъ манеромъ, — пишетъ онъ изъ Мессины Чернышевскому, — я бы безъ малѣйшаго затрудненія совершилъ Курціевъ подвигъ, даже не думая, чтобы его можно было ставить въ заслугу». Но какъ и раньше, такъ и теперь ему нужна увѣренность, что подвигъ цѣлесообразенъ. Такой увѣренности жизнь ему не даетъ, почему онъ, первое время по крайней мѣрѣ, останавливается на другомъ методѣ, — на тихой и медленной подготовкѣ умовъ. Въ дневникѣ 1857 г. онъ указываетъ и основанія, которыя привели его къ такому рѣшенію, — это давнишняя вѣра его, что «всякую гадость люди дѣлаютъ *«по глупости»*[1], значитъ на борьбу съ глупостью и должны быть направлены его силы.

VIII.

Такимъ образомъ уже съ 1855 г. Добролюбовъ намѣчаетъ для своего общественнаго служенія опредѣленный путь, по которому онъ и пойдетъ вскорѣ вслѣдъ за Бѣлинскимъ и рядомъ съ Чернышевскимъ. Это путь *просвѣтительства*.

[1] Кавычки и курсивъ принадлежать Добролюбову.

Огромная выполненная Добролюбовымъ литературная работа цѣликомъ опредѣляется этимъ ея источникомъ. И, разсматривая ее со стороны, К. Марксъ едва ли переоцѣнилъ ее, сравнивъ Добролюбова, какъ писателя, съ великими просвѣтителями Германіи и Франціи, — съ Лессингомъ и Дидро (въ письмѣ къ Николаю — ону 9 ноября 1871 г.).

Кто-то изъ русскихъ писателей бросилъ афоризмомъ, что Добролюбовъ — это геніальный публицистъ, лишь по нуждѣ сдѣлавшійся критикомъ.

Объ этомъ, какъ и о большинствѣ подобнаго свойства изреченій, приходится сказать: и вѣрно и не вѣрно. Не вѣрно, что нужда или случайность заставили Добролюбова взяться за критику. Онъ готовился къ ней. Человѣкъ съ лирически настроенной душой, самъ чуткій къ красотѣ въ поэзіи и въ жизни, онъ прежде чѣмъ выступать въ печати со своей первой критической статьей, прошелъ предварительно большую и серьезную подготовительную школу. Въ институтѣ онъ систематически изучалъ литературу и ея исторію, и ей же въ семинаріи онъ посвящалъ всѣ свои внѣклассные и часто классные часы. Истина же приведеннаго афоризма заключается въ томъ, что Добролюбовъ подошелъ къ литературѣ такъ, какъ будто бы передъ нимъ была сама жизнь. И люди съ короткой памятью часто ставятъ это въ вину критику. Но развѣ сама художественная литература того времени не толкала критику на этотъ именно путь? Развѣ сама она не стремилась въ то время быть отображеніемъ жизни? А если такъ, то правъ былъ Страховъ, когда настаивалъ, что критика была для Добролюбова «прямымъ и естественнымъ дѣломъ,

а не просто маскою для прикрытія другой дѣятельности». Правъ былъ Страховъ и тогда, когда защищалъ парадоксальную на первый взглядъ мысль, будто Добролюбовъ «имѣлъ силу какъ публицистъ особенно потому, что былъ критикъ».

Будучи еще студентомъ института, Добролюбовъ занесъ въ дневникъ (8 февраля 1857 г.) свою бесѣду съ М. Н. Островскимъ (братомъ драматурга), въ которой онъ сжато формулировалъ основоположенія своей будущей критики. Отстаивая извѣстную диссертацію Чернышевскаго, Добролюбовъ самымъ рѣшительнымъ образомъ протестовалъ противъ голаго дидактизма въ искусствѣ, но, конечно, сказалъ онъ: «Всякое явленіе природы и жизни, переходя въ искусство, должно непремѣнно, чтобы имѣть какое-нибудь достоинство, освятиться сознаніемъ, пониманіемъ автора, должно пройти сквозь его душу не какъ черезъ догерротипъ, а слиться съ его внутренней жизнью и явиться въ стихѣ, въ звукѣ, въ образѣ — какъ результатъ духовнаго настроенія и сознательнаго чувства художника».

Для Добролюбова, какъ онъ впослѣдствіи не разъ высказывался, художественная литература есть не простое, но конденсированное отображеніе жизни. Образы, созданные художникомъ, собираютъ въ себѣ, какъ въ фокусѣ, факты дѣйствительной жизни, и о достоинствѣ произведенія критикъ судилъ по степени проникновенія писателя въ самую сущность явленій, по широтѣ, съ какою умѣетъ художникъ захватить въ своихъ изображеніяхъ различныя стороны жизни.

Художественная литература, въ лучшихъ ея представителяхъ, шла навстрѣчу такому понима-

нію искусства. Не потому, конечно, что Добролюбовъ успѣлъ подчинить ихъ своему вліянію, а потому, что и художники и критики жили и работали въ одинаковыхъ общественныхъ условіяхъ, когда, по словамъ того же Страхова, литература была «единственнымъ явно живымъ и органическимъ явленіемъ» и когда рѣчи о литературѣ были «рѣчами о предметахъ дѣйствительно существующихъ».

Словомъ, Добролюбовъ имѣлъ всѣ основанія подходить къ художественнымъ произведеніямъ съ вопросомъ, вѣрно ли и точно ли передаютъ они жизнь, и, рѣшивъ этотъ вопрост утвердительно, относиться къ произведенію такъ, какъ будто бы передъ нимъ была сама жизнь, требующая не только оцѣнки, но и вмѣшательства. А въ чемъ же можетъ выражаться вмѣшательство «просвѣтителя», который точно знаетъ, что все соціальное зло — «отъ глупости», но не представляетъ себѣ ясно идеала «умнаго» общежитія? Конечно, въ раскрытіи и обличеніи зла для того, чтобы и «глупые», наконецъ, уразумѣли его. И «просвѣтители», какъ это съ полною убѣдительностью показалъ Г. В. Плехановъ въ примѣненіи къ Бѣлинскому и Чернышевскому, «твердо убѣждены, что чѣмъ точнѣе изобразитъ художественная литература взаимныя отношенія между людьми, тѣмъ скорѣе увидятъ люди ненормальность этихъ отношеній и тѣмъ скорѣе сумѣютъ они исправить ихъ сообразно требованіямъ своей собственной природы, т. е., точнѣе говоря, сообразно указаніямъ субъективнаго разума «просвѣтителей»» [1].

[1] Г. В. Плехановъ, „Н. Г. Чернышевскій", Спб. 1910, стр. 290.

Въ качествѣ «просвѣтителя» Добролюбовъ не ограничивался указаніемъ на тѣ «ненормальности», которыя возсоздавала художественная литература. Онъ часто шелъ дальше разсматриваемыхъ имъ авторовъ и силою своей художественной интуиціи дополнялъ ихъ, создавая самостоятельныя картины огромнаго символическаго содержанія. Конечно, въ романѣ Гончарова и въ комедіяхъ Островскаго нѣтъ образовъ той обобщающей шири и мощи, какія мы вкладываемъ въ нихъ теперь, благодаря критическимъ статьямъ Добролюбова. Обломовъ, какъ символъ разлагающейся дворянской культуры, замоскворѣцкіе дикари Островскаго, какъ символъ всего соціальнаго и политическаго строя Россіи, являются продуктами творческой работы критика въ неизмѣримо большей степени, чѣмъ ихъ законныхъ и признанныхъ отцовъ.

Въ своихъ просвѣтительныхъ мечтахъ Добролюбовъ возлагаетъ большія надежды на интеллигенцію, — не на «молодое дворянство», на которое въ эту приблизительно пору разсчитываетъ Герценъ,— а на ту разночинную интеллигенцію, съ которой самъ онъ сродни лся въ институтѣ. Любопытно, что «шайка» связала себя, повидимому, какой-то своей разночинной «Ганнибаловской клятвой», на которую, въ письмѣ къ Добролюбову (20 іюля 1857 г.) намекаетъ Бордюговъ[1]. Весьма возможно, что «общее святое дѣло» институтскихъ товарищей заключалось, или должно было заключаться, въ объединеніи на мѣстахъ интеллигентныхъ разночинцевъ все съ тѣми же просвѣтительными цѣлями. Но только «дѣло» не состоялось.

[1] Бордюговъ пишетъ Добролюбову: „Касательно *общаго нашего дѣла* я еще ничего не предпринималъ". См. „Матеріалы", стр. 390.

Напротивъ, товарищи, разъѣхавшіеся изъ Петербурга въ разные провинціальные углы, какъ-то сразу потускнѣли въ своихъ письмахъ и заговорили о разбитыхъ надеждахъ, разочарованіи и проч. Въ отвѣтъ на одно изъ этихъ писемъ Добролюбовъ обобщаетъ настроеніе товарища: «Мы вышли столько же вялыми, дряблыми, ничтожными, какъ и наши предшественники. Мы истомимся, пропадемъ отъ лѣни и трусости. Бывшіе до насъ люди, вступившіе въ разладъ съ обществомъ, обыкновенно спивались съ круга, а иногда попадали на Кавказъ, въ Сибирь, въ іезуиты вступали или застрѣливались. Мы, кажется, и этого не въ состояніи сдѣлать» . . .

Цитируя это письмо Добролюбова, я хочу указать на брешь, образовавшуюся въ его просвѣтительской программѣ. Оказывается, что не только дворянская, обломовская, но и новая, разночинная интеллигенція не способна проявить достаточную активность для осуществленія идеала обновленной жизни. Кто же въ такомъ случаѣ осуществитъ его?

И если раньше на этотъ вопросъ Добролюбовъ отвѣчалъ: народъ при помощи интеллигенціи, то теперь онъ отбрасываетъ послѣднія слова и отвѣчаетъ просто: народъ. Онъ сжигаетъ всѣ мосты, по которымъ въ его юношеской мечтѣ «тихо и медленно» совершался переходъ изъ одного соціальнаго строя въ другой, и отъ вѣры въ силу идеи переходитъ къ вѣрѣ въ силу факта.

«Говоря о народѣ, — пишетъ онъ теперь, — у насъ сожалѣютъ обыкновенно о томъ, что къ нему не проникаютъ лучи просвѣщенія, и что онъ поэтому не имѣетъ средствъ возвысить себя нравственно, сознать право личности, приготовить себя къ гра-

жданской дѣятельности и пр. Сожалѣнія эти очень благородны и даже основательны; но они вовсе не даютъ намъ права махнуть рукой на народныя массы и отчаяться въ ихъ дальнѣйшей участи. Не одно скромное ученье, подъ руководствомъ опытныхъ наставниковъ, не одна литература, всегда болѣе или менѣе фразистая, ведетъ народъ къ нравственному развитію и къ самостоятельнымъ улучшеніямъ матеріальнаго быта. Есть другой путь жизненныхъ фактовъ, никогда не пропадающихъ безслѣдно, но всегда влекущихъ событіе за событіемъ, неизбѣжно, неотразимо... Холодъ и голодъ, отсутствіе законныхъ гарантій къ жизни, нарушеніе первыхъ началъ справедливости въ отношеніи къ личности человѣка всегда дѣйствуетъ несравненно возбудительнѣе, нежели самыя громкія и высокія фразы о правѣ и чести...»[1].

Случайное «авось», которое раньше только мгновеніями вспыхивало въ сознаніи Добролюбова, направленномъ исключительно въ сторону просвѣтительской дѣятельности, разрастается теперь въ цѣлую теорію. И эта послѣдняя до такой степени поглощаетъ его вниманіе, что, кажется, нѣтъ вопроса, котораго онъ не использовалъ бы теперь для ея развитія и аргументаціи. Повѣсть Тургенева «Наканунѣ», разсказы изъ народнаго быта Марка-Вовчка, отчеты о дѣятельности обществъ трезвости, драма Островскаго, революція въ Италіи, — все теперь служитъ Добролюбову для обоснованія его новой вѣры въ пробуждающуюся, подъ гнетомъ соціально-политической обстановки, — революціонную энергію народа. Такъ какъ, однако, это но-

---

[1] Статья Добролюбова: „Народное дѣло".

вое настроеніе Добролюбова относится уже къ по-институтскому времени и съ нѣкоторой постепенностью захватило его, одновременно съ Чернышевскимъ, приблизительно около 1859 г., то возвратимся назадъ, въ институтъ, къ началу его литературной дѣятельности.

IX.

Первыя выступленія Добролюбова въ «Современникѣ» тѣсно связаны съ именемъ Чернышевскаго. О первой ихъ встрѣчѣ существуетъ нѣсколько разсказовъ, — но наибольшую достовѣрность надобно признать, конечно, за разсказомъ самого Чернышевскаго въ письмѣ къ А. Н. Пыпину въ 1886 г. [1].

Чернышевскій разсказываетъ, что, будучи учителемъ гимназіи въ Саратовѣ, онъ сошелся съ нѣсколькими гимназистами старшихъ классовъ, которые потомъ, поступивъ въ высшія учебныя заведенія, бывали у него частыми гостями въ Петербургѣ. Въ числѣ этихъ молодыхъ людей былъ и Н. П. Турчаниновъ, студентъ Главнаго Педагогическаго института.

Однажды лѣтомъ 1856 г., какъ устанавливаетъ Чернышевскій въ другомъ мѣстѣ, Турчаниновъ принесъ ему тетрадь, сказавъ, что его товарищъ, Добролюбовъ, просилъ передать ее Чернышевскому для просмотра и, если возможно, для помѣщенія въ «Современникъ». Это была статья о «Собесѣдникѣ любителей россійскаго слова». Объ авторѣ Турчаниновъ отозвался очень хорошо, сказавъ, что горячо любитъ его.

[1] См. Е. Ляцкій, „Н. Г. Чернышевскій въ редакціи „Современника“", „Совр. Міръ“, 1911, № 11.

Познакомившись съ рукописью, Чернышевскій пригласилъ къ себѣ Добролюбова. Весь вечеръ, до часу ночи, онъ пробесѣдовалъ съ юношей, намѣтивъ его въ число постоянныхъ сотрудниковъ журнала и стараясь для этого опредѣленно установить его міросозерцаніе.

Узнавъ, со словъ Добролюбова, объ его тяжелыхъ семейныхъ обстоятельствахъ и о шаткомъ положеніи въ институтѣ, Чернышевскій рѣшилъ, что постоянное сотрудничество въ «Современникѣ» будетъ теперь не безопасно для Добролюбова. А потому, принявъ все-таки статью о «Собесѣдникѣ», онъ предложилъ Добролюбову воздержаться до окончанія курса печататься въ журналѣ. Однако Чернышевскій не выдержалъ рѣшенія, которое считалъ необходимымъ для безопасности Добролюбова. Черезъ нѣсколько недѣль, когда Добролюбовъ принесъ «Описаніе Главнаго Педагогическаго института», Чернышевскій уступилъ настояніямъ автора и напечаталъ статью; точно такъ же поступилъ онъ и съ двумя другими статьями, написанными Добролюбовымъ до окончанія института.

Изъ того, что мы уже знаемъ о серьезной подготовкѣ Добролюбова къ литературной дѣятельности, не трудно догадаться, какъ могъ встрѣтить и какъ дѣйствительно встрѣтилъ Чернышевскій своего новаго сотрудника. Онъ увидѣлъ въ немъ не только знающаго, не только даровитаго и трудоспособнаго, но, главное, *своего* человѣка, — разночинца по духу, происхожденію и подготовкѣ. Разумѣется, онъ употребилъ всѣ усилія, чтобы сблизиться съ юношей.

Впослѣдствіи, въ написанномъ имъ въ Сибири романѣ «Прологъ», гдѣ Добролюбовъ выведенъ подъ

фамиліей Левицкаго, Чернышевскій-Волгинъ говоритъ о своемъ первомъ впечатлѣніи отъ знакомства: «Замѣчательная сила ума... Ну, пишетъ превосходно, не то, что я: сжато, легко, блистательно; но это хоть и прекрасно, — пустяки, разумѣется, — дѣло не въ томъ, а какъ понимаетъ вещи. Понимаетъ, какъ слѣдуетъ. Такая холодность взгляда, такая самобытность мысли въ 21 годъ, когда всѣ поголовно точно пьяны...» [1].

Съ своей стороны и Добролюбовъ сразу же оцѣнилъ все значеніе своего новаго знакомства. Въ письмѣ къ Турчанинову 1 августа 1856 г. онъ говоритъ: «Я до сихъ поръ не могу различать время, когда сижу у него [Чернышевскаго]. Два раза долженъ былъ ночевать у него: до того засидѣлся. Съ нимъ толкуемъ не только о литературѣ, но и о философіи, и я вспоминаю при этомъ, какъ Станкевичъ и Герценъ учили Бѣлинскаго, Бѣлинскій — Некрасова, Грановскій — Забѣлина и т. п.» [2].

Не довѣряя своимъ литературнымъ способностямъ, Добролюбовъ на всякій случай готовилъ себя въ институтѣ и къ ученой и къ педагогической карьерѣ. Поэтому въ первое время по окончаніи института онъ, будучи уже приглашенъ Некрасовымъ къ постоянному сотрудничеству въ журналѣ, не бросалъ ни частныхъ уроковъ, ни намѣренія держать магистерскій экзаменъ. Только увѣрившись, что литературная работа далась ему, онъ безповоротно ушелъ въ нее. И если въ началѣ своей литературной дѣятельности онъ отзывался (въ письмѣ къ Пещуровой) о неудовлетворенности ею, то въ

[1] „Прологъ", Спб. 1906, стр. 37.
[2] „Матеріалы", стр. 319.

1859 г. онъ пишетъ Бордюгову, что «Современникъ» для него все болѣе и болѣе становится настоящимъ дѣломъ, съ которымъ онъ чувствуетъ кровную связь.

О личныхъ отношеніяхъ Добролюбова въ редакціи «Современника» можно сказать, что они съ самаго начала приняли добрый, дружескій характеръ. Расположеніе къ нему Чернышевскаго намъ уже извѣстно. Послѣ смерти Добролюбова благоговѣйнымъ отношеніемъ къ его памяти Чернышевскій обнаружилъ всю изумительную глубину и нѣжность своей привязанности къ почившему другу. Но при жизни Добролюбова ихъ взаимныя отношенія выражались иначе, удивляя окружающихъ тѣмъ, что, — по выраженію Головачевой-Панаевой, — «не были ни въ чемъ рѣшительно схожи съ взаимными отношеніями другихъ лицъ». Они охотно и подолгу бесѣдовали другъ съ другомъ на интересовавшія ихъ разнообразныя темы философскаго, литературнаго и общественнаго значенія, но интимная ихъ близость встрѣчала, повидимому, непреодолимое препятствіе въ характерѣ Чернышевскаго. Послѣдній какъ-то не умѣлъ подойти къ личной жизни своего друга. Онъ не замѣчалъ, напр., даже неприглядной внѣшней обстановки, въ которой жилъ больной Добролюбовъ, и потребовалось энергичное вмѣшательство Некрасова, чтобы измѣнить обстановку. И если иногда Добролюбовъ самъ подходилъ къ своему старшему другу съ признаніями о нѣкоторыхъ сторонахъ своей интимной жизни, отношеніе Чернышевскаго къ этимъ признаніямъ, всегда внимательное, всегда участливое, не удовлетворяло его.

Разстроенный недобрыми вѣстями о здоровьѣ

Некрасова, Добролюбовъ, самъ больной, проситъ изъ-за границы Чернышевскаго написать ему, — «что онъ [Некрасовъ] и какъ? Вѣдь кромѣ васъ да его у меня никого нѣтъ теперь въ Петербургѣ. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ — сознавался онъ самъ Чернышевскому, — онъ [Некрасовъ] даже ближе ко мнѣ . . . и отъ вашего добраго оправдывающаго слова мнѣ иногда дѣлается неловко и тяжело, какъ не бываетъ тяжело отъ рѣзкаго осужденія Некрасова» [1].

Въ этихъ немногихъ строкахъ вполнѣ отчетливо рисуются взаимныя отношенія Добролюбова съ обоими руководителями «Современника», и дальше на эту тему можно не распространяться.

Совершенно иначе складывались отношенія Добролюбова къ тѣмъ вліятельнымъ и въ самомъ «Современникѣ» сферамъ, которыя, группируясь вокругъ Тургенева, представляли собою литературныя традиціи стараго поколѣнія идеалистовъ 40-хъ годовъ.

X.

О личныхъ отношеніяхъ Добролюбова съ Тургеневымъ мы выслушаемъ разсказъ Чернышевскаго, записанный имъ въ 1884 г. по просьбѣ А. Н. Пыпина [2].

Добролюбовъ и Тургеневъ должны были встрѣчаться довольно часто у Некрасова. Вѣроятно, Добролюбовъ въ первое время своего знакомства съ Тургеневымъ думалъ о немъ, какъ о человѣкѣ, точно такъ же, какъ Некрасовъ: это хорошій человѣкъ.

[1] „Матеріалы“, стр. 625.

[2] См. статью Е. А. Ляцкаго, „Н. Г. Чернышевскій въ редакціи „Современника“, „Совр. Міръ“, 1911, ноябрь.

Вѣроятно, талантливость и добродушіе Тургенева заставляли и Добролюбова, какъ Некрасова и Чернышевскаго, закрывать глаза на тѣ его особенности, которыя не могли быть имъ симпатичны.

Тургеневъ дѣйствительно былъ добродушенъ и въ особенности всегда былъ радъ оказывать любезную внимательность начинающимъ писателямъ.

Безъ сомнѣнія онъ былъ очень любезенъ и съ Добролюбовымъ.

Отношенія между ними приняли совершенно иной характеръ, когда Добролюбовъ поселился въ квартирѣ, примыкавшей къ квартирѣ Панаева и Некрасова, и, обѣдая у нихъ, сталъ проводить значительную часть своего отдыха у Некрасова. Пилъ чай вечеромъ онъ очень часто на своей квартирѣ или потому, что не хотѣлъ отрываться отъ работы, или потому, что у него былъ кто-нибудь. Но утромъ онъ обыкновенно приходилъ пить чай къ Некрасову и, если имѣлъ досугъ, оставался тутъ и завтракать. Вообще онъ проводилъ въ комнатахъ Некрасова очень много времени, — утромъ почти каждый день и вечеромъ часто. Тутъ они вмѣстѣ читали рукописи, просматривали корректуры, говорили о дѣлахъ журнала, и такимъ образомъ довольно большую долю своей работы по редактированію журнала Добролюбовъ исполнялъ въ комнатахъ Некрасова.

Тургеневъ, когда жилъ въ Петербургѣ, заѣзжалъ къ Некрасову утромъ каждый день безъ исключенія. Положительно, онъ жилъ больше у Некрасова, чѣмъ у себя дома. Такимъ образомъ Тургеневу и Добролюбову приходилось бывать вмѣстѣ у Некрасова много времени каждый день . . .

Какъ держалъ себя Добролюбовъ относительно

Тургенева въ первое время своего переселенія къ Некрасову, Чернышевскій не припоминаетъ, — вѣроятно, не замѣчалъ и не слышалъ тогда...

Онъ помнитъ, однако, что, когда Добролюбовъ писалъ свой разборъ романа Тургенева «Наканунѣ», ему случилось читать эту статью въ корректурѣ, и у него не было тогда никакихъ мыслей о чемъ-нибудь особенномъ въ отношеніяхъ между Добролюбовымъ и Тургеневымъ. Чернышевскій полагалъ, что они были такими же, какъ и у него съ Тургеневымъ, т. е. горячей симпатіи не было, но было довольно хорошее взаимное расположеніе знакомыхъ, не имѣющихъ желанія сближаться, чуждыхъ однакожъ и всякому желанію расходиться между собой. Черезъ нѣсколько времени послѣ того, какъ вышла книжка «Современника» со статьей Добролюбова о «Наканунѣ», Чернышевскій, разговаривая съ Тургеневымъ, услышалъ отъ своего собесѣдника какія-то сужденія о Добролюбовѣ, звучавшія какъ будто чѣмъ-то враждебнымъ. Тонъ былъ мягкій, какъ вообще у Тургенева, но сквозь комплименты Добролюбову, которыми всегда пересыпалъ Тургеневъ свои разговоры съ Чернышевскимъ, звучало какъ будто какое-то озлобленіе противъ него. Когда черезъ нѣкоторое время Чернышевскій остался наединѣ съ Некрасовымъ, онъ, кончивъ разговоръ о какихъ-то текущихъ дѣлахъ по журналу, спросилъ, что означаетъ показавшійся ему раздраженнымъ тонъ разсужденій Тургенева о Добролюбовѣ. Некрасовъ добродушно засмѣялся, удивленный вопросомъ.

« — Да неужели же вы ничего не видѣли до сихъ поръ? — Тургеневъ ненавидитъ Добролюбова.»

Некрасовъ сталъ разсказывать Чернышевскому

и о причинахъ этой ненависти, — ихъ двѣ, говорилъ онъ. Главная была давнишняя и имѣла своеобразный характеръ такого рода, что Чернышевскій со смѣхомъ признаетъ ожесточеніе Тургенева совершенно справедливымъ. Дѣло въ томъ, что давнымъ-давно когда-то Добролюбовъ сказалъ Тургеневу который надоѣлъ ему своими то нѣжными, то умными разговорами: «Иванъ Сергѣевичъ, мнѣ скучно говорить съ вами и перестанемъ говорить», всталъ и перешелъ на другую сторону комнаты. Тургеневъ послѣ этого упорно продолжалъ заводить разговоры съ Добролюбовымъ каждый разъ, когда встрѣчался съ нимъ у Некрасова, т. е. каждый день. Но Добролюбовъ неизмѣнно уходилъ отъ него на другой конецъ комнаты или въ другую комнату. Послѣ нѣсколькихъ такихъ случаевъ Тургеневъ пересталъ, наконецъ, вызывать Добролюбова на задушевныя бесѣды, и они обмѣнивались только обыкновенными словами, принятыми при встрѣчахъ и прощаніи.

Понятно, что Тургеневъ не могъ не досадовать на такое обращеніе съ нимъ. Но, вѣроятно, онъ успѣлъ бы и дольше скрывать отъ Чернышевскаго свое неудовольствіе на Добролюбова, если бы оно не усилилось въ послѣдніе дни до положительной ненависти изъ-за статьи Добролюбова о его романѣ «Наканунѣ». Тургеневъ нашелъ эту статью Добролюбова обидной для себя: Добролюбовъ третируетъ его, какъ писателя безъ таланта, какой былъ бы надобенъ для разработки темы романа, и безъ яснаго пониманія вещей.

Чернышевскій сказалъ Некрасову, что просматривалъ статью и не замѣтилъ въ ней ничего подобнаго. Некрасовъ отвѣчалъ, что, значитъ, Черны-

шевскій читалъ статью безъ вниманія. И Чернышевскій вспомнилъ, что дѣйствительно просматривалъ ее торопливо, пропуская цѣлые столбцы корректуры. Дѣло въ томъ, что онъ уже давно перестaлъ читать статьи Добролюбова и просматривалъ иной разъ кое-что лишь по какому-нибудь особенному обстоятельству. Обыкновенно этимъ обстоятельствомъ было желаніе Добролюбова, чтобъ старшій товарищъ его взглянулъ, не сдѣлалъ ли онъ какой ошибки, излагая мысли о предметѣ мало ему знакомомъ. Такъ было и тутъ. Добролюбову приходилось говорить о положеніи въ Болгаріи, о чувствахъ болгарскихъ патріотовъ, о томъ, до какой степени возможно находить ихъ желанія сбыточными. Ему казалось, что эти вещи Чернышевскому болѣе знакомы, и онъ просилъ просмотрѣть относящіяся къ нимъ мѣста его статьи. Чернышевскій такъ и сдѣлалъ. Онъ искалъ глазами въ статьѣ только эти мѣста, пропуская все остальное.

Выслушавъ такое признаніе Чернышевскаго, Некрасовъ подтвердилъ, что Тургеневъ дѣйствительно имѣлъ основаніе разсердиться за эту статью: она очень обидна для самолюбія автора, ожидавшаго, что будетъ читать безусловный панегирикъ своему роману. Что обиднаго показалось Тургеневу въ этомъ разборѣ его романа, Чернышевскому такъ и осталось неизвѣстнымъ. Издавая собраніе сочиненій Добролюбова, онъ, по его словамъ, «сличалъ и эту статью, какъ была напечатана она въ «Современникѣ», съ рукописью Добролюбова (въ типографію посылались для набора вырѣзки изъ «Современника» или тѣ корректуры, которыя уцѣлѣли). Перечитывалъ статью во

второй разъ въ корректурѣ новаго набора. «Но, конечно, — пишетъ онъ, — мое вниманіе при этомъ было занято не размышленіями о томъ, достаточно или недостаточно похвалъ роману Тургенева въ отзывахъ Добролюбова о немъ, и я не помню, какъ именно оцѣнивалъ Добролюбовъ этотъ романъ въ статьѣ о немъ».

Некрасовъ былъ тогда еще очень расположенъ къ Тургеневу, но въ его разсказѣ — вспоминаетъ Чернышевскій — «не было ни малѣйшаго порицанія Добролюбову; онъ только смѣялся надъ обманутыми надеждами Тургенева на панегирикъ роману; посмѣялся и я». Увидѣвшись послѣ того съ Добролюбовымъ, Чернышевскій принялся убѣждать его не держать себя такъ неразговорчиво съ почтеннымъ человѣкомъ, достоинства котораго онъ старался изобразить Добролюбову въ самомъ привлекательномъ и достойномъ уваженія видѣ. Но его доводы были отвергнуты Добролюбовымъ съ непоколебимымъ равнодушіемъ. «По увѣренію Добролюбова, я — пишетъ Чернышевскій — говорилъ пустяки, о которыхъ самъ знаю, что они пустяки, потому что я думаю о Тургеневѣ точно такъ же, какъ онъ; Тургеневъ не можетъ не быть скученъ и непріятенъ и для меня. Если мнѣ угодно не высказывать этого Тургеневу, я могу не высказывать, онъ не убѣждаетъ меня держать себя прямѣе и откровеннѣе. Но мнѣ хорошо не уходить отъ разговоровъ съ Тургеневымъ, потому что мы видимся сравнительно рѣдко; а толковать съ Тургеневымъ столько, сколько приходилось бы ему, нашелъ бы невыносимымъ и я. Нечего было дѣлать, я отсталъ отъ внушенія моихъ прекрасныхъ чувствъ Добролюбову... Добролюбовъ казался мнѣ совершенно справедливымъ въ

своихъ мнѣніяхъ о немъ. Если я не желалъ разрыва между нами и самъ не выказывалъ Тургеневу, что желалъ бы уклоняться отъ разговоровъ съ нимъ, у меня былъ на то мотивъ, не имѣвшій ничего общаго съ пріятностью или непріятностью, занимательностью или незанимательностью ихъ для меня. Мнѣ казалось полезнымъ для литературы, чтобы писатели, способные болѣе или менѣе сочувствовать хоть чему-нибудь честному, старались не имѣть личныхъ раздоровъ между собой. Добролюбовъ былъ объ этомъ иного мнѣнія. Ему казалось, что плохіе союзники — не союзники».

Въ результатѣ всѣхъ этихъ столкновеній недружелюбное отношеніе Тургенева къ «Современнику» вообще и къ Добролюбову въ частности обострилось. Чернышевскій вспоминаетъ брошенную ему Тургеневымъ въ полушутливой формѣ извѣстную фразу: «Вы простая змѣя, а Добролюбовъ — очковая». Наконецъ, Чернышевскій съ большою настойчивостью разбиваетъ мысль, что «открытымъ заявленіемъ ненависти Тургенева къ Добролюбову былъ романъ «Отцы и Дѣти»», гдѣ въ лицѣ Базарова изображенъ будто бы окарикатуренный Добролюбовъ.

Самъ Тургеневъ, какъ извѣстно, энергично возражаетъ какъ противъ утвержденія, что Базаровъ — пасквиль на Добролюбова, такъ и противъ цѣлаго ряда свидѣтельствъ, удостовѣряющихъ тѣ чувства обиды и раздраженія, съ какими онъ встрѣтилъ добролюбовскую статью. На пасквиль онъ не способенъ. А что же касается до «уязвленнаго» самолюбія, то — замѣчаетъ Тургеневъ — статья Добролюбова о «Наканунѣ» — «исполнена самыхъ

горячихъ — говоря по совѣсти — самыхъ незаслуженныхъ похвалъ»[1].

Почти десятилѣтнее разстояніе отдѣляетъ эти строки отъ самого романа и связанныхъ съ нимъ эпизодовъ. Память, очевидно, измѣнила Тургеневу. Что добролюбовская статья его разсердила и вызвала съ его стороны болѣе или менѣе острую и бурную реакцію, — это фактъ, котораго отрицать нельзя. Иное дѣло — причины этого возмущенія. Здѣсь показанія свидѣтелей расходятся, и трудно указать съ точностью, что же собственно обидѣло Тургенева въ добролюбовской статьѣ. Но въ то же время можно сказать, что самолюбивый писатель легко могъ найти въ ней десятки поводовъ для обиды. Вспомнимъ хотя бы то обстоятельство, что Добролюбовъ первый въ этой статьѣ вскрылъ манеру Тургенева изображать черезъ героиню романа извѣстное настроеніе общественной мысли, и онъ же одновременно выяснилъ, какъ прячетъ осторожный художникъ эту общественную мысль въ романическихъ переживаніяхъ героя и героини. Воздавъ должное прежнимъ произведеніямъ Тургенева, гдѣ возвышенные характеры смирялись подъ ударами рока, обнаруживая въ концѣ концовъ свою обломовскую сущность, Добролюбовъ переходитъ къ повѣсти «Наканунѣ». Онъ указываетъ на элементы этой повѣсти, сближающіе ее съ «героической эпопеей», и тутъ же оговаривается, что созданіе такой эпопеи не по средствамъ Тургенева:

«Его [Тургенева] дѣло другое: изъ всей «Иліады» и «Одиссеи» онъ присваиваетъ себѣ только разсказъ о пребываніи Улисса на островѣ Калипсы и далѣе этого не простирается».

[1] И. С. Тургеневъ. „Собраніе соч.“, см. „По поводу „Отцовъ и дѣтей“.

Я думаю, что художникъ могъ обидѣться на эту догадку критика, потому, во-первыхъ, что это была правда, впервые открыто высказанная, и потому, во-вторыхъ, что правду эту Тургеневъ пряталъ даже отъ самого себя, любя приписывать своимъ произведеніямъ не только литературный интересъ, но и широкое общественное значеніе. Въ отрицаніи Добролюбовымъ этого значенія за романами Тургенева, какъ въ сущности говоря и за всею идеологіей его и его единомышленниковъ, и надо искать первопричины расхожденія Тургенева съ «Современникомъ». Личныя качества и личныя столкновенія Тургенева и Добролюбова, игравшія въ глазахъ современниковъ значительную и во всякомъ случаѣ видную роль, въ исторической перспективѣ блѣднѣютъ и отступаютъ на задній планъ, уступая мѣсто фактамъ и обстоятельствамъ болѣе общаго значенія.

Чернышевскій и Добролюбовъ, занявъ въ редакціи «Современника» прочное и вліятельное положеніе, не въ одномъ только Тургеневѣ будили «змѣиныя» ассоціаціи. Изъ старыхъ сотрудниковъ «Современника» Тургеневъ былъ вліятельнѣе другихъ, стоялъ ближе къ Некрасову и могъ откровеннѣе другихъ высказывать свою непріязнь къ новому направленію, внесенному въ журналъ «семинаристами». Однако, противъ положенія, занятаго «семинаристами», такъ или иначе высказывались въ интимныхъ бесѣдахъ всѣ старые сотрудники «Современника», и Некрасову слишкомъ часто приходилось выслушивать замѣчанія, образчики которыхъ приводитъ Головачева-Панаева. «Мертвечиной отъ нихъ несетъ! ничто ихъ не интересуетъ!» — начиналъ Тургеневъ, — и собесѣдники поддерживали его своими сочувственными репли-

ками. Оказывалось, что общество семинаристовъ нагоняетъ тоску, что семинариста можно по запаху деревяннаго масла даже въ банѣ узнать и т. д.

Но пока благородные сотрудники «Современника» по-обломовски отводили душу въ такого рода задушевныхъ бесѣдахъ, «семинаристы» крѣпли и даже множились въ числѣ. Такъ, въ 1859 г. начали писать въ журналѣ М. А. Антоновичъ и А. Н. Пыпинъ, — послѣдній хотя и дворянскаго званія, но чисто семинарской закваски.

И вдругъ, какъ громъ изъ безоблачнаго неба, раздался набатный ударъ «Колокола», возвѣщавшій о надвигающейся на Россію семинарской опасности: въ № 44 «Колокола» за 1859 г. появилась направленная противъ Добролюбова и Чернышевскаго статья «Very dangerous!!!» — очень опасно!

Отношенія Добролюбова съ Герценомъ во многомъ тождественны по существу его же отношеніямъ съ Тургеневымъ. Но, къ счастью, чисто идейное, общественнаго характера, столкновеніе не осложняется въ первомъ случаѣ никакими случайными элементами личныхъ свойствъ и особенностей и можетъ быть разсматриваемо исключительно съ точки зрѣнія встрѣчи двухъ различныхъ міровоззрѣній.

Герценъ, какъ первый русскій гегельянецъ, усвоившій ученіе лѣваго крыла этой философской школы и провозгласившій самоцѣнность жизни еще въ началѣ 40-хъ годовъ, естественно привлекалъ къ себѣ взоры молодыхъ русскихъ разночинцевъ. Инстинктивно тянувшіеся къ той же постановкѣ основныхъ проблемъ жизни, они не могли не смотрѣть на Герцена, по крайней мѣрѣ на первыхъ этапахъ своихъ идейныхъ исканій, какъ на своего учителя. Черны

шевскій до переѣзда въ Петербургъ мечталъ идти «по стопамъ Герцена». О томъ же мечталъ въ институтѣ и Добролюбовъ. Онъ съ увлеченіемъ читалъ заграничныя изданія Герцена и очень огорчился, узнавъ изъ первыхъ же бесѣдъ съ Чернышевскимъ, что этотъ послѣдній уже не склоненъ раздѣлять его восторговъ. Впрочемъ, бесѣды съ Чернышевскимъ не поколебали его увлеченія знаменитымъ эмигрантомъ, и въ цитированномъ выше письмѣ къ Турчанинову Добролюбовъ устанавливаетъ, что «оба эти человѣка для меня авторитеты». Въ дневникѣ 1857 г. есть страницы, показывающія, что его увлеченіе Герценомъ находится все въ томъ же положеніи, а въ письмѣ къ Шемановскому 12 сентября 1858 г. онъ даже возмущается Щегловымъ, который распустилъ сплетню, будто онъ, Добролюбовъ, въ своихъ статьяхъ позволяетъ себѣ ругать «нашего общаго любимца изъ Вятки». Къ тому же незадолго передъ этимъ Добролюбовъ послалъ въ «Колоколъ» свою статью о «партизанѣ» И. И. Давыдовѣ.

И вотъ этотъ же «Колоколъ» звонитъ теперь объ опасности, представляемой для Россіи литературной дѣятельностью Чернышевскаго и Добролюбова: «Very dangerous!»

«Въ послѣднее время, — пишетъ Герценъ, — въ нашей журналистикѣ стало повѣвать какой-то тлетворной струей, какимъ-то развратомъ мысли. Журналы, сдѣлавшіе себѣ пьедесталъ изъ благородныхъ негодованій и чуть не ремесло изъ мрачныхъ сочувствій со страждущими, катаются со смѣху надъ обличительной литературой, надъ неудачными попытками гласности . . . Истощая свой смѣхъ на обличительную литературу, милые паяцы наши забываютъ, что по этой скользкой дорогѣ

можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но и до Станислава на шею».

Черезъ три-четыре года Герценъ, окончательно разочарованный и въ Галилеѣ и въ молодомъ дворянствѣ, самъ заговоритъ языкомъ «благородныхъ негодованій» и «мрачныхъ сочувствій» Добролюбова. Но сейчасъ статья Герцена какъ-то сразу обнаружила огромную пропасть, отдѣляющую разночинца отъ барина, какимъ бы идеализмомъ и радикализмомъ послѣдній ни украшалъ свое знамя. Обрушившись на Добролюбова и Чернышевскаго, Герценъ, въ своемъ лицѣ, объединилъ все либеральное дворянское болото, возмечтавшее въ ту пору объ ожидающихъ ихъ реформахъ и усиленно заговорившее поэтому на темы реальной политики.

Крохоборная, весьма условная гласность, разрѣшавшая столичной прессѣ обличать мелкихъ провинціальныхъ чиновниковъ, казалась либеральному дворянству тѣмъ болѣе вѣрнымъ залогомъ прогресса, что полулегальный, распространенный и доступный «Колоколъ», обличая болѣе крупныхъ дѣльцовъ, превратился какъ бы въ перманентную своего рода «сенаторскую ревизію» и очень успокоительно дѣйствовалъ на чающихъ какого-то движенія и прогресса обломовцевъ. Чернышевскій и Добролюбовъ, самымъ энергичнымъ образомъ отвергавшіе и эту миллилитровую гласность и миллиметровый прогрессъ, мѣшали рѣшительно всѣмъ дѣлавшимъ политику и еще больше всѣмъ воображавшимъ, что они ее дѣлаютъ. Вслѣдъ за Герценомъ на Чернышевскаго и Добролюбова за тѣ же ихъ преступленія и въ тѣхъ же почти выраженіяхъ жалуются и двусмыленно-либеральный цензоръ Никитенко, которому названные писатели мѣшаютъ будто бы

стать «примирительнымъ лицомъ между литературой и правительствомъ» [1], и Погодинъ и кн. Вяземскій и проч., и проч., и проч.

Герценъ въ своей статьѣ ни одной чертой не отдѣлилъ себя отъ этого болота. Другъ Бакунина, онъ не понялъ тогда, что къ Добролюбову и Чернышевскому больше, чѣмъ къ кому бы то ни было, относятся слова русскаго анархиста: «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust». Онъ не видѣлъ, что «желчный» демонъ Добролюбова, этотъ

Бѣсъ отрицанія, безъ сомнѣнья,
Бѣсъ, отвергающій прогрессъ,

на камняхъ своего отрицанія утверждаетъ грандіозный дворецъ національнаго устройства, передъ которымъ даже вопросъ о крѣпостномъ правѣ — пустая, не стоющая вниманія мелочь [2].

Статья Герцена побудила Чернышевскаго съѣздить въ Лондонъ для личнаго объясненія, которое, однако, не привело ни къ какимъ положительнымъ результатамъ. Что же касается Добролюбова, то онъ, посланный врачами за границу для лѣченія, обратился къ Герцену съ письмомъ, которое, по силѣ вложенной въ него страстности, сравниваютъ съ письмомъ Бѣлинскаго къ Гоголю.

XI.

«Человѣкъ и его счастье» — вотъ формула, къ которой Добролюбовъ, по его собственному при-

---

[1] А. В. Никитенко, „Записки и дневникъ", т. II, стр. 235, Спб. 1893.

[2] Во второй части „Пролога", въ дневникѣ Левицкаго (Добролюбова) записана бесѣда его съ Волгинымъ (Чернышевскимъ). Изъ этой бесѣды явствуетъ, что въ концѣ 50-хъ годовъ они считаютъ *мелочью* самый вопросъ о крѣпостномъ правѣ: „Многимъ ли лучше крѣпостныхъ живутъ вольные мужики?.. Все вздоръ передъ общимъ характеромъ національнаго устройства".

знанію, привелъ всѣ свои сомнѣнія и умствованія. Пока, однако, разсматривая жизнь Добролюбова главнымъ образомъ со стороны ея идейнаго содержанія, мы имѣли передъ собой не столько живого человѣка, сколько абстракцію, въ которой реальная личность критика растворяла себя, стараясь найти и определить свое, еще не отмежеванное для нея исторіей мѣсто въ жизни.

Теперь посмотримъ, насколько удалось Добролюбову примѣнить созданную имъ формулу къ своей личной жизни въ тѣсномъ, интимномъ смыслѣ этого слова.

Въ одномъ изъ институтскихъ дневниковъ Добролюбова промелькнула фраза о томъ, что «въ своей книжной сосредоточенности» онъ мечталъ одно время выйти «на поприще общественной дѣятельности чѣмъ-то въ родѣ Катона безстрастнаго или Зенона стоика». Но жизнь разрушила эту мечту и замѣнила ее другой, гораздо болѣе естественной въ юношескіе годы: онъ жаждетъ любви. И эта жажда, никѣмъ не удовлетворенная, усиливается съ каждымъ годомъ все больше и больше, принимая нерѣдко комическій, но иногда и трагическій характеръ.

«Бѣда, если я теперь встрѣчу хорошенькую дѣвушку, съ которой близко сойдусь, — записываетъ онъ въ дневникѣ 8 января 1857 г.: — влюблюсь непремѣнно и сойду съ ума на нѣкоторое время.» И на другой же день, получивъ приглашеніе заниматься русской словесностью съ 15-лѣтней дочерью Татаринова, онъ опять пишетъ: «Что если она хорошенькая и умная дѣвушка!.. Теоретически—я боюсь, что она хороша и завлечетъ меня; но въ глубинѣ души мнѣ ужасно хочется, чтобы это было именно такъ»...

И съ двадцати лѣтъ личная жизнь Добролюбова превращается въ длинную, непрерывную цѣпь сладостныхъ минутъ влюбленности, за которыми неизбѣжно слѣдуютъ горькіе часы разочарованія и обиды. Невозможно, да пожалуй и незачѣмъ перечислять здѣсь имена всѣхъ тѣхъ многочисленныхъ особъ женскаго пола, на которыхъ распространялась любовь Добролюбова. Онъ влюбляется въ актрису въ театрѣ, въ незнакомую барышню на балу, въ жену своего лучшаго друга Ольгу Сократовну Чернышевскую, въ ея сестру Анну Сократовну, въ парижскую кафешантанную пѣвицу, въ итальянскую барышню въ Мессинѣ и т. д. И если его серьезныя намѣренія не увѣнчиваются успѣхомъ, то вина во всякомъ случаѣ лежитъ не на немъ. Съ нимъ кокетничаютъ, заигрываютъ, но въ рѣшительную минуту онъ попрежнему остается одинокимъ, съ неутоленною жаждою женской любви и ласки. Былъ случай, когда онъ готовъ былъ, ради этого неудовлетвореннаго чувства, пожертвовать и литературой, и друзьями, и даже родиной, согласившись промѣнять все это на тихій семейный уютъ въ Италіи со встрѣтившейся ему итальянской барышней.

Послѣ одной изъ многихъ своихъ неудачъ въ этой области онъ жалуется Бордюгову, которому онъ вообще чаще другихъ довѣряетъ свои сердечныя тайны: «Что ты станешь дѣлать: дрянь мнѣ не нравится, а хорошимъ женщинамъ я не нравлюсь. Просто хоть топись». А между тѣмъ, — пишетъ онъ тому же товарищу по другому поводу, — «если бы у меня была женщина, съ которой я могъ бы дѣлить свои чувства и мысли до такой степени, чтобы она читала даже вмѣстѣ со мною мои произведенія, я былъ бы счастливъ и ничего не

хотѣлъ бы болѣе. Любовь къ такой женщинѣ и ея сочувствіе, — вотъ мое единственное желаніе теперь. Въ немъ сосредоточиваются всѣ мои внутреннія силы, вся моя жизнь, и сознаніе полной безплодности и вѣчной неосуществимости этого желанія гнететъ, мучитъ меня, наполняетъ тоской, злостью, завистью, всѣмъ, что есть безобразнаго и тягостнаго въ человѣческой натурѣ» [1].

Можно подумать, что Добролюбовъ былъ уродомъ и внушалъ отвращеніе женщинамъ. Но вѣдь на самомъ дѣлѣ этого не было. Къ тому же, имѣя уроки въ богатыхъ аристократическихъ домахъ, Добролюбовъ еще съ институтской скамьи привыкъ заботиться о своей внѣшности, такъ что и съ этой стороны все обстояло благополучно.

Такъ въ чемъ же дѣло?

Дѣло все въ томъ, что Добролюбовъ былъ первымъ интеллигентомъ-разночинцемъ, и трагедія его личной жизни — это трагедія перваго русскаго разночинца.

Я уже объяснилъ, почему я называю Добролюбова *первымъ* разночинцемъ, хотя у него и были предшественники — Бѣлинскій и Чернышевскій. Но разъ ужъ мы вспомнили о предшественникахъ, скажемъ нѣсколько словъ и о нихъ.

Бѣлинскій въ личной своей жизни пережилъ такую же трагедію, какая выпала на долю Добролюбова. «Бѣлинскій — читаемъ мы въ «Воспоминаніяхъ» о немъ Тургенева, — Бѣлинскій, съ своимъ горячимъ и впечатлительнымъ сердцемъ, съ своей привязчивостью и страстностью, Бѣлинскій, все-таки одинъ изъ первыхъ людей своего времени, не

---

[1] „Матеріалы", стр. 492.

былъ никогда любимъ женщиной. Бракъ свой онъ заключилъ не по страсти... Сердце его безмолвно и тихо истлѣло...».

Случайно такая же судьба миновала Чернышевскаго. Онъ полюбилъ дѣвушку своего круга и женился на ней. Но элементъ случайности несомнѣнно присутствуетъ въ этомъ бракѣ. Я вспоминаю одинъ любопытный разговоръ, который какъ-то привелось вести Чернышевскому со своей невѣстой.

Однажды онъ засталъ Ольгу Сократовну въ очень грустномъ настроеніи. Оказывается, она была глубоко опечалена словами какой-то знакомой, которая считала долгомъ предостеречь ее: «Онъ — не дворянинъ, кто будутъ твои дѣти?»

И замѣтьте, что Ольга Сократовна и сама не можетъ похвалиться ни знатностью, ни богатствомъ. Она—дочь врача и при томъ же страшно тяготится жизнью въ семьѣ, гдѣ она на положеніи нелюбимой дочери. И вотъ все-таки задумалась и огорчилась,— «онъ не дворянинъ, кто будутъ мои дѣти?» И въ самомъ дѣлѣ, — зададимъ мы тотъ же вопросъ самимъ себѣ — кто они будутъ? — Кто будутъ дѣти разночинца, — неизвѣстно. Но зато очень хорошо извѣстно, что они *не* будутъ дворянами, *не* будутъ помѣщиками, *не* будутъ тѣми привилегированными любимцами жизни, которымъ въ сословно-крѣпостническомъ государствѣ заранѣе уготованы и уваженіе, и почесть, и сытость. Неудивительно, что дѣвушка воспитанная, хотя бы она и принадлежала къ бѣдной разночинской семьѣ, должна была подумать и хорошо подумать, прежде чѣмъ пойти за разночинца, обрекая не только себя, но и дѣтей своихъ всѣмъ превратностямъ шаткой разночинской доли. А въ женихахъ-дворянахъ барышня

воспитанная недостатка въ тѣ времена не ощущала. Объ этомъ мы можемъ судить хотя бы по многочисленнымъ ухаживателямъ, которыми такъ щедро снабжалъ Тургеневъ своихъ героинь.

Положеніе Добролюбова въ крѣпостническомъ строѣ осложнялось еще тѣмъ, что онъ былъ не просто разночинцемъ, а еще къ тому же «противообщественнымъ элементомъ». Такъ «кто же, спрашивается, можетъ полюбить такого? — не безъ горечи восклицаетъ онъ въ своей статьѣ о «Наканунѣ»: — какая благовоспитанная и умная дѣвушка не побѣжитъ отъ него, что есть мочи, съ крикомъ: Quelle horreur!!»

Интеллигентный разночинецъ-піонеръ оказался безъ подруги, —дореформенный строй отказалъ ему въ ней. И если волей-неволей Добролюбовъ вынужденъ былъ подчиниться обстоятельствамъ, то обязательность аскетизма онъ все-таки за собой не призналъ. Онъ счелъ себя въ правѣ покупать любовь, и посмотрите, съ какой человѣчной простотою относится онъ къ тѣмъ «несчастнымъ дѣвушкамъ», которыя вынуждены торговать любовью. Страницы дневника, на которыхъ Добролюбовъ откровенно разсказываетъ о своихъ посѣщеніяхъ Маши и ея подругъ, трогаютъ, — какъ это ни странно звучитъ, — нравственной чистотою и лирической настроенностью исповѣдывающейся здѣсь души.

«Поѣхалъ къ Машѣ и «остался тамъ весь вечеръ и ночь . . . Съ ней можно бы жить и ужиться, особенно мнѣ. Но . . . плохое ремесло публичной женщины у насъ въ Россіи» . . . Или въ другомъ мѣстѣ: «Собственно говоря, ихъ торгъ чѣмъ же подлѣе и ниже . . . ну, хоть нашего учительскаго торга

когда мы нанимаемся у правительства учить тому, чего сами не знаемъ, и проповѣдывать мысли, которымъ сами рѣшительно не вѣримъ?.. Разумѣется, жаль, что можетъ существовать подобная торговля, но надобно же быть справедливымъ»...

Здѣсь заложены тѣ же чувства и настроенія, которыми обвѣяны и лирическія произведенія Добролюбова, посвященныя «падшимъ»:

Я знаю все: упала ты глубоко,
Любовь свою ты многимъ раздаешь;
Средь пошлости, позора и порока,
Забывъ себя, ты весело живешь...
Но, противъ воли, сердце молодое
Горитъ во мнѣ любовію къ тебѣ...

Лѣтомъ 1857 г. Добролюбовъ случайно встрѣтился съ бѣдной, малообразованной дѣвушкой-нѣмкой Терезой Карловной Гринвальдъ, которая находилась въ это время въ очень стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Добролюбовъ выручилъ ее изъ этихъ обстоятельствъ и сошелся съ ней, разсчитывая на *прочное счастье*. Но уже черезъ годъ онъ убѣдился, что «нельзя любить женщину, надъ которой сознаешь свое превосходство во всѣхъ отношеніяхъ», и окончательно разошелся съ нею. Однако, въ одномъ отношеніи эта связь оказалась дѣйствительно прочной: Добролюбовъ, разставшись съ нею, никогда не переставалъ чувствовать себя въ чемъ-то виноватымъ передъ ней, онъ постоянно безпокоился о ея судьбѣ, систематически помогалъ ей совѣтами и деньгами, и заботы о Терезѣ послѣ смерти Добролюбова взялъ на себя его другъ Чернышевскій.

Смерть рано скосила Добролюбова. Онъ умеръ въ возрастѣ, въ которомъ въ наше время многіе лишь начинаютъ свое общественное служеніе. И все-таки онъ оставилъ послѣ себя, во-первыхъ, яркій и стильный образъ своей богатой и цѣлостной индивидуальности и, во-вторыхъ, вполнѣ законченный трудъ, который выпукло характеризуетъ небольшой по времени, но значительный по переживаніямъ періодъ русской исторіи, именуемый концомъ 50-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Этотъ періодъ закончился въ 1861 г., и замѣчательно, что смерть, какъ бы ревнуя о точныхъ хронологическихъ граняхъ, погасила факелъ жизни Добролюбова какъ разъ именно въ тотъ моментъ, когда на арену общественной и литературной дѣятельности должны были выступить иные дѣятели, съ иными планами и настроеніями.

Добролюбовъ — дѣятель близкаго къ реформѣ, но все еще дореформеннаго періода. Онъ весь въ ожиданіи, которое то вспыхиваетъ въ немъ разноцвѣтной радугой блестящихъ надеждъ, то, потухая, отзывается въ его душѣ скорбной лирикой глубокаго, искренняго страданія. И такъ какъ въ надеждахъ его свѣтится идеалъ, еще нигдѣ на землѣ не осуществленный, а лирика его звучитъ тоской по этому идеалу, то много еще пройдетъ времени, пока паѳосъ Добролюбова перестанетъ доходить до нашего сердца, а мысль его — до нашего сознанія.

Вл. Кранихфельдъ.

Отъ редактора.

Предисловіе къ тому I.

При подготовкѣ къ печати настоящаго, юбилейнаго изданія сочиненій Н. А. Добролюбова, редакція прежде всего, разумѣется, должна была поставить и разрѣшить вопросъ о провѣркѣ и установленіи добролюбовскаго текста.

Всѣ изданія сочиненій Добролюбова, вышедшія до нынѣшняго юбилейнаго срока, копировали первое четырехтомное изданіе, редактированное Н. Г. Чернышевскимъ, и ни на іоту не отступали отъ этого образца. Извѣстно было, что въ это первое изданіе Чернышевскимъ взяты далеко не всѣ статьи Добролюбова даже изъ числа бывшихъ въ печати, не говоря уже о сохранившихся въ рукописяхъ. Извѣстно было, что текстъ вошедшихъ въ «Собраніе» статей Добролюбова нерѣдко значительно отступаетъ отъ текста, въ какомъ эти статьи впервые были напечатаны въ «Современникѣ». И, однако, ни въ одномъ изъ послѣдующихъ изданій эти важныя обстоятельства не были ни объяснены, ни даже оговорены, — всѣ они слѣпо воспроизводили первое изданіе въ его первоначальномъ видѣ, не позволяя себѣ никакихъ отступленій отъ него. Если Чернышевскій включилъ въ свое изданіе какую-нибудь незначительную рецензію Добролюбова на книгу или

брошюру, давнымъ давно позабытую даже записными библіофилами, эта рецензія неизмѣнно воспроизводилась и во всѣхъ послѣдующихъ изданіяхъ. Если въ изданіи Чернышевскаго отсутствовала та или иная большая статья Добролюбова, то не ищите ея и во всѣхъ послѣдующихъ изданіяхъ [1], — вы не найдете въ нихъ даже простого упоминанія о ней. Точно также ни въ одномъ изъ этихъ изданій ни разу не было сдѣлано даже указанія на то, что ихъ тексты не всегда совпадаютъ съ текстами «Современника». Такое дословное копированіе изданія, предпринятаго Чернышевскимъ, свидѣтельствуя о беззаботности всѣхъ послѣдующихъ издателей, говоритъ вмѣстѣ съ тѣмъ и объ огромномъ довѣріи къ первому редактору сочиненій Добролюбова, довѣріи, котораго онъ — теперь мы можемъ сказать это совершенно сознательно — дѣйствительно заслуживаетъ въ полной мѣрѣ.

Ознакомившись въ настоящее время съ той поистинѣ безпримѣрной работой, которую съ любовной кропотливостью и съ заботливымъ вниманіемъ выполнилъ Чернышевскій, подготовляя къ печати первое изданіе сочиненій Добролюбова вмѣстѣ съ матеріалами для его біографіи [2], осмотрѣвъ собран-

[1] Исключеніе составляютъ только разсказы „Доносъ" и „Дѣлецъ" и нѣкоторыя лирическія стихотворенія, появившіяся въ позднѣйшихъ изданіяхъ сочиненій Добролюбова.

[2] См. „Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова", т. I, М. 1890 г. Изданные здѣсь и снабженные цѣнными комментаріями Чернышевскаго „Матеріалы" собраны были имъ непосредственно послѣ смерти Добролюбова и частью использованы въ „Современникѣ". Арестъ, а затѣмъ и многолѣтняя ссылка помѣшали Чернышевскому довести эту работу своевременно до конца. Но въ 1887 г. онъ возобновилъ ее, приступивъ къ собиранію и обработкѣ новыхъ матеріаловъ. Смерть помѣшала ему закончить работу, но имъ былъ уже намѣченъ планъ и второго тома „Матеріаловъ". Рукописи, собранныя съ этой цѣлью Чернышевскимъ, находятся теперь въ распоряженіи Литературнаго Фонда, любезно разрѣшившаго намъ ознакомиться съ ними и использовать ихъ для настоящаго изданія. *Вл. Кр.*

ныя Чернышевскимъ для этой цѣли рукописи Добролюбова, его дневники, переписку и другія бумаги, заботливо имъ сохраненныя вплоть до случайныхъ обрывковъ, надобно признать, что Чернышевскій почти исчерпалъ всѣ возможные источники для установленія литературнаго и житейскаго облика своего сотрудника, единомышленника и друга.

Текстъ статей Добролюбова подвергнутъ былъ Чернышевскимъ тщательной провѣркѣ, и въ первомъ «Собраніи сочиненій» имъ возстановлены купюры и измѣненія, сдѣланныя въ «Современникѣ» не только цензурой, но, повидимому, и самой редакціей по разнымъ соображеніямъ тактическаго свойства. Само собою разумѣется, что для настоящаго изданія мы пользуемся текстомъ, установленнымъ Чернышевскимъ. Было бы возможно въ примѣчаніяхъ отмѣтить всѣ измѣненія, внесенныя Чернышевскимъ въ текстъ «Современника», но ихъ слишкомъ много, и пестрить ими изданіе нѣтъ никакой надобности. И только для того, чтобы показать читателямъ предѣлы, до которыхъ доходило искаженіе добролюбовскаго текста въ «Современникѣ», въ своемъ мѣстѣ данъ будетъ параллельный текстъ наиболѣе пострадавшей въ этомъ смыслѣ статьи: «Когда же придетъ настоящій день?».

Огромный трудъ предпринятъ былъ Чернышевскимъ и для выясненія всего того, что когда-либо было написано и напечатано Добролюбовымъ. Онъ вошелъ съ этою цѣлью въ личныя и письменныя сношенія съ родственниками, друзьями и товарищами Добролюбова, съ редакціями журналовъ и газетъ, гдѣ, по его свѣдѣніямъ, печатались статьи, замѣтки и стихи Добролюбова, и такимъ путемъ обстоятельно выяснилъ составъ литературнаго на-

слѣдства, оставленнаго покойнымъ критикомъ. Чернышевскимъ бережно собрано и сохранено множество рукописей Добролюбова, начиная съ дѣтскихъ тетрадокъ и кончая статьями, нигдѣ не опубликованными, но написанными уже въ періодъ умственной зрѣлости этого рано созрѣвшаго юноши, — по всей вѣроятности, въ послѣдніе два года пребыванія его въ институтѣ. Указанія на печатныя работы Добролюбова собраны Чернышевскимъ съ такой исчерпывающей полнотою, что, слѣдуя этимъ указаніямъ, можно было бы къ четыремъ томамъ, изданнымъ Чернышевскимъ, прибавить еще два такихъ же, сплошь составленныхъ изъ статей, опубликованныхъ въ разное время, но до сихъ поръ не перепечатывавшихся ни въ одномъ добролюбовскомъ изданіи. Здѣсь мы найдемъ и совершенно дѣтскія статейки Добролюбова, напечатанныя въ «Нижегородскихъ Вѣдомостяхъ», и списки рецензій, напечатанныхъ въ «Журналѣ для воспитанія» за 1857—59 годы, и статей, напечатанныхъ въ «Искрѣ» за 1859 г., и т. д. Тщательность, съ какой собирались всѣ эти свѣдѣнія, какъ бы подчеркивается трогательно-покаяннымъ письмомъ къ Чернышевскому институтскаго товарища Добролюбова, М. И. Шемановскаго, который казнитъ себя за то, что забылъ своевременно напомнить объ одной ему одному извѣстной статьѣ, напечатанной въ «Русскомъ Вѣстникѣ» за 1858 г. и подписанной только буквой X: «Мысли объ учрежденіи открытыхъ женскихъ школъ».

Подготовляя къ печати первое изданіе сочиненій Добролюбова, Чернышевскій предполагалъ дать еще одинъ дополнительный томъ, въ который должны были войти нѣкоторыя статьи, не нашедшія мѣ-

ста въ первыхъ четырехъ томахъ. Мысли этой, однако, не суждено было осуществиться, и есть основаніе думать, что Чернышевскій во всякомъ случаѣ не очень жалѣлъ объ этомъ. Впослѣдствіи, цитируя письмо Добролюбова, гдѣ рѣчь идетъ объ одной его статьѣ и двухъ разсказахъ, Чернышевскій дѣлаетъ такое примѣчаніе: «Эта статья и эти разсказы *не имѣютъ важности, потому не вошли* въ собраніе ‹Сочиненій Н. А. Добролюбова›»[1]. Очевидно, что, составляя первое собраніе, Чернышевскій подвергъ всѣ сочиненія Добролюбова внимательному разсмотрѣнію и, выбравъ изъ нихъ то, что «имѣетъ важность», все остальное выключилъ изъ собранія, какъ «не имѣющее важности».

Редакторъ настоящаго изданія, имѣющаго цѣлью удовлетворить запросы широкихъ слоевъ современнаго читателя, принявъ въ основу своей работы текстъ, установленный Чернышевскимъ, принимаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и предложенную имъ программу, — послѣднюю, впрочемъ, съ нѣкоторыми отступленіями, которыя вызываются задачами этого изданія.

Изданіе, предпринятое Чернышевскимъ, отдѣляетъ отъ современнаго читателя полувѣковое разстояніе. И съ этого разстоянія кое что, представлявшее для Чернышевскаго «важность», намъ уже не кажется важнымъ, значительнымъ; кое что, въ лучахъ полувѣковой работы научнаго изученія, мы видимъ теперь не въ томъ свѣтѣ, въ какомъ видѣлъ это Добролюбовъ. Таковы основанія, по которымъ нѣкоторыя статьи и рецензіи, включенныя

[1] См. „Матеріалы“, стр. 164. Прибавлю, что тутъ же Чернышевскій оговаривается замѣчая, что и эти произведенія Добролюбова „хороши и давали бы право на извѣстность писателю, который не имѣлъ бы другихъ правъ на нее“.

Чернышевскимъ въ собраніе сочиненій Добролюбова, не вошли въ настоящее изданіе. Всѣ отступленія отъ программы Чернышевскаго, сдѣланныя нами въ этомъ направленіи, будутъ указаны и мотивированы въ предисловіи къ послѣднему VIII тому настоящаго изданія.

Но мы позволили себѣ нѣкоторыя отступленія отъ программы Чернышевскаго также и въ другую сторону. Мы включили именно въ наше изданіе нѣкоторыя статьи Добролюбова, которыя не вошли въ изданіе Чернышевскаго, при чемъ двѣ изъ нихъ даже не были нигдѣ напечатаны и воспроизводятся здѣсь впервые, по рукописямъ Добролюбова. Читатель замѣтитъ, что статьи Добролюбова, которыми мы дополняемъ настоящее изданіе, имѣютъ непосредственное отношеніе къ теоріи искусства и къ критикѣ. Въ данномъ случаѣ нами руководило желаніе какъ можно полнѣе и отчетливѣе представить литературную дѣятельность Добролюбова въ ея основномъ и центральномъ моментѣ. Отнюдь не игнорируя всѣхъ другихъ сторонъ его литературной дѣятельности, мы считаемъ необходимымъ съ особеннымъ вниманіемъ освѣтить его дѣятельность какъ литературнаго критика, потому что этимъ именно и опредѣляется его роль и значеніе въ русской литературѣ.

Въ виду этого мы открываемъ настоящее собраніе сочиненій Добролюбова двумя юношескими его статьями, — «О русскомъ историческомъ романѣ» и «Нѣчто о дидактизмѣ въ повѣстяхъ и романахъ», — написанными, повидимому, въ 1855 г. Обнаруживая огромную начитанность Добролюбова, обѣ эти статьи заслуживаютъ особеннаго вниманія въ томъ отношеніи, что здѣсь впервые обозначи-

лись тѣ его принципіальные взгляды на литературу и ея значеніе, которые будущій критикъ еще въ институтѣ положилъ въ основу своихъ оцѣнокъ. Этимъ взглядамъ онъ не только не измѣнилъ впослѣдствіи, но, нерѣдко возвращаясь къ нимъ, далъ имъ вполнѣ законченную и полную формулировку въ лучшихъ своихъ критическихъ статьяхъ послѣдняго времени («Темное царство», «Когда же придетъ настоящій день?» и «Забытые люди»). Эти же двѣ юношескія статьи показываютъ, что не одна лишь чрезмѣрная скромность, какъ думали до сихъ поръ, руководила Чернышевскимъ, когда онъ, въ «письмѣ» къ Зарину, рѣшительно отрицая свое вліяніе на Добролюбова, утверждалъ, что «не былъ его (Добролюбова. *Вл. Кр.)* учителемъ никто изъ людей, писавшихъ по-русски»[1]. И въ самомъ дѣлѣ, статьи написаны юношей подъ непосредственнымъ вліяніемъ Л. Фейербаха, слѣды изученія котораго въ нѣмецкомъ подлинникѣ до сихъ поръ сохраняются въ институтскихъ бумагахъ Добролюбова. Свое отношеніе къ литературѣ онъ перенялъ не отъ Бѣлинскаго, который въ послѣдніе годы своей жизни находился подъ вліяніемъ того же мыслителя, и не отъ Чернышевскаго, который былъ ученикомъ Фейербаха и истолкователемъ его идей въ примѣненіи къ эстетикѣ. Онъ «въ рѣшительные для своего развитія годы», какъ поясняетъ Чернышевскій, самостоятельно проходилъ школу «нашихъ общихъ западныхъ высшихъ учителей». И къ русскимъ ихъ послѣдователямъ онъ имѣлъ бы право отнестись не столько какъ къ своимъ учителямъ, сколь-

[1] „Полное собраніе сочиненій Н. Г. Чернышевскаго", т. IX, статья „Въ изъявленіе признательности", стр. 100.

ко какъ къ своимъ старшимъ, болѣе знающимъ, болѣе авторитетнымъ единомышленникамъ, которые помогли ему сформировать общіе имъ взгляды. И если самъ Добролюбовъ, какъ это видно изъ его дневниковъ и писемъ, очень высоко цѣнилъ значеніе, какое имѣло для него общеніе съ Чернышевскимъ, то этотъ послѣдній, въ свою очередь, имѣлъ серьезныя основанія, при первыхъ же встрѣчахъ съ Добролюбовымъ, отнестись къ нему какъ къ единомышленнику, а не ученику, и предложить ему въ журналѣ положеніе равнаго среди равныхъ. О такомъ именно отношеніи Чернышевскаго къ Добролюбову свидѣтельствуетъ сцена въ «Дневникѣ Левицкаго», гдѣ Волгинъ (Чернышевскій) чуть ли не при первомъ свиданіи съ Левицкимъ (Добролюбовымъ) предоставляетъ ему «полную волю въ журналѣ» [1].

Вслѣдъ за указанными двумя статьями, воспроизведенными по рукописямъ Добролюбова, въ настоящее изданіе включена также статья о Пушкинѣ, напечатанная въ «Русскомъ Иллюстрированномъ Альманахѣ» въ 1858 г., но написанная Добролюбовымъ еще въ 1856 г.

Можно было бы многое возразить противъ включенія этой статьи въ настоящее изданіе. Самъ Добролюбовъ, рецензируя въ «Современникѣ» (1858 г., № 2) «Русскій Иллюстрированный Альманахъ», относится къ своей статьѣ слегка иронически, отмѣчая, впрочемъ, главнымъ образомъ запоздалость ея. «Полтора года тому назадъ, — замѣчаетъ онъ въ рецензіи, — все это, можетъ быть, еще имѣло какой-нибудь интересъ, но къ чему было издавать это теперь, когда уже и о Пушкинѣ, и о художе-

---

[1] Ibidem, т. X, „Прологъ", Стр. 210.

ственности, и объ общественныхъ вопросахъ наговорено столько хорошихъ вещей?» И если на самомъ дѣлѣ за полтора года, показавшіеся Добролюбову столь длительными, «хорошихъ вещей» о Пушкинѣ «наговорено» было не такъ ужь много, то теперь, въ теченіе полувѣка съ того времени, изученіе Пушкина дѣйствительно шагнуло впередъ далеко, — настолько далеко, что сейчасъ статья Добролюбова, построенная частью на недостаточныхъ и неполныхъ, частью даже на ошибочныхъ данныхъ, не можетъ служить твердой опорой для оцѣнки ни личности нашего великаго поэта, ни его поэзіи. Тѣмъ не менѣе статья о Пушкинѣ не можетъ и не должна быть исключена изъ собранія сочиненій Добролюбова. Исключивъ ее изъ перваго изданія, Чернышевскій сдѣлалъ невольный, конечно, но несомнѣнный промахъ, въ результатѣ котораго явилось впослѣдствіи искаженіе литературной физіономіи покойнаго критика. Его зачислили въ такіе «разрушители эстетики», какимъ былъ Писаревъ, и рѣзко-отрицательное отношеніе этого послѣдняго къ Пушкину стали приписывать и Добролюбову. Конечно, такое отождествленіе Добролюбова съ Писаревымъ всегда было произвольнымъ, лишеннымъ сколько-нибудь серьезныхъ основаній. Противъ него съ достаточной, казалось бы, выразительностью говоритъ даже одна, удержанная Чернышевскимъ въ сочиненіяхъ Добролюбова, рецензія на VII томъ Пушкина въ критическомъ изданіи П. В. Анненкова. Но если эта рецензія оставляла все-таки мѣсто для различныхъ и даже противорѣчивыхъ сужденій объ отношеніи Добролюбова къ Пушкину, то извлеченная нами изъ «Русскаго Иллюстрированнаго Альманаха» статья окончательно раз-

рѣшаетъ всякія по данному вопросу сомнѣнія. Не съ Писаревымъ, а съ Бѣлинскимъ, на «замѣчательныя» статьи котораго о Пушкинѣ ссылается здѣсь Добролюбовъ, сближаетъ нашего критика эта его статья. Онъ подходитъ къ Пушкину съ тѣмъ же критеріемъ, съ какимъ въ послѣдніе годы своей жизни подошелъ къ поэту и Бѣлинскій. И такъ какъ въ своихъ пушкинскихъ статьяхъ Бѣлинскій, по его же собственному выраженію, проложилъ другимъ дорогу тамъ, гдѣ до него еще не было протоптано и тропинки, то неудивительно, что Добролюбовъ и воспользовался этой дорогой, какъ немногимъ раньше воспользовался ею и Чернышевскій.

Напомнимъ въ нѣсколькихъ словахъ окончательно сложившуюся у Бѣлинскаго точку зрѣнія на Пушкина и его значеніе въ русской литературѣ.

«Съ любовью, но безъ ослѣпленія», склоняясь передъ всеобъемлющимъ геніемъ Пушкина, Бѣлинскій отнесся къ его поэзіи, какъ къ поэзіи прошлаго. Пушкинъ былъ призванъ быть первымъ поэтомъ-художникомъ Руси, дать ей поэзію, какъ искусство, какъ художество. И онъ блестяще выполнилъ эту необходимую въ исторіи русской литературы и русскаго просвѣщенія задачу, потому что живымъ нервомъ его творчества, преобладающимъ *паѳосомъ* его поэзіи и были именно художественность, «искусство для искусства». Искусство, какъ самоцѣль, это необходимый моментъ, мимо котораго не можетъ пройти исторія. Искусство, не будучи прежде всего искусствомъ, не можетъ имѣть никакого дѣйствія на людей, каково бы ни было его содержаніе. Пушкинъ создалъ въ Россіи поэзію, и въ этомъ его огромная историческая заслуга. Но на этомъ первомъ моментѣ, которымъ мы всецѣло

обязаны Пушкину, искусство въ своемъ развитіи не останавливается. Оно должно войти въ близкое соприкосновеніе съ жизнью, которая всегда выше искусства, ибо искусство есть только одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни. Сблизить искусство съ жизнью, сдѣлать его соціальнымъ, т. е. наполнить его соціальнымъ содержаніемъ, — такова задача новаго искусства, таковъ новый моментъ въ развитіи искусства *послѣ* Пушкина. Опредѣленное соціальное содержаніе имѣетъ, впрочемъ, и поэзія Пушкина, но и этою стороною своего творчества поэтъ точно также принадлежитъ исторіи. Въ разборѣ «Евгенія Онѣгина» Бѣлинскій, касаясь личности самого творца, его идеаловъ, указываетъ, что поэтъ душой и тѣломъ воспринялъ въ себя принципы, составляющіе сущность изображаемаго имъ помѣщичьяго класса. «Онъ нападаетъ въ этомъ классѣ на все, что противорѣчитъ гуманности; но принципъ класса для него — вѣчная истина». Такимъ образомъ, *паѳосъ* содержанія поэзіи Пушкина, это — паѳосъ помѣщичьяго принципа, который долженъ уступить передъ новыми требованіями соціальнаго прогресса.

Добролюбовъ съ полнымъ правомъ могъ бы повторить вслѣдъ за Бѣлинскимъ, что и онъ «съ любовью, но безъ ослѣпленія», склоняется передъ свѣтлой памятью поэта. И для него Пушкинъ — великій національный поэтъ Россіи, яркая звѣзда, озарившая русскую поэзію, русскую литературу, русское просвѣщеніе. Можно сказать даже, что и другими своими положеніями статья Добролюбова по существу оцѣнки, сдѣланной Бѣлинскимъ, не прибавляетъ ничего новаго, ничего оригинальнаго. Отъ пушкинскихъ статей Бѣлинскаго, откуда Добролю-

бовъ почерпнулъ основной, вплоть до техническихъ ошибокъ, матеріалъ, статья Добролюбова отличается характеризующимъ ее *паѳосомъ*, — паѳосомъ новаго міропониманія и мірощущенія, противопоставленнаго пушкинскому «паѳосу помѣщичьяго принципа». Критикъ, съ геніальною прозорливостью впервые отмѣтившій этотъ пушкинскій паѳосъ, самъ былъ разночинцемъ. Но всѣ его личныя привязанности, всѣ его идейныя связи коренились въ средѣ, которая, подобно Пушкину, и сама находилась во власти того же «паѳоса помѣщичьяго принципа». Бѣлинскій жилъ, мыслилъ и работалъ подъ сильнымъ вліяніемъ этой среды, и всѣ неистовства «неистоваго Виссаріона», вся его бурная идейная эволюція, можетъ быть объяснена той непрерывной внутренней борьбой, которой онъ не переставалъ кипѣть всю свою жизнь, отстаивая свое право на самоопредѣленіе среди скрестившихся надъ нимъ теченій, пусть даже прогрессивныхъ теченій, но все же старой, все же чуждой ему дворянской культуры. Во всякомъ случаѣ Бѣлинскій могъ только прозрѣвать крушеніе этой культуры, но объявить ей войну, ополчиться на нее, противопоставить ей совершенно новый строй идей и чувствъ, онъ былъ не въ силахъ, — для этого русская жизнь еще не давала достаточныхъ матеріаловъ. Заканчивая вторую статью объ «Евгеніи Онѣгинѣ», онъ долженъ былъ резюмировать сдѣланный имъ анализъ этой поэмы въ самыхъ мирныхъ тонахъ: «Пусть идетъ время и приводитъ съ собой новыя потребности, новыя идеи, пусть растетъ русское общество и обгоняетъ «Онѣгина»: какъ бы далеко оно ни ушло, но всегда будетъ оно любить эту поэму, всегда будетъ останавливать на ней исполненный любви и благодарности взоръ...»

Но если Бѣлинскій былъ пророкомъ и провозвѣстникомъ новаго, грядущаго на смѣну дворянства класса, то Добролюбовъ былъ его борцомъ. Какъ словесникъ, прошедшій въ институтѣ хорошую историческую школу, онъ добросовѣстно отдавалъ дань историческимъ заслугамъ Пушкина передъ русской литературой. Славенъ и великъ Пушкинъ *въ прошломъ,* но въ настоящемъ не Пушкинъ владѣетъ сердцемъ Добролюбова. Пушкинъ — не его поэтъ, и пушкинскому «паѳосу помѣщичьяго принципа» Добролюбовъ, со всею страстностью неофита, противопоставилъ свой паѳосъ, — паѳосъ разночинскаго принципа, принципа средняго класса. Съ первыхъ же строкъ своей статьи онъ подчеркиваетъ дворянское происхожденіе и воспитаніе Пушкина, и въ этой біографической части статьи ясно слышатся тѣ обличительныя ноты, которыя впослѣдствіи лягутъ въ основаніе его извѣстнаго памфлета противъ «обломовщины». Съ такою же страстностью «чистому искусству», «безцѣльному направленію исключительной художественности», блестяще выполнившему свою необходимую историческую миссію, Добролюбовъ противопоставляетъ здѣсь искусство «новаго поколѣнія», искусство, которое съ прекрасной, выкованной Пушкинымъ формой соединитъ значительное, соотвѣтствующее запросамъ и потребностямъ новаго времени содержаніе.

Рядомъ со статьей о Пушкинѣ мы помѣщаемъ и рецензію на VII томъ Пушкина. Это отступленіе отъ принятаго нами хронологическаго порядка въ размѣщеніи сочиненій Добролюбова вызывается чисто практическими соображеніями выгоды для читателя имѣть подъ рукой вмѣстѣ обѣ пушкинскія статьи критика.

Съ фактической стороны пушкинскія статьи Добролюбова, особенно первая, въ ея первой же, біографической части, грѣшатъ нѣкоторыми неточностями, а иногда и ошибками, въ которыхъ, однако, винить его нельзя. Серьезное изученіе Пушкина началось у насъ только съ 80-хъ годовъ прошлаго столѣтія, и лишь съ этого времени пушкинская литература стала обогащаться новыми и цѣнными данными, которыя были неизвѣстны Добролюбову. Современный читатель, конечно, и обратится при изученіи Пушкина къ позднѣйшимъ изслѣдованіямъ. И такъ какъ цѣнность пушкинскихъ статей Добролюбова не въ фактахъ, а, повторяя выраженіе Бѣлинскаго, въ «паѳосѣ» ихъ, то, не останавливаясь подробно на всѣхъ фактическихъ недочетахъ этихъ статей, мы ограничимся здѣсь лишь самыми необходимыми замѣчаніями.

Повторяя ошибку Бѣлинскаго, Добролюбовъ упрекаетъ Пушкина въ томъ, что будто бы въ «Борисѣ Годуновѣ» онъ «суевѣрно слѣдовалъ Карамзину». Это невѣрно. Новыми изслѣдованіями (см. Жданова «О драмѣ Пушкина Борисъ Годуновъ») установлено, что матеріалами для «Бориса Годунова» поэту служили первоисточники. Добролюбову, повидимому, не извѣстно также, что «Борисъ Годуновъ» написанъ Пушкинымъ въ 1825 г.

Ошибочнымъ надо признать и отношеніе Добролюбова (точно также вслѣдъ за Бѣлинскимъ) къ стихотворенію Пушкина «Чернь». Поэтъ не даетъ никакихъ основаній предполагать, что *чернь* означаетъ здѣсь народную массу, а такое именно толкованіе и допускаетъ Добролюбовъ.

Цитируемыя Добролюбовымъ въ рецензіи «Посланія къ Аристарху» названы были такъ издате-

лемъ (Анненковымъ) по цензурнымъ соображеніямъ. Поэтомъ оба эти стихотворенія названы «Посланіями цензору». Сдѣланные въ нихъ цензурные пропуски, о которыхъ сокрушается Добролюбовъ, въ настоящее время возстановлены. Критикъ относитъ эти посланія къ 1827 г., тогда какъ на самомъ дѣлѣ первое изъ нихъ написано въ 1822 г., а второе — въ 1824 г.

Если въ своихъ пушкинскихъ статьяхъ Добролюбовъ пошелъ по дорогѣ, проложенной до него Бѣлинскимъ, то это отнюдь не значитъ, что онъ слѣпо подчинялся авторитету послѣдняго и во всѣхъ своихъ оцѣнкахъ сообразовался съ высказанными Бѣлинскимъ сужденіями. Совсѣмъ нѣтъ. Въ пушкинской рецензіи, написанной въ 1858 г., онъ шелъ за Бѣлинскимъ, потому что по данному вопросу былъ съ нимъ согласенъ. Но нѣсколькими мѣсяцами раньше, въ 1857 г., высказываясь по поводу сочиненій гр. Соллогуба и А. Полежаева, Добролюбовъ успѣлъ уже выступить противъ Бѣлинскаго, потому что разошелся съ нимъ въ сужденіяхъ. Рецензіи Добролюбова на двѣ названныя книги даютъ безспорное указаніе на полную самостоятельность и независимость критика.

Гр. В. А. Соллогубъ (1814—1882), второстепенный и нынѣ совершенно забытый писатель, въ 40-е годы прошлаго столѣтія занялъ въ литературѣ неподобающее ему высокое мѣсто. Бѣлинскій слишкомъ переоцѣнилъ этого поверхностнаго писателя, поставивъ его на первомъ, послѣ Гоголя, мѣстѣ въ современной ему литературѣ. Бѣлинскій увидѣлъ въ восхитившемъ его «Тарантасѣ» сатиру на славянофильство и съ этой точки зрѣнія отыскалъ въ произведеніи гр. Соллогуба достоинства,

которыми тамъ и не пахло. Добролюбовъ съ полною убѣдительностью разоблачилъ эту ошибку Бѣлинскаго, не называя его, и, подвергнувъ тщательному анализу со стороны формы и содержанія цѣлый рядъ произведеній гр. Соллогуба, окончательно выяснилъ и похоронилъ его своей статьей.

Въ рецензіи на стихотворенія А. П. Полежаева (1805—1838), изданныя въ 1857 г. вмѣстѣ со статьею Бѣлинскаго объ этомъ поэтѣ, Добролюбовъ въ общемъ, хотя и съ нѣкоторыми оговорками, принимаетъ и подтверждаетъ сдѣланную его предшественникомъ эстетическую оцѣнку. Бѣлинскій именно характеризовалъ «паѳосъ» поэзіи Полежаева двумя чертами — сладострастія и отчаянія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Добролюбовъ рѣшительно протестуетъ противъ замѣчанія Бѣлинскаго, что «Полежаевъ не былъ жертвою и, кромѣ самого себя, никого не имѣлъ права обвинять въ своей гибели». Нѣтъ, «именно себя-то онъ и не могъ обвинять», — возражаетъ Добролюбовъ и говоритъ о Полежаевѣ какъ о жертвѣ «судьбы, странно враждебной всѣмъ лучшимъ поэтамъ нашимъ». Въ этомъ спорѣ Добролюбова съ Бѣлинскимъ исторія литературы всецѣло на сторонѣ Добролюбова. И современный читатель знаетъ, конечно, что разумѣлъ критикъ подъ этой «судьбой». Это былъ жестокій и лицемѣрный николаевскій режимъ, за юношескую шалость осудившій поэта на медленную смерть подъ «красной шапкой».

Рецензію Добролюбова на книгу Е. П. Ростопчиной, рожд. Сушковой (1811—1858) можно назвать послѣдней и окончательной оцѣнкой этой писательницы, въ молодости подававшей неоправданныя впослѣдствіи надежды. Первыя ея поэтическія вы-

ступленія поддержаны были лестными отзывами Жуковскаго, Пушкина, Лермонтова. Бѣлинскій нѣсколько разъ съ большимъ одобреніемъ отзывался о ея стихахъ и прозѣ, признавая ея «высокій талантъ» и «поэтическую прелесть» ея стиховъ. Впрочемъ, и онъ уже отмѣчалъ пустоту содержанія ея музы, посвятившей себя исключительно «служенію богу салоновъ». Добролюбовъ пошелъ въ этомъ направленіи дальше. Въ своей остроумной рецензіи онъ характеризуетъ гр. Растопчину какъ пустую и безсодержательную салонную писательницу, которая, однако, своей легкомысленной болтовнѣ даетъ очень опредѣленную реакціонную окраску.

Возвращаясь еще разъ къ статьямъ и рецензіямъ Добролюбова, составляющимъ уже разсмотрѣнную нами часть I тома его сочиненій, нельзя не замѣтить, что въ нихъ Добролюбовъ все время остается связаннымъ со взглядами и оцѣнками своего знаменитаго предшественника. Принимаетъ ли и утверждаетъ ли онъ эти оцѣнки или, напротивъ, оспариваетъ ихъ, противополагая имъ свои, онъ неизбѣжно, такъ или иначе, считается съ Бѣлинскимъ, потому что обо всѣхъ этихъ литературныхъ явленіяхъ Бѣлинскій успѣлъ высказать свое авторитетное сужденіе.

Но вотъ передъ нами совершенно новый литературный фактъ, — «Губернскіе очерки» Щедрина. Въ оцѣнкѣ этого факта Добролюбовъ не стѣсненъ никакими вліяніями, и, независимый, свободный, онъ пишетъ статью, которая можетъ быть признана первой критической статьей подлиннаго добролюбовскаго типа. По своему строенію она служитъ прообразомъ тѣхъ лучшихъ его статей, въ которыхъ работа критика является какъ бы продолже-

ніемъ творческой работы художника, открывая читателю новую, по выраженію проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, «перспективу мысли, какую произведеніе художника само по себѣ не открываетъ».

Правда, въ самомъ «Современникѣ» статья Добролюбова о Щедринѣ, напечатанная въ 12-й книгѣ за 1857 г., была предупреждена въ 6-й книгѣ журнала статьей Чернышевскаго [1]. Но статья эта написана по поводу первыхъ двухъ томовъ «Губернскихъ очерковъ», которыхъ не касается Добролюбовъ, построена по иному плану, ставитъ себѣ иныя задачи и повліять на независимость сужденій Добролюбова ни въ какой степени не могла. Объединяетъ Чернышевскаго и Добролюбова въ данномъ случаѣ ихъ высокая оцѣнка таланта Щедрина, — оцѣнка, въ полной мѣрѣ оправданная всей дальнѣйшей дѣятельностью нашего сатирика. И нельзя не обойти здѣсь молчаніемъ, что въ этой высокой оцѣнкѣ дарованія Щедрина Чернышевскій и Добролюбовъ выступили противъ мнѣній многихъ признанныхъ цѣнителей искусства, въ томъ числѣ даже и противъ мнѣнія самого редактора «Современника» Н. А. Некрасова. Въ письмѣ къ Тургеневу 27 іюня 1857 г. Некрасовъ выражается о Щедринѣ какъ о «туповатомъ, грубомъ и страшно зазнавшемся господинѣ», и самый талантъ его считаетъ «сущимъ пуфомъ». Не менѣе рѣзко отзывается въ 1857 г. о Щедринѣ и Тургеневъ въ своихъ письмахъ. Побѣдителями въ этомъ спорѣ оказались Чернышевскій и Добролюбовъ. Некрасовъ

---

[1] Изъ писемъ Добролюбова видно, что онъ еще въ 1856 г. высоко цѣнилъ Салтыкова за его юношескую повѣсть „Запутанное Дѣло“. Онъ прочиталъ эту повѣсть въ институтѣ и былъ возмущенъ, что товарищи отнеслись къ ней равнодушно. См. „Матеріалы для біографіи“, стр. 316.

скоро понялъ и постарался исправить свою ошибку: такъ неудачно оцѣненный имъ въ 1857 г. сатирикъ дѣлается съ 1859 г. постояннымъ сотрудникомъ «Современника», а послѣ смерти Добролюбова и ареста Чернышевскаго мы видимъ Салтыкова, рядомъ съ Некрасовымъ, уже во главѣ журнала. Вслѣдъ за Некрасовымъ и Тургеневъ призналъ, что область, отмежеванная сатирикомъ въ русской словесности, имѣетъ всѣ права на самостоятельное существованіе и что въ этой области Щедринъ «неоспоримый мастеръ и первый человѣкъ».

Въ оцѣнкѣ поэтическаго творчества В. Г. Бенедиктова (1807—1873), опредѣленно и мѣтко характеризованнаго въ 1835 г. Бѣлинскимъ «поэзіей среднихъ кружковъ бюрократическаго народонаселенія Петербурга», Добролюбову не пришлось сказать *своего* слова. Хотя передъ нимъ были новыя стихотворенія Бенедиктова, въ періодъ Крымской кампаніи настроившаго свою лиру на новый, гражданскій ладъ, Добролюбову не оставалось ничего иного, какъ только констатировать, что и въ новой поэзіи Бенедиктова сохранилась все та же старая манерная вычурность. Во всякомъ случаѣ, разоблачая пустоту и ничтожество гражданской риторики Бенедиктова, Добролюбовъ далъ нѣсколько новыхъ и убѣдительныхъ аргументовъ въ пользу суроваго отзыва Бѣлинскаго объ этомъ неудавшемся поэтѣ.

Въ настоящее время Бенедиктовъ основательно и заслуженно забытъ. И хотя не такъ давно еще одинъ изъ современныхъ намъ поэтовъ новой школы — Ѳедоръ Сологубъ — пытался воскресить его, указывая на связь «прорифмованной насквозь» поэзіи Бенедиктова съ поэзіей одного изъ выдаю-

щихся представителей нашего модернизма (Бальмонта?), — попытка эта не встрѣтила въ литературѣ ни сочувствія, ни поддержки.

Статья Добролюбова «О степени участія народности въ развитіи русской литературы» имѣетъ видъ подробной рецензіи на книгу А. П. Милюкова (1817—1887) «Очерки исторіи русской поэзіи». Но значеніе статьи вовсе не въ оцѣнкѣ этой историко-литературной работы. Написанная подъ сильнымъ вліяніемъ Бѣлинскаго, книга Милюкова пользовалась хорошимъ успѣхомъ среди читателей и въ короткое сравнительно время выдержала три изданія (третье — въ 1864 г.). Добролюбовъ признаетъ книгу въ общемъ удовлетворительной: она «умнѣе, справедливѣе и добросовѣстнѣе прежнихъ исторій литературы». Но, оспаривая отдѣльныя утвержденія автора, онъ пользуется случаемъ, чтобы раскрыть собственные основные взгляды на русскую литературу, ея развитіе и значеніе. Два положенія особенно выдвигаетъ здѣсь Добролюбовъ и, желая быть понятымъ, нѣсколько разъ возвращается къ нимъ, поясняетъ и иллюстрируетъ ихъ. Исходя изъ фейербаховскаго отношенія къ искусству, какъ блѣдному отображенію жизни, Добролюбовъ утверждаетъ, что искусство вообще слагается *по* жизни, а не жизнь зависитъ отъ поэзіи. Однако, напрасно нападали и нападаютъ на Добролюбова идеалисты разныхъ толковъ за то, что будто бы онъ этой статьей окончательно принижаетъ роль и значеніе искусства до степени простого отмѣтчика жизненныхъ явленій. Во-первыхъ, это утвержденіе критика само по себѣ не даетъ еще матеріала для подобнаго истолкованія. А во-вторыхъ, Добролюбовъ не былъ бы «просвѣтителемъ», если бы не ввелъ самъ въ это

утвержденіе ограничивающихъ его смягченій. Въ другомъ мѣстѣ онъ прямо говоритъ, что «при извѣстной степени развитія народа литература становится одною изъ силъ, движущихъ общество» («Литературныя мелочи»). Но и въ данной статьѣ это утвержденіе, распространенное комментаріями, является собственно прелюдіей къ другому утвержденію, — къ утвержденію классоваго дворянскаго характера всей нашей дореформенной литературы. Въ предвидѣніи новой грядущей эры, которая должна наступить въ русской жизни вмѣстѣ съ чаемымъ освобожденіемъ крестьянъ, Добролюбовъ ставитъ литературѣ новую задачу — «служить выраженіемъ народной жизни, народныхъ стремленій». А между тѣмъ до сихъ поръ русская литература была литературой для немногихъ. Даже лучшіе наши писатели не могутъ похвалиться названіемъ *народныхъ*: «народу, къ сожалѣнію, вовсе нѣтъ дѣла до художественности Пушкина, до плѣнительной сладости стиховъ Жуковскаго, до высоты пареній Державина и т. д. Скажемъ больше, даже юморъ Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа». Истинно-народный поэтъ долженъ стать вровень съ народомъ, прожить его жизнью, проникнуться его духомъ. Что поступившій такъ будетъ вознагражденъ сторицею, — порукой въ этомъ для Добролюбова служитъ русская народная поэзія: «въ ней заключается много доказательствъ того, что въ народѣ нашемъ издревле хранилось много силъ для дѣятельности обширной и полезной, много было задатковъ самобытнаго живого развитія».

Въ статьѣ Добролюбова «О степени участія народности въ развитіи русской литературы» впервые

отчетливо сказалась его народническая тенденція, раньше лишь общими контурами намѣтившаяся въ статьѣ о «Губернскихъ очеркахъ».

Вл. Кранихфельдъ.

1855—1856.



О русскомъ историческомъ романѣ [1].

Въ концѣ прошедшаго столѣтія Карамзинъ, говоря о русской литературѣ, замѣтилъ, что *публика наша всего охотнѣе читаетъ романы* и повѣсти. Спустя 30 лѣтъ Пушкинъ съ удивленіемъ говоритъ, что «публика все еще сидитъ за романами и повѣстями: понравились!». Прошло 20 лѣтъ. Послѣ Пушкина, — и до сихъ поръ въ нашемъ обществѣ замѣчается то же явленіе. Беллетристика поглощаетъ собою всю остальную литературу; журналы, въ которыхъ сосредоточивается теперь наша лите-

---

[1] Въ рукописи статья не имѣетъ ни названія, ни даты. Однако сдѣланная въ ней ссылка на работу Пыпина, напечатанную въ № 12 „Современника“ за 1854 г., указываетъ, что Добролюбовъ написалъ ее никакъ не раньше 1855 г. Вѣроятнѣе всего, что эта статья, какъ и слѣдующая за ней („Нѣчто о дидактизмѣ въ повѣстяхъ и романахъ“), написаны Добролюбовымъ до начала его сотрудничества въ „Современникѣ“, т. е. именно въ предѣлахъ 1855 г.

Статья не кончена, но интересъ ея и значеніе опредѣляются, главнымъ образомъ, ея первой теоретической частью, гдѣ авторъ впервые выступаетъ передъ нами въ роли послѣдователя и истолкователя Фейербаха, примѣняющаго идеи этого послѣдняго къ историческимъ и современнымъ явленіямъ русской литературы. Тамъ же, гдѣ онъ переходитъ къ оцѣнкѣ отдѣльныхъ писателей — Нарѣжнаго, Булгарина, Загоскина и Лажечникова, — онъ менѣе интересенъ, потому что менѣе самостоятеленъ. Правда, усумниться въ его непосредственномъ и даже близкомъ знакомствѣ съ разсматриваемыми имъ писателями нѣтъ никакихъ основаній, но юный критикъ какъ будто не рѣшается выйти изъ рамокъ, установленныхъ его вліятельнымъ предшественникомъ, и всѣ его индивидуальныя оцѣнки почти повторяютъ сужденія, высказанныя до него Бѣлинскимъ. *Вл. Кр.*

ратура, считаютъ главнымъ своимъ отдѣломъ изящную словесность; книжка журнала безъ повѣсти или романа въ наше время такъ же невозможна, какъ, бывало, составленіе альманаха безъ стихотвореній. Какіе у насъ писатели пользуются наибольшею извѣстностью? Романисты. Какія произведенія всего болѣе переводятся съ иностранныхъ языковъ? Романы. Какія книги переходятъ изъ рукъ въ руки, читаются и перечитываются? Опять — романы и повѣсти... Но будемъ ли мы удивляться этому; будемъ ли обвинять наше общество за такое настроеніе? Не *есть ли это необходимое условіе той степени развитія, на которой стоитъ народъ?* Не заключается ли причина этого явленія въ самой сущности романа и въ отношеніи его къ современному положенію общества?

Въ самомъ дѣлѣ — всегда и у всѣхъ народовъ литература являлась отпечаткомъ народной жизни, выраженіемъ общественныхъ потребностей. *Въ первый младенческій* періодъ своей жизни, человѣчество, какъ и каждый частный народъ, и каждый отдѣльный человѣкъ, все предано обаянію окружающей его внѣшней природы. Съ дѣтскимъ любопытствомъ смотритъ тогда человѣкъ на раскрывающійся передъ нимъ Божій міръ; все его поражаетъ, все удивляетъ, во всемъ представляется что-то дивное, таинственное; въ благоговѣніи и умиленіи повергается онъ передъ непонятными для него красами и величіемъ мірозданія и населяетъ весь міръ живыми образами, порожденіями своего духа, стремящагося выразить себя въ творческой дѣятельности. И вотъ звучный *диоирамбъ, благоговѣйная молитва, восторженный гимнъ Божеству* исходитъ изъ младенческихъ устъ, представляя себѣ все чу-

десныимъ и таинственнымъ, связывая всѣ явленія природы съ высшими невѣдомыми силами; человѣкъ любитъ въ это время слушать фантастическіе разсказы, вносящіе элементъ чудеснаго во все имъ видимое, одушевляющіе для него всю природу, возводящіе всѣ частныя явленія къ невидимому, но вѣчно живому и неизмѣнному началу — Божества. И вотъ является дивная народная *эпопея*, совмѣщающая въ себѣ всѣ религіозныя вѣрованія, философскія воззрѣнія, нравственныя правила народа, весь міръ олицетворенъ, каждая рѣка, каждый лѣсъ, каждый пригорокъ — являются вмѣстилищемъ высшихъ силъ, и самые боги являются между людьми, принимаютъ участіе въ ихъ дѣйствіяхъ, помогаютъ имъ, противятся, смѣшиваются съ ними, иногда сами поражаются ихъ героями-полубогами, — и надъ всѣмъ этимъ тяжко властвуетъ непостижимое, неотразимое, грозная сила судьбы... Здѣсь видимъ мы всю жизнь, всѣ стремленія и вѣрованія *древняго* человѣчества; здѣсь ясно отразилось это чистое, младенческое міросозерцаніе перваго періода человѣческой жизни.

Въ постепенномъ ходѣ развитія является юношескій возрастъ. Много уже видѣлъ, много узналъ пылкій юноша; кипитъ въ немъ молодая кровь, рвутся наружу свѣжія силы. Обнять гордой мыслью все мірозданіе, направить могучую руку на славные подвиги, стать одному противъ цѣлаго міра, разрушить всѣ препятствія и отыскать свое счастье въ наслажденіяхъ высокой славы и вѣрной любви, — вотъ возвышенныя стремленія юношескаго возраста. И въ это время поетъ человѣкъ великіе подвиги, уже не сказочные, но все еще принадлежащіе болѣе міру фантазіи, нежели дѣйствительности; въ

это время являются пѣсни славы и любви; трубадуры и менестрели украшаютъ рыцарскіе пиры, барды и баяны сопровождаютъ героевъ въ ихъ походахъ. Странныя утопіи строитъ неопытный юноша, отъискивая свое счастье, воображая золотой вѣкъ и патріархальные, невинные нравы, — и вотъ является идиллія со всѣми своими видоизмѣненіями и очаровываетъ молодыя чувства картинами воображаемой чистоты и невинности...

Но проходитъ пылъ юношескихъ лѣтъ; настаетъ возрастъ возмужалости, возрастъ обдуманности, зрѣлаго разсужденія, опыта и смиренія бурныхъ порывовъ воображенія и чувства. Теперь уже не строитъ человѣкъ мечтательныхъ плановъ, не рвется на невозможные подвиги, не стремится охватить собою весь міръ. Нѣтъ, осторожно и зорко осматривается онъ вокругъ себя, долго думаетъ надъ своимъ рѣшеніемъ; хочетъ идти впередъ, — но не скачками, а твердой медленной поступью, мало-по-малу; стремится къ знанію, но избираетъ для себя предметы болѣе къ нему близкіе, имѣющіе прямое отношеніе къ его жизни... И вотъ на этой-то степени человѣческаго развитія и является *романъ*, какъ изображеніе жизни народа. Это не сказка, назначенная для увеселенія малютокъ; не поэма, выражающая дѣтское міросозерцаніе и наивныя вѣрованія народа, не легенда, не романсъ, воспѣвающіе дивные подвиги рыцаря и соединеніе его съ дамою его сердца, хотя элементы всѣхъ этихъ произведеній могутъ и даже отчасти должны быть и въ романѣ. Нѣтъ, это жизнь, это дѣйствительность, подмѣченная наблюдательнымъ глазомъ, брошенная на полотно искусною рукой и вставленная въ болѣе или менѣе широкую рамку. Это —

исторія быта и частныхъ отношеній народа и общества, прожившаго свои юношескіе годы, испытавшаго жизненныя разочарованія, обращающагося къ мирной думѣ семейной и довольствующагося воспоминаніями своихъ прежнихъ мечтаній... Оттого-то романъ и имѣетъ въ виду почти всегда семейныя отношенія, и если изображаетъ очарованія дѣтства и волненія юности, то только для того, чтобы привести ихъ къ желанной развязкѣ — водвореніемъ семейнаго счастья. Оттого-то и развился романъ преимущественно подъ вліяніемъ христіанства, сообщившаго намъ столь высокій и свѣтлый взглядъ на взаимныя отношенія къ женщинѣ и мужчинѣ.

Таково происхожденіе и значеніе романа. Онъ составляетъ переходъ отъ міра идеальнаго къ дѣйствительному, отъ поэзіи къ исторіи. Это — полная картина жизни въ ея дѣятельномъ развитіи, строго подчиненная всѣмъ вещественнымъ условіямъ истины, и вмѣстѣ — свободная въ выборѣ занимательнѣйшихъ точекъ зрѣнія. Въ романѣ видимъ мы человѣка такимъ, каковъ онъ есть, со всѣми условіями необходимости дѣйствительнаго міра и со всѣми прелестями міра фантазіи. И въ томъ-то и состоитъ искусство романиста, чтобы владѣть нашимъ воображеніемъ, привязать его къ изображаемымъ событіямъ и личностямъ, внушить намъ полное участіе къ представляемымъ имъ характерамъ, заставить насъ поставить себя мысленно на ихъ мѣсто, увлекаться ихъ стремленіями, думать ихъ умомъ, чувствовать ихъ сердцемъ. Чѣмъ полнѣе это очарованіе, чѣмъ совершеннѣе наше увлеченіе, тѣмъ лучше авторъ достигъ своей цѣли, тѣмъ болѣе вниманія и похвалы заслуживаетъ его произведеніе.

Ясно, что для достиженія этого нужно соблюденіе нѣкоторыхъ особенныхъ условій. Нужно, чтобы романъ имѣлъ въ основаніи своемъ какую-нибудь идею, изъ которой бы развивалось все его дѣйствіе и къ осуществленію которой оно все должно быть направлено; нужно, чтобы это развитіе дѣйствія совершенно свободно и естественно вытекало изъ одной главной идеи, не раздвояя интереса романа представленіемъ нѣсколькихъ разнородныхъ пружинъ; нужно, чтобы въ описаніи всѣхъ предметовъ и событій романа авторъ художественно воспроизводилъ дѣйствительность, не рабски копируя ее, но и не позволяя себѣ отдаляться отъ живой истины; нужно, наконецъ, чтобы романическіе характеры не только были вѣрны дѣйствительности, но — вѣрны самимъ себѣ, чтобы они постоянно являлись съ своими характеристическими чертами, отличающими одно лицо отъ другого, словомъ — чтобы съ начала до конца — они были бы выдержаны.

Вотъ что нужно для полнаго успѣха всякаго романа. Съ поэтическимъ воображеніемъ авторъ его долженъ соединять философское мышленіе и психологическую наблюдательность. Не говоримъ уже о достоинствахъ изложенія, которое должно быть не только правильно, легко, но и изящно.

Но еще болѣе важныя и трудныя условія необходимы для хорошаго романа *историческаго*. По самому существу своему этотъ видъ романа представляетъ высшую степень, нежели другіе его виды. Историческій романъ является въ то время, когда народное сознаніе обращается къ воспоминанію прошедшей своей жизни, — подъ вліяніемъ того же направленія, при которомъ развиваются и сами

историческія изслѣдованія. Цѣль этого рода романа — оживить мертвую букву лѣтописнаго сказанія, вдохнуть живую душу въ мертвый скелетъ подобранныхъ фактовъ, освѣтить лучомъ поэтическаго разумѣнія исторически-темную эпоху, представить частную внутреннюю жизнь общества, о которомъ исторія разсказываетъ намъ только внѣшнія событія и отношенія. Отсюда уже ясно, какія новыя и важныя условія налагаетъ романъ историческій на своего автора. Здѣсь матеріалъ не находится въ его полномъ распоряженіи, онъ не можетъ по произволу изобрѣтать и вводить сюда все, что можетъ служить для лучшаго выраженія и представленія взятой имъ идеи. Здѣсь условія истинности не ограничиваются простыми законами вѣроятности: авторъ долженъ быть вѣренъ не только тому, что можетъ быть или бываетъ, но — тому, что дѣйствительно было, и было такимъ, а не другимъ образомъ. Съ другой стороны, онъ не долженъ разсказывать намъ, что нашелъ въ историческихъ сказаніяхъ, иначе это будетъ не романъ, не произведеніе поэзіи, а прозаическая исторія. Соединить эти два требованія — внести въ исторію свой вымыселъ, но вымыселъ этотъ основать на исторіи, вывести его изъ самаго естественнаго хода событій, неразрывно связать его со всей нитью историческаго разсказа и все это представить такъ, чтобы читатель видѣлъ передъ собою, какъ живыя, личности, знакомыя ему въ исторіи и изображенныя здѣсь въ очарованіи поэзіи, — со стороны ихъ частнаго быта и внутреннихъ, сокровенныхъ думъ и стремленій, — вотъ задача историческаго романиста. При этомъ нужно еще, чтобы эпоха, изъ которой взятъ романъ, представлена была совер-

шенно вѣрно, чтобы угаданъ былъ самый духъ событій, чтобы авторъ судилъ своихъ героевъ не по понятіямъ своего вѣка, а по ихъ времени, чтобы онъ смотрѣлъ ихъ глазами, жилъ ихъ жизнью, разсуждалъ сообразно съ ихъ умственнымъ развитіемъ и чтобы на ту же точку зрѣнія умѣлъ поставить и своихъ читателей.

Всѣ эти немаловажныя трудности сочиненія историческаго романа увеличиваются еще болѣе въ приложеніи къ русской жизни, къ русской исторіи. Здѣсь романистъ встрѣчаетъ эпохи, большею частью неразработанныя, о которыхъ нѣтъ историческихъ свѣдѣній или есть только записи внѣшнихъ фактовъ съ самыми ничтожными замѣтками о внутренней жизни народа. Имѣя лѣтописи, которыхъ раннимъ появленіемъ, добросовѣстностью и основательностью, въ отношеніи къ внѣшнимъ фактамъ, имѣемъ право гордиться передъ другими народами, мы однакоже не имѣемъ ничего, что бы объяснило намъ самый внутренній смыслъ всѣхъ явленій нашей исторіи, освѣтило бы всѣ наши недоразумѣнія касательно ихъ связи, причинъ и характеровъ [1]. Недавно только ученые принялись за изслѣдованіе всѣхъ этихъ вопросовъ, и для рѣшенія ихъ они должны часто схватывать отдѣльную мысль, нечаянно брошенное слово, основываться на какомъ-нибудь сходствѣ названій, слѣдить духъ всего сказанія, дѣлать выводы изъ того, что такъ безстрастно и безсистемно записалъ лѣтописецъ, отдаленный отъ всѣхъ волненій міра и не поражающійся ничѣмъ въ тиши своего монастырскаго уеди-

---

[1] По этой части мы можемъ указать только на соч. Кошихина Россія въ царствованіе Алексѣя Михаиловича" и на соч. крестьянина Посошкова.

нenія. Конечно, при этихъ условіяхъ трудно ожидать полнаго успѣха, и много историческихъ знаній и умѣнья нужно имѣть автору, чтобы представить въ своемъ произведеніи не блѣдный очеркъ, но полную картину древней Руси.

Другое обстоятельство, представляющее также немаловажныя трудности для русскаго историческаго романа, есть то, что русская жизнь развивалась подъ вліяніемъ слишкомъ разнородныхъ элементовъ и, усваивая себѣ нѣчто изъ каждаго, представляетъ намъ какую-то смѣсь, въ которой очень трудно отдѣлить собственныя національныя черты отъ чужихъ, заимствованныхъ, и эти послѣднія трудно разграничить между собою. Немного свѣдѣній представляетъ намъ исторія о родоначальникахъ нашихъ, славянахъ, но изъ простого разсказа Нестора видимъ мы разнообразіе нравовъ и обычаевъ у разныхъ племенъ одного рода — славянскаго. Дикіе, безстыдные древляне, кроткіе поляне, музыкальные обитатели странъ прибалтійскихъ, своевольные необузданные жители прибрежій Дуная — всѣ они оставили, конечно, слѣды въ дальнѣйшей исторіи и жизни народа русскаго. Просвѣщенныя племена германцевъ и итальянцевъ, а съ другой стороны свирѣпые печенѣги и половцы также, навѣрно, не остались безъ вліянія на древнюю Русь. Отважные, удалые норманны, которыхъ стихіями были войны, грабежъ, презрѣніе къ опасности, мечъ и пламя — внесли новый элементъ въ наше отечество; элементъ этотъ тѣмъ сильнѣе долженъ былъ подѣйствовать, что норманны стали у насъ во главѣ государственнаго управленія и передъ ними должно было пасть родовое начало, господствовавшее до тѣхъ поръ у славянъ. Исторія

первыхъ князей варяжскаго племени, дѣйствительно, показываетъ, какъ быстро и сильно норманнская стихія возобладала надъ жизнью славянскою. И, вѣроятно, она еще глубже вкоренилась бы въ нашемъ народѣ, если бы не явилось противодѣйствія ей со стороны другого вліянія—греко-христіанскаго. Византія передала намъ при Владимірѣ святую вѣру, проникшую собою всѣ стихіи народной жизни и возвысившуюся надъ ними своею божественною силою. Вмѣстѣ съ тѣмъ Греція дѣйствовала на насъ со стороны своихъ нравовъ и государственнаго устройства. Конечно, греки того времени мало уже походили на своихъ великихъ предковъ, народъ, составляющій навсегда честь и украшеніе человѣчества; вмѣсто древнихъ добродѣтелей усиливались между ними — продажность, хитрость, вѣроломство, пренебреженіе общественнаго блага, роскошь, мелочное тщеславіе. Многія изъ этихъ свойствъ, замѣчаемыя и въ русскомъ народѣ, объясняются, можетъ быть, византійскимъ вліяніемъ. Черезъ два вѣка тяжкія обстоятельства подчинили Русь новому и весьма пагубному вліянію дикихъ ордъ монгольскихъ. Города и села лежали въ пеплѣ, жители ни на одинъ часъ не могли быть увѣренными въ прочности и безопасности всего, чѣмъ они владѣли: каждый день могъ придти дикій татаринъ и отнять у нихъ все, разорить все, лишить ихъ и свободы и жизни. Народъ не имѣлъ ничего, на чемъ бы могъ остановиться, и вслѣдствіе этого, конечно, развилась въ насъ эта странная безпечность, это отсутствіе собственнаго національнаго характера, эта недостаточность живого патріотизма, которыя до сихъ поръ замѣтны въ народѣ нашемъ. Кромѣ того, много частныхъ пороковъ, по замѣча-

нію Карамзина, привилось къ намъ отъ татарскаго ига: привыкши къ долговременному рабству, мы потеряли чувство собственнаго достоинства, обманывая по необходимости своихъ властителей, пріучились употреблять обманъ для своихъ выгодъ и во взаимныхъ сношеніяхъ . . .

Но прошли лѣта позорнаго рабства. Мощно возстала Русь и начала входить въ болѣе и болѣе близкія сношенія съ просвѣщенными иностранными державами. Два вѣка протекло послѣ окончательнаго сверженія тяжкаго ига, и дивный образъ Преобразователя явился въ полу-европейской, полу-азіатской Московіи! . . Все измѣнилось, все приняло новый, лучшій видъ подъ его властительною рукою . . . И это внезапное, коренное измѣненіе во внутреннемъ бытѣ народа — составляетъ новое затрудненіе для того, кто хочетъ взять предметомъ романа жизнь до-петровской Руси. Мы такъ далеко отодвинулись отъ этой жизни (говоря объ образованномъ классѣ общества), столько испытали чуждыхъ вліяній послѣ того, столько пріобрѣли новыхъ знаній, такъ расширили свой кругъ зрѣнія, что намъ странно и неловко всматриваться въ старинные нравы, столь отличные отъ нашихъ, сочувствовать стремленіямъ, для насъ совершенно чуждымъ, принимать сужденія и взгляды на жизнь, намъ рѣшительно непонятные . . . Много долженъ авторъ имѣть поэтическаго чутья и историческаго такта, много разностороннихъ и основательныхъ знаній, много искусства въ изложеніи, — чтобы внушить намъ полное участіе къ этимъ чуждымъ для насъ нравамъ, чтобы увлечь изображеніемъ этого быта, отъ насъ отдаленнаго, этихъ страстей, для насъ непонятныхъ . . .

Удивительно ли послѣ этого, что съ такимъ ничтожнымъ успѣхомъ до сихъ поръ было у насъ воздѣлываемо это неблагодарное поле!..

Говоря вообще — романъ и повѣсть всегда привлекали къ себѣ вниманіе и составляли любимое чтеніе русскихъ людей. Послѣднія изслѣдованія[1] показали намъ, что и въ старинные годы, рядомъ съ благочестивыми поученіями и житіями святыхъ, списывались у насъ и ходили по рукамъ романическія сказанія — и объ индійскихъ царяхъ и о походахъ Александра Македонскаго и рыцарскихъ подвигахъ среднихъ вѣковъ. Въ послѣдней половинѣ прошедшаго столѣтія особенно развился вкусъ къ произведеніямъ этого рода, и огромная масса переводныхъ романовъ, выдерживавшихъ по нѣскольку изданій, свидѣтельствуютъ о томъ, съ какимъ усердіемъ публика русская читала ихъ. Чувствительные и дидактическіе романы m-me Жанлисъ и Дюкре-Дюмениля, слезныя и дидактическія повѣствованія Августа Лафонтена и Коцебу, страшныя приключенія съ подземельями, убійствами и привидѣніями, описываемыя знаменитою Анною Радклифъ, — все это поглощало и общее вниманіе, приковывало къ себѣ исключительный интересъ всѣхъ читающихъ классовъ общества... Но во всемъ этомъ была только внѣшняя занимательность, только забава для празднаго воображенія, увлекавшагося вслѣдъ этихъ неестественно связанныхъ, но поразительныхъ по самой своей чрезвычайности приключеній. Вѣрнаго изображенія жизни, естественнаго развитія страстей и характеровъ, правильнаго представленія духа народнаго и

[1] Пыпина — статья о старинныхъ романахъ въ № 12 „Совр." 1851 г.

отраженія духа времени — тутъ не было, — да объ этомъ въ то время никто и не заботился. Преобразователемъ романа и высшимъ образцомъ его явился, съ начала нынѣшняго столѣтія, въ Англіи, Вальтеръ Скоттъ. Въ 1820-хъ годахъ онъ увлекъ всѣхъ своимъ примѣромъ и возвелъ историческій романъ на ту высокую степень достоинства, которая вполнѣ признана за нимъ современною критикой... Въ это время и у насъ стали появляться переводы его романовъ, и, конечно, они болѣе или менѣе дѣйствовали на измѣненіе вкуса публики. Скоро явился у насъ и свой собственный народный романъ...

Честь созданія русскаго романа принадлежитъ Нарѣжному. Онъ уже думалъ о новомъ направленіи въ этомъ родѣ поэзіи прежде, чѣмъ еще дошелъ до насъ слухъ о знаменитомъ шотландскомъ бардѣ. Нарѣжный видѣлъ общее пристрастіе къ чтенію романа, видѣлъ, что оно совершенно естественно и необходимо вытекаетъ изъ настоящаго порядка вещей, и рѣшился обратить на пользу это обстоятельство, рѣшился дать роману такое направленіе и содержаніе, чтобы чтеніе его не было пустою забавою или празднымъ препровожденіемъ времени, а имѣло другое, гораздо болѣе дѣльное и важное значеніе. Онъ обратился къ народному источнику и сталъ изображать жизнь не въ идиллическомъ и сказочномъ ея интересѣ, но такъ, какъ она есть, съ ея дѣйствительными радостями и горестями, со всѣмъ, что есть въ ней высокаго, пошлаго и смѣшного...

Уроженецъ Малороссіи, онъ обратилъ особенное вниманіе на сыновъ ея, наблюдалъ ихъ нравы, изображалъ частную жизнь и мелкіе домашніе интересы ихъ, разоблачалъ тайныя разнообразныя

пружины дѣйствій человѣческихъ, и все это выполнялъ съ поразительной истиной и простотой, какой ни у кого до него не было замѣтно . . . Его «Бурсакъ» и «Два Ивана» до сихъ поръ не потеряли цѣны своей, и послѣднее произведеніе даже съ честью выходитъ изъ сравненія съ повѣстью Гоголя («Ссора Ивана Ивановича съ ИваномъНикифоровичемъ»), имѣющею тотъ же сюжетъ. Романы Нарѣжнаго до сихъ поръ не были у насъ оцѣнены по достоинству. Встрѣтивши съ самаго начала холодный пріемъ въ публикѣ, они были забыты потомъ, заслоненные грудой романовъ, болѣе удовлетворявшихъ вкусу общества, хотя и стоящихъ гораздо ниже по своему художественному достоинству. Но во всякомъ случаѣ произведенія Нарѣжнаго принадлежатъ къ числу немногихъ отрадныхъ явленій, назначенныхъ украшать собою исторію русской литературы. Онъ опередилъ свой вѣкъ въ истинномъ пониманіи значенія романовъ, онъ предупредилъ Гоголя со своею новѣйшею натуральною школою — въ простомъ, безыскуственномъ изображеніи природы и русскаго быта.

По слѣдамъ Нарѣжнаго пошли и другіе писатели. Въ 1829 г. явился «Иванъ Выжигинъ» г. Булгарина, — романъ, который почему-то считаютъ многіе первымъ собственно русскимъ романомъ. Онъ имѣлъ громадный успѣхъ. Вскорѣ послѣ него г. Булгаринъ издалъ «Димитрія Самозванца», «Петра Выжигина», «Мазепу» и еще нѣсколько романовъ, но успѣхъ каждаго послѣдующаго произведенія былъ менѣе предыдущаго . . . Въ романахъ этого писателя замѣтна наблюдательность, умѣнье составить нѣсколько недурныхъ очерковъ, но въ цѣломъ они далеко не удовлетворяютъ современнымъ

требованіямъ вкуса и критики. О немъ можно привести слова Марлинскаго (въ статьѣ о романѣ «Клятва при гробѣ Господнемъ»): «Не Русь, а газетную Россію изобразилъ онъ намъ. Мастеръ въ живописи подробностей, естественный въ Теньеровскихъ сценахъ, онъ натянутъ тамъ, гдѣ дѣло идетъ на чувства, на сильныя вспышки страстей . . . Русскихъ у него едва видно, и то они теряются въ возгласахъ или падаютъ въ каррикатуру».

Непосредственно за г. Булгаринымъ явился Загоскинъ съ своими романами «Юрій Милославскій, «Рославлевъ», «Аскольдова могила» и др. Онъ показалъ болѣе искусства въ представленіи характеровъ, болѣе умѣнія придать занимательность своимъ лицамъ и возбудить къ нимъ участіе, болѣе искусства въ драматическихъ сценахъ, весьма часто встрѣчающихся въ его романахъ. Но его историческіе романы страждутъ анахронизмами; въ нихъ также нѣтъ общности, нѣтъ идеи, воодушевляющей все сочиненіе и проведенной во всѣхъ частяхъ ея: это рядъ отдѣльныхъ очерковъ, но это не картина народной жизни, не стройное поэтическое цѣлое, возстановляющее передъ нами цѣлую минувшую эпоху. Самый выборъ предметовъ обнаруживаетъ уже, какъ въ г. Булгаринѣ, такъ и въ Загоскинѣ отсутствіе правильнаго взгляда на истинное достоинство романа, который именно долженъ представить намъ частные интересы домашней жизни и для котораго поэтому гораздо лучше годятся времена междоусобій и внутреннихъ волненій.

Эту истину хорошо понялъ и воспользовался ею г. Лажечниковъ. Онъ представилъ намъ въ «Послѣднемъ Новикѣ» картину завоеванія русскими Лифляндіи и обвилъ пружину дѣйствія вокругъ та-

инственной личности Новика-шпіона, вовлеченнаго въ преступленіе противъ Великаго Петра, спасшагося отъ казни и поклявшагося посвятить жизнь свою на служеніе родинѣ и для полученія прощенія отъ царя... Въ «Ледяномъ домѣ» изобразилъ онъ намъ борьбу русскаго барства съ тиранствомъ Бирона. Въ «Бусурманѣ» описалъ судьбу человѣка, заброшеннаго въ чужую землю и его борьбу съ противоположными съ незнакомыми для него нравами и понятіями... Оттого интересъ романовъ Лажечникова достигаетъ высшей степени, увеличиваемый необычайнымъ искусствомъ его изложенія и поразительною вѣрностью характеровъ, но, къ сожалѣнію, полному очарованію здѣсь вредитъ иногда двойственность интриги и слишкомъ вольное вторженіе вымысла въ область исторіи.

Можно бы теперь еще упомянуть о Марлинскомъ, какъ одномъ изъ предшественниковъ Полевого. Но онъ самъ, говоря о Полевомъ, замѣчаетъ, между прочимъ о себѣ, что «историческія повѣсти Марлинскаго, въ которыхъ онъ, сбросивъ путы книжнаго языка, заговорилъ живымъ русскимъ нарѣчіемъ, служили только дверью въ хоромы полнаго романа».

Нѣчто о дидактизмѣ въ повѣстяхъ и романахъ.

Извѣстенъ анекдотъ о живописцѣ, который непремѣнно хотѣлъ нарисовать льва, но вмѣсто того все выводилъ собаку, и наконецъ, въ отчаяніи отъ неудачныхъ усилій, рѣшился поправить дѣло, подписавши подъ своей собакой: это не собака, а левъ. Недавно одинъ изъ нашихъ лучшихъ беллетристовъ вздумалъ подражать этому рисователю, и сочинивши разсказъ, въ которомъ набросалъ нѣсколько прекрасныхъ картинъ природы и умнѣйшихъ мыслей о пріятностяхъ сельской жизни, приписалъ на послѣдней страницѣ: въ этомъ разсказѣ я хотѣлъ доказать слѣдующую мысль и т. д. Мы не станемъ разбирать его мысли, но самый пріемъ этотъ привелъ насъ въ несказанное изумленіе. Однакоже, приписавши это единственно капризу автора, мы успокоились. Къ удивленію нашему, черезъ мѣсяцъ, въ томъ же самомъ журналѣ, гдѣ была помѣщена повѣсть, старавшаяся доказать и пр., нашли мы произведеніе другого изъ лучшихъ нашихъ беллетристовъ, который, представивши намъ полную картину жизни одного человѣка, отъ дѣтства до заката, — въ заключеніе тоже написалъ двѣ краснорѣчивыхъ страницы о значеніи характера, имъ

изображеннаго, и о томъ, откуда они берутся и какъ образуются. Въ то же время попалась намъ книжка другого журнала, гдѣ въ заключеніе одной повѣсти третій изъ лучшихъ нашихъ беллетристовъ говоритъ: такъ вотъ какъ осторожно надобно обращаться со словомъ; если бы въ моей повѣсти не было сказано того-то, то и того-то не было бы, и т. д. Въ третьемъ журналѣ въ то же время четвертый изъ лучшихъ нашихъ беллетристовъ помѣстилъ комедію, въ которой одно лицо безпощадно резонерствуетъ за автора и такимъ образомъ играетъ роль хора древней трагедіи. Это заставило насъ призадуматься. Мы заглянули въ четвертый журналъ и къ ужасу нашли въ немъ романъ, похожій скорѣе на разборъ романа, нежели на романъ, потому что въ немъ — если на одной страницѣ представлено страданіе человѣка, то на слѣдующей непремѣнно доказывается, что это авторъ хотѣлъ страданіе изобразить, что это есть именно страданіе, а не радость, и т. п. Такое повсюдное «это не собака, а левъ» — чрезвычайно смутило насъ и заставило оглянуться назадъ. Мы раскрыли прошлогодніе журналы, перечитали десятки изъ лучшихъ нашихъ беллетристовъ — и — къ безмѣрному огорченію своему нашли, что — увы! — весьма малое количество нашихъ повѣстей, разсказовъ и романовъ обошлись безъ этого моральнаго хвостика, который иногда такъ далеко заходитъ въ разсказъ, что составляетъ весь позвоночный столбъ его . . . Хотя иногда нравственный выводъ повѣсти, какъ въ баснѣ извѣстнаго нѣмца, состоитъ только въ томъ, что одинъ былъ великодушнѣе другого, а второй былъ великодушнѣе перваго, но все-таки авторъ не можетъ обойтись безъ нравоученія,

особенно если онъ одинъ изъ лучшихъ нашихъ беллетристовъ и, слѣдовательно, пріобрѣлъ уже нѣкоторое право поучать другихъ. Стараясь объяснить себѣ это явленіе, мы припоминали, между прочимъ, исторію литературныхъ мнѣній нашихъ и нашли, кажется, ключъ къ разгадкѣ. Дѣло въ томъ, что нѣкоторые умные люди пустили въ ходъ истину, что въ основаніе каждаго литературнаго произведенія должна быть положена *идея*, что оно не можетъ довольствоваться одной внѣшней занимательностью, а должно имѣть еще и внутреннее значеніе. Нѣкоторые изъ лучшихъ нашихъ беллетристовъ сейчасъ смекнули въ чемъ дѣло, и сообразили, что если до сихъ поръ творенія ихъ походили на сказки, то теперь нужно постараться приблизить ихъ къ баснямъ. А какъ въ басняхъ всегда есть нравоученіе, то и въ повѣсти не мѣшаетъ приставить его въ назиданіе читателя. Такъ это мало-по-малу и вошло въ обычай, — какъ вошло лѣтъ за 8 передъ симъ — не печатать стиховъ въ журналахъ, а теперь опять вошло въ обычай — не выпускать ни одного номера журнала безъ стиховъ . . . Почему это, — Господь одинъ вѣдаетъ . . . — Принято, да и кончено. Говорятъ, впрочемъ, въ дидактизмѣ нашихъ повѣстей и романовъ отражается серьезный взглядъ на литературу, которая должна быть проводникомъ благородныхъ идей и свѣтлыхъ воззрѣній въ общество, говорятъ, что въ этомъ обнаруживается благотворная перемѣна въ нашемъ взглядѣ на искусство, ибо, дескать, мы поняли теперь, что оно не есть праздная забава, что оно не должно только плѣнять, что цѣль его гораздо высшая — служить обществу, подвигать народъ на пути его развитія, возбуждать людей къ истинѣ. Всѣ эти мысли, если только онѣ

хорошо поняты тѣми, которые ихъ высказываютъ, доказываютъ, что высказавшіе ихъ гораздо лучше понимаютъ сущность дѣла, нежели тѣ, которые пытаются осуществить эту теорію на практикѣ... Попытаемся въ самомъ дѣлѣ посмотрѣть, дѣйствительно ли нравственныя сентенціи въ повѣсти возвышаютъ искусство и придаютъ произведенію серьезное значеніе, и можно ли смѣшивать романъ съ проповѣдью на томъ основаніи, что цѣль искусства — служеніе жизни?

Прежде всего — цѣль, съ которою пишутся всѣ подобныя объясненія и разсужденія, совсѣмъ не достигается. Впечатлѣніе не только не дѣлается отъ нихъ сильнѣе, но еще ослабѣваетъ, а часто, что всего досаднѣе для читателя, все очарованіе разсказа исчезаетъ. Кто-то уже замѣтилъ, но мы повторимъ здѣсь, что это весьма походитъ на обращеніе актера къ зрителямъ во время игры. Въ водевиляхъ такія продѣлки сходятъ съ рукъ. Но вообразите, что въ то время, какъ вы въ театрѣ растроганы чуть не до слезъ трагическою судьбою какого-нибудь актера, играющій его вдругъ обратится къ вамъ и скажетъ: это я, господа, хотѣлъ возбудить въ васъ жалость!.. Или — что произнесши нѣсколько словъ нетвердымъ, нерѣшительнымъ голосомъ, актеръ закричитъ публикѣ: не думайте, господа, чтобы я не зналъ роли; нѣтъ, это я нарочно произнесъ такъ, чтобы показать нетвердость моего рѣшенія. Эти слова именно должно было произнести такъ... На театрѣ это было бы очень смѣшно, и всякій ясно видитъ это. Отчего же въ литературѣ это не смѣшно? Условія здѣсь рѣшительно тѣ же. Принимая на себя высокую обязанность поучать насъ, — не надѣвайте же длиннополаго се-

минарскаго сюртука, не подвязывайте себѣ косы, не берите въ руки указки: въ этомъ видѣ вы будете только смѣшны, — и все ваше поученіе пропадетъ даромъ, какъ бы оно ни было справедливо и убѣдительно. Но смѣхъ, какъ бы ни былъ неумѣстенъ, все-таки еще безвреденъ. А есть въ этихъ дидактическихъ обращеніяхъ къ читателямъ и весьма вредная сторона. Они показываютъ неуваженіе къ читателю, оскорбляютъ и могутъ наконецъ сообщить литературѣ совершенно превратное направленіе. Что мы хотимъ подчеркнуть себѣ въ повѣсти? Неужели назиданіе? Неужели правильный взглядъ на жизнь и природу? Неужели какія-нибудь нравственныя теоріи? Ничего не бывало. Прежде всего мы ищемъ въ повѣсти наслажденія для чувства, и потомъ цѣнимъ ее какъ предметъ для размышленія... Повѣсть можетъ просто доставить мнѣ отдыхъ, и это уже заслуга для ея автора. Во всякомъ случаѣ, отдыхъ этотъ будетъ благороднѣе, изящнѣе и плодотворнѣе, нежели всякаго рода коммерческія и некоммерческія игры, или даже невинныя упражненія въ родѣ пересчитыванія фамилій въ адресъ-календарѣ, вырѣзываніе изъ бумаги безобразныхъ человѣчковъ, развѣшиваніе картинокъ по стѣнамъ, выписываніе своей фамиліи разными почерками на бѣломъ листѣ бумаги и т. п. Въ этомъ случаѣ, конечно, непріятно встрѣтить трактатъ вмѣсто разсказа, психологію вмѣсто самой души, правила морали вмѣсто жизни. Да я скорѣе стану фамиліи считать, нежели читать такой разсказъ: тутъ хоть припомню что-нибудь объ извѣстной мнѣ фамиліи, да, если угодно, и нравственными сентенціями сумѣю начинить свои воспоминанія.

Но для многихъ изящная литература служитъ не однимъ развлеченіемъ, а предметомъ серьезныхъ занятій. Эти люди нуждаются въ томъ, чтобы она представляла имъ другіе виды, другія лица, другую жизнь, нежели какую представляетъ имъ окружающая ихъ дѣйствительность. Здѣсь имъ все такъ надоѣло, все кажется такимъ скучнымъ и пошлымъ, все тянется такъ однообразно, все такъ поражаетъ вялостью и безцвѣтностью. Эти люди берутся за книгу какъ за лѣкарство отъ томящей ихъ скуки однообразія; они хотятъ забыться на минуту, хотятъ перенестись въ другія мѣста, въ другую жизнь, гдѣ все имъ ново, все ихъ занимаетъ, все производитъ въ нихъ ощущенія, дотолѣ имъ незнакомыя. Не смѣйтесь надъ этимъ классомъ читателей, не думайте, что имъ можно представить сказки о бабѣ Ягѣ и Еруcланѣ Лазаревичѣ. Нѣтъ, они не удовольствуются не только подобными произведеніями неопытной фантазіи народныхъ грамотеевъ, но даже и твореніями гораздо болѣе опытной и смышленности гг. Зотовыхъ, Мосальскихъ, Воскресенскихъ и др. Это — большею частью — люди съ умными и благородными стремленіями, но нисколько или весьма мало развитые, затертые въ задніе ряды окружающими ихъ тузами и parvenus, измельчавшіе средь мелкихъ интересовъ общества, въ которомъ они живутъ, опустившіеся въ грязь и тину зловреднаго болота, въ которое попали по обстоятельствамъ, задыхающіеся отъ ядовитыхъ испареній, которыми наполненъ вдыхаемый ими воздухъ. . . Этихъ людей много, очень много еще у насъ, и они вполнѣ достойны того, чтобы для нихъ въ особенности литература дѣлала все, что только можетъ . . . Для человѣка забитаго жизнью изъ ряда литератур-

ныхъ произведеній можетъ составиться свой особенный міръ, въ которомъ онъ будетъ находить и людей, сочувствующихъ ему, понимающихъ его стремленія, и людей, высоко стоящихъ надъ нимъ и простирающихъ ему руку помощи, и людей, которые еще ниже его и которымъ даже онъ можетъ показать дорогу. Здѣсь найдетъ и друзей себѣ, которыхъ тѣмъ болѣе оцѣнитъ, что они останутся неизмѣнны, а онъ самъ себѣ ихъ выберетъ по своему вкусу; найдетъ и враговъ своихъ, выведенныхъ на свѣжую воду, — и тѣмъ, можетъ быть, облегчитъ горе и досаду, накипѣвшую въ груди его... Эта жизнь, этотъ міръ, эти стремленія, имъ невѣданные, но знакомые, родные ему по смутнымъ предчувствіямъ, заронившимся въ душу еще въ блаженные годы простодушнаго дѣтства, этотъ міръ, обрисованный теперь вѣрно, ярко, поэтически, представленный ему во всей своей привлекательности и потрясающей правдѣ, навѣрное, подѣйствуетъ благодѣтельно на его развитіе, разбудитъ въ его душѣ благородные инстинкты, расширитъ его взгляды, придастъ ему новыя силы для дѣятельности честной и полезной. Здѣсь увидитъ онъ, какъ ничтоженъ тотъ призракъ, который до того онъ бралъ, можетъ быть, за образецъ совершенства, какъ жалки убѣжденія, какъ мелки интересы, какъ низка и пошла природа тѣхъ, кого онъ привыкъ, можетъ быть, уважать, какъ авторитетъ. Но что же? Вмѣсто всего этого человѣкъ находитъ въ новомъ разсказѣ нравственныя сентенціи да психологическія отвлеченности, по которымъ кричитъ или молчитъ, плачетъ или смѣется герой его. Кому нужно все это? И кого можетъ это интересовать? Мы всѣ слыхали довольно проповѣдей, мы всѣ изучали курсы на-

нихъ обязанностей, духовные и гражданскіе. Но вотъ въ томъ то и бѣда, что мы ограничились только изученіемъ... Мы всегда знаемъ, что намъ слѣдуетъ дѣлать, — но это знаніе чисто внѣшнее, принятое на слово отъ другихъ, оно безсознательно, оно не вошло въ плоть и кровь нашу... Внутренняго убѣжденія въ справедливости того или другого у насъ нѣтъ, а оттого, какъ скоро выходимъ мы изъ подъ учительской ферулы, принимаемся жить своимъ умомъ, — то сейчасъ же и начинаемъ жить, и порываться, и пробиваться въ люди совсѣмъ не по выученнымъ правиламъ, а по своимъ собственнымъ соображеніямъ, которыя, не имѣя прочнаго и благороднаго начала, большею частью не имѣютъ другого руководства, кромѣ грубѣйшаго эгоизма. И неужели выходка какого-то незнакомаго, далекаго отъ насъ человѣка, какъ бы она ни была горяча и благородна, отвратитъ отъ порока того, кто связанъ съ нимъ существеннѣйшими интересами жизни? И неужели она вольетъ утѣшеніе и бодрость въ человѣка, падающаго подъ бременемъ неравной борьбы съ житейскою низостью и своекорыстіемъ? Напротивъ, злой человѣкъ посмѣется надъ краснобайствомъ автора, а несчастный ожесточится отъ этихъ жалкихъ утѣшеній, какъ ожесточится сынъ, услыша при гробѣ отца, что ругаютъ различныхъ людей, бывшихъ причиною смерти отца его... Нѣтъ, никогда фразы да и никакія чисто внѣшнія вліянія — не могутъ исправить общество... И если можно чего-либо требовать отъ литературы, то это того, чтобы произведенія ея вызывали на размышленія. Вотъ когда она достигнетъ своего идеала и по справедливости присвоитъ себѣ серьезное значеніе въ ходѣ нравственнаго развитія народа: когда ея

произведенія не будутъ праздными порожденіями прихотливой фантазіи, не будутъ теряться въ ненужныхъ описаніяхъ платьевъ, чепцовъ, шпилекъ, булавокъ, мебелей, ковровъ и т. п., когда не будутъ онѣ нуждаться въ заключеніи, которое бы показало, къ чему велъ авторъ рѣчь свою, — когда, прочитавши ихъ, каждый будетъ задумываться серьезно и долго со вниманіемъ начнетъ всматриваться въ жизнь свою, — когда никто послѣ чтенія повѣсти не будетъ имѣть возможности ограничиться отзывомъ извѣстнаго любителя литературы: «славно пишетъ канашка, бойкое перо! . .». Вотъ когда будетъ дѣлать свое дѣло наша литература. Заставьте же насъ самихъ думать. Соберите въ вашемъ типѣ, въ вашемъ описаніи, въ вашемъ разсказѣ, какъ въ фокусѣ, всѣ частныя явленія, мелкія черты, неуловимыя въ обыкновенныхъ взглядахъ особенности быта или лица, освѣтите все это общей идеей вашей такъ, чтобы она сквозила въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи избраннаго вами характера, въ каждой строчкѣ вашего описанія; но бойтесь являться учителемъ, бойтесь высказывать намъ, что вы хотите такихъ-то и такихъ-то совершенствъ, намѣрены казнить такіе-то пороки . . . Въ этомъ случаѣ самое лучшее будетъ, если васъ просто не прочтутъ . . . Ну а ежели прочтутъ да еще и повѣрятъ вамъ? . . Вѣдь вы губите человѣка . . . Не убѣдившись хорошенько (потому что въ повѣсть и нельзя ввести полнаго трактата), повѣривъ только вашему авторитету, онъ откажется отъ возможности имѣть объ этомъ свое мнѣніе, — онъ будетъ жить вашимъ умомъ и падетъ тотчасъ, если только вы его оставите... Нѣтъ, ради всего святого, *не внушайте* намъ мыслей вашими повѣстями, не обращайтесь.

къ намъ съ разглагольствованіями, — скройте совсѣмъ, если можете, свою личность за своихъ героевъ и старайтесь только, чтобы впечатлѣніе вашего разсказа было глубже, полнѣе, продолжительнѣе. А для этого — больше дѣйствія, больше жизни, драматизма, — и сколько можно меньше лирическаго, и ничего, рѣшительно ничего ораторскаго! . . Мы сказали еще, что поясненія автора оскорбляютъ читателя. Да, онъ оскорбляется поясненіями автора уже и потому, что они прерываютъ его эстетическое наслажденіе. Скажите, пріятно ли вамъ, когда въ итальянской оперѣ изступленный раекъ вслѣдъ за прелестно исполненной аріей, — оглашаетъ театръ хриплыми, нестройными криками браво и вызовами артиста, — хоть бы онъ пѣлъ эту арію въ темницѣ, или даже умиралъ какъ только ее окончитъ?. . Пріятно ли вамъ было бы, если бы, въ то время какъ вы любуетесь прекрасной панорамой, предъ вами вдругъ отняли стекло, и вы бы увидѣли грубо намалеванный ландшафтъ?. . То же самое чувство возбуждаютъ поясненія и разсужденія автора въ повѣсти. Но въ этомъ случаѣ есть еще другая причина негодовать: это оскорбленное самолюбіе, даже больше — чувства собственнаго достоинства . . . Что мы въ самомъ дѣлѣ за дѣти, что намъ будутъ все толковать другіе какъ и что дѣлать! . . Мы и сами умѣемъ думать. И неужели мы не можемъ понять въ чемъ дѣло, и что хочетъ сказать авторъ, и кто правъ и кто виноватъ, ежели онъ этого не благоволитъ рѣшить намъ? . . Если онъ самъ не умѣетъ ясно представить дѣла, тогда опять — его вина, и нисколько разглагольствованія ея не поправятъ. Если же его изображеніе хорошо, больше ничего и не нужно: читатели сумѣютъ познать

доброе и лукавое, а тѣмъ, кто не познаетъ, пусть лучше разскажетъ критика . . . А то, право, обидно — трактуютъ какъ мальчика лѣтъ пяти: размажутъ исторійку да и скажутъ — вотъ, дескать, изъ этого научитесь, что воровать не должно, что нужно слушаться старшихъ, или что всякое званіе почетно на своемъ мѣстѣ . . . Господь съ вами, гг. писатели! Да ежели только для этого вы трудились, такъ, право, хлопотать не стоило. Мы васъ покорнѣйше благодаримъ, только пожалуйста избавьте насъ отъ подобныхъ истинъ: мы такъ давно уже ихъ знаемъ, что онѣ совсѣмъ опошлѣли для насъ.

Такъ поэтому въ беллетристикѣ не можетъ высказываться убѣжденіе, не можетъ быть произнесено горячее, правдивое слово? . . Разумѣется, нѣтъ. Къ чему это *слово*, брошенное мимоходомъ въ разсказъ? . . Надо быть слишкомъ самонадѣяннымъ, чтобы думать, что каждое мое *слово* имѣетъ какую-то особенную цѣну и что оно можетъ ворочать милліонами людей. Но если одинъ скажетъ слово, потомъ другой, третій? Что же? — Если сотня людей скажетъ по десять словъ — составится тысяча словъ и ничего больше . . . Можетъ быть это и хорошо, — для словаря, но ужъ, конечно, никакъ не для жизни . . . Пора намъ отставать отъ словъ и переходить къ дѣлу . . . Что же касается до убѣжденій, — то я не понимаю, зачѣмъ ему обращаться непремѣнно въ форму повѣсти или романа... Для него и безъ того слишкомъ много формъ. Всего лучше напишите разсужденіе о предметѣ, который васъ интересуетъ, раскройте его подробно, разсмотрите со всѣхъ сторонъ, взвѣсьте всѣ доказательства pro и contra, приведите всевозможные

факты, свидѣтельства, соображенія. Мы вамъ скажемъ спасибо — и если согласимся съ вами, такъ будемъ знать, какъ и почему мы согласились... Если думаете убѣдить словами, напишите пожалуй рѣчь, письмо, разговоръ, — словомъ, что угодно, только оставьте въ покоѣ поэзію. Ну, а сатира?.. Сатира остается... Какъ же это такъ? По какому праву? Да опять потому, что она не имѣетъ претензіи разсуждать и убѣждать, а просто посмѣивается себѣ, да и только. Да и посмѣивается-то не то что бы надъ тѣмъ, что вотъ-де есть на свѣтѣ злые люди, — а, напр., надъ тѣмъ, что такой-то Иванъ Ивановичъ каждое воскресенье кладетъ земной поклонъ, прося у Бога помилованія за свое взяточничество, —котораго все-таки не оставляетъ, а такой-то Алексѣй Алексѣичъ на вопросъ: что онъ дѣлаетъ, отвѣчаетъ: былъ-съ въ бель-этажѣ на Невскомъ проспектѣ: тамъ князь Б., мой пріятель живетъ... Здѣсь, слѣдовательно, образы, явленія, — а не слова... Вся вообще лирическая поэзія имѣетъ свое значеніе и нимало не портитъ дѣла, — по самой свободѣ и часто неуловимости впечатлѣнія, которое она часто производитъ. Найдется даже въ нашей литературѣ довольно лирическихъ пьесъ, послѣ прочтенія которыхъ остается вамъ болѣе обширное поле для размышленій, нежели послѣ иного осмичастнаго романа, хотя бы къ нему былъ придѣланъ еще прологъ въ двухъ частяхъ... — А басня что жъ, наконецъ? — Басня?.. Это по-моему вещь очень хорошая для взрослыхъ дѣтей, и если она хороша сама по себѣ, — то имѣющая достоинство удачнаго сравненія.

Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ [1].

Имя Пушкина извѣстно каждому читающему русскому. О немъ было писано у насъ очень много, и еще недавно, при новомъ изданіи его сочиненій, представленъ русской публикѣ цѣлый томъ матеріаловъ для его біографіи, собранныхъ г. Анненковымъ. Въ нихъ можно почерпнуть довольно много любопытныхъ данныхъ для характеристики Пушкина, и мы постараемся воспользоваться важнѣйшими изъ нихъ для нашего очерка, имѣющаго въ виду именно характеристику поэта, такъ какъ собственно біографія его всѣмъ извѣстна, и притомъ, какъ у большей части писателей, не богата событіями, имѣющими внѣшній интересъ.

Пушкинъ происходилъ изъ стариннаго дворянскаго рода. Это обстоятельство, само по себѣ со-

---

[1] Статья подписана псевдонимомъ „Н. Лайбовъ", составленнымъ изъ послѣднихъ слоговъ имени и фамиліи критика. Принадлежность этой статьи Добролюбову удостовѣряется его Дневникомъ (запись 12 января 1857 г.), гдѣ разсказана исторія статьи. Въ томъ же „Русскомъ Иллюстр. Альманахѣ" напечатана статья о Державинѣ съ такою же подписью: „Лайбовъ", и русскіе библіографы, а вслѣдъ за ними и нѣкоторые историки литературы до послѣдняго времени приписывали ее Добролюбову. На самомъ дѣлѣ статья о Державинѣ, по указанію той же записи въ Дневникѣ, написана институтскимъ товарищемъ Добролюбова — Щегловымъ. Въ рецензіи на „Альманахъ" („Современникъ" 1858, № 2) Добролюбовъ печатно заявилъ, что подпись „Лайбовъ" подъ статьей о Державинѣ поставлена „по недосмотру издателей".

Вл. Кр.

вершенно ничтожное въ жизни поэта, заслуживаетъ нашего вниманія потому, что самъ Пушкинъ придавалъ ему весьма большое значеніе. Онъ съ наслажденіемъ занимался своей генеалогіей, гордился своимъ *шестисотлѣтнимъ* дворянствомъ, осуждалъ одного изъ своихъ родственниковъ за то, что онъ подписался подъ грамотою объ уничтоженіи мѣстничества, зло смѣялся надъ тѣми, для которыхъ все равно,

> Кто-бъ ни былъ ихъ родоначальникъ,
> Мстиславъ, князь Курбскій, иль Ермакъ,
> Или Митюшка цѣловальникъ,

и писалъ, что только дикость и невѣжество не уважаютъ прошедшаго: такъ образованный французъ или англичанинъ дорожитъ строкою стараго лѣтописца, гдѣ упомянуто имя его предка, но у калмыковъ нѣтъ ни дворянства, ни исторіи. Впрочемъ поэтъ, простирая свое генеалогическое пристрастіе слишкомъ далеко, нѣсколько преувеличивалъ древность своего рода, возводя его къ прусскому выходцу Радшѣ, пріѣхавшему въ Россію во время Александра Невскаго. Отъ этого Радши Пушкины ведутъ свой родъ вмѣстѣ со многими другими родами; настоящій же родоначальникъ фамиліи Пушкиныхъ былъ нѣкто Григорій Пушка, жившій, по нѣкоторымъ соображеніямъ, въ началѣ XV вѣка. Съ этого времени и начинаются упоминанія о Пушкиныхъ въ историческихъ памятникахъ.

Со стороны матери родъ Пушкина тоже замѣчателенъ. Прадѣдъ его, по собственнымъ словамъ Пушкина, былъ сынъ одного владѣтельнаго африканскаго князька, попалъ въ Константинополь аманатомъ, а здѣсь, осьми лѣтъ отроду, купленъ русскимъ посланникомъ и отосланъ въ подарокъ

Петру Великому. Петръ очень полюбилъ его, и въ русской службѣ негръ Ганнибалъ дослужился до чина генералъ-аншефа. Сынъ его, Осипъ Абрамовичъ, служилъ во флотѣ и былъ женатъ на Марьѣ Алексѣевнѣ Пушкиной. Дочь ихъ, Надежда Осиповна, вышла потомъ за Сергѣя Львовича Пушкина, и отъ этого брака 1799 г. 26 мая родился Александръ Сергѣевичъ. Гордясь своимъ родомъ, поэтъ нерѣдко съ замѣтнымъ услажденіемъ упоминаетъ также и о своей *африканской* крови.

Отецъ Пушкина былъ богатый помѣщикъ, получившій блестящее французское образованіе, веселый, остроумный, жившій въ отставкѣ въ Москвѣ, въ то время какъ родился нашъ поэтъ. О домашнемъ воспитаніи молодого Пушкина мы знаемъ немногое, но, судя по общимъ чертамъ, сохраненнымъ въ воспоминаніяхъ его родственниковъ и друзей, можемъ думать, что въ немъ таится начало и основаніе многихъ качествъ, впослѣдствіи отличавшихъ поэта. По тогдашнему обыкновенію, его образованіе предоставлено было иностраннымъ гувернерамъ, по большей части французамъ, и между ними попалось нѣсколько эмигрантовъ; въ семействѣ господствовалъ французскій языкъ; домъ С. Л. Пушкина былъ открытъ для всѣхъ эмигрантовъ, и библіотека его была наполнена французскими книгами, конечно, подъ стать общему настроенію. Все это способствовало тому, чтобы развить въ воспріимчивой натурѣ Пушкина веселость, любезность, остроуміе и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщить ему то безпечное легкомысліе, ту небрежную поверхностность, которая старается обходить серьезные теоретическіе вопросы жизни. Значеніе этихъ чертъ въ Пушкинѣ мы еще увидимъ. Съ этимъ на-

правленіемъ соединялась природная лѣность и беззаботность поэта, которая въ дѣтствѣ его выражалась чрезвычайной неповоротливостью, сидячестью и молчаливостью. Родные сочли это признакомъ слабости и тупости умственныхъ способностей, что для нихъ еще болѣе подтверждалось странною угрюмостью и робостью ребенка, которая, можетъ быть, и произошла вслѣдствіе привычки слышать о себѣ постоянно невыгодное мнѣніе. Большое вліяніе могъ также имѣть здѣсь и характеръ отца Пушкина, вспыльчивый и раздражительный, можетъ быть не разъ дававшій себя знать мальчику. Говорятъ, что Пушкинъ, чтобы избавиться отъ требованій быть поживѣе, убѣгалъ нерѣдко къ своей бабушкѣ, залѣзалъ въ ея рабочую корзинку и по цѣлымъ часамъ сидѣлъ, смотря на ея работу. Начиная съ семилѣтняго возраста его характеръ начинаетъ измѣняться: живая натура поэта вступаетъ въ свои права, освобождаясь отъ робкой лѣности и сосредоточенности. Но тѣмъ не менѣе впечатлѣнія дѣтства оставили на немъ слѣды на всю жизнь. Недовѣрчивость къ силѣ собственной мысли, отвращеніе отъ упорной работы надъ теоретическими вопросами, уклончивость и нерѣшительное потворство въ практическихъ сношеніяхъ съ людьми произошли весьма естественно изъ первыхъ отношеній Пушкина къ своему семейству. Впослѣдствіи, сознавши свои духовныя силы, высоко поставленный во мнѣніи общества, онъ научился уважать себя болѣе, научился даже презирать *толпу;* но недостатки легкаго французскаго воспитанія помѣшали и здѣсь. Пушкинъ остановился на внѣшности, не нашелъ въ себѣ того, что составляетъ истинную силу человѣческой личности и, сумѣвши сдѣлаться до нѣко-

торой степени независимымъ отъ частныхъ вліяній, не могъ освободиться отъ тяготѣнія нѣкоторыхъ привычекъ жизни. Говоря о домашнихъ вліяніяхъ на Пушкина, нельзя умолчать о нянѣ его, Аринѣ Родіоновнѣ. Она была для своего питомца представительницею русской народности: она ему передавала волшебныя сказанія русской старины, знакомила его съ русской рѣчью, внушала ему народныя чувства и воззрѣнія. Ей же, можетъ быть, обязанъ онъ отчасти своимъ суевѣріемъ, которое обнаруживалъ во многихъ случаяхъ жизни. Такъ, онъ участь своего таланта соединялъ съ силою какого-то перстня, вѣрилъ счастью серебряной копеечки, бывшей у него; вѣрилъ предсказаніямъ, придавалъ таинственное значеніе дню Вознесенія, въ который онъ родился, и проч. Впрочемъ это опять могло быть естественнымъ слѣдствіемъ его страстной, впечатлительной натуры, не направляемой строго-логическимъ развитіемъ. Въ первые годы молодости поэтому же самому конечно онъ позволилъ себѣ слишкомъ увлечься развлеченіями свѣта, но уже въ послѣдніе годы жизни онъ совершенно предался религіозному направленію.

Между тѣмъ съ семи лѣтъ Пушкинъ быстро развивался. Прежняя неповоротливость замѣнилась даже рѣзвостью. Чтеніе было его любимымъ занятіемъ; онъ пожиралъ книги, и, по замѣчанію Сергѣя Львовича, на одиннадцатомъ году зналъ уже наизусть всю французскую литературу. Блестящее общество, собиравшееся въ домѣ Пушкиныхъ, тоже не осталось, конечно, безъ вліянія на развитіе способностей молодого Пушкина. Скоро онъ началъ и самъ составлять фрацузскіе стишки, въ подражаніе тому, что читалъ и слышалъ; онъ устроилъ съ сестрой

своей нѣчто въ родѣ театра и импровизировалъ для него комедійки. Прочитавши «Генріаду», онъ написалъ даже поэму Joliade, въ 6 пѣсняхъ, содержаніемъ котораго была война карлицъ и карликовъ во времена Дагоберта. Но по-русски во все это время Пушкинъ почти ничего не писалъ.

Двѣнадцати лѣтъ Пушкинъ, при содѣйствіи В. Ѳ. Малиновскаго и А. И. Тургенева, поступилъ въ Царскосельскій лицей, только что учрежденный въ то время (1811). Здѣсь скоро развились главныя черты характера Пушкина. Его живость и вѣтряность вызвали его острый умъ на насмѣшки надъ товарищами, за что сначала его не любили и прозвали французомъ; но, съ другой стороны, добродушіе и искренность его не могли не найти отзыва въ кружкѣ товарищей, и, дѣйствительно, лицейскія привязанности всегда были дороги сердцу Пушкина. Скоро проявилась въ немъ и любовь къ литературѣ: въ лицеѣ издавалось при немъ нѣсколько рукописныхъ журналовъ, въ которыхъ помѣщались его стихи. Особено славились въ кругу товарищей его эпиграммы. Въ наукахъ же точныхъ и требующихъ умственнаго усилія Пушкинъ всегда отставалъ. Еще въ дѣтствѣ плакалъ онъ надъ четырьмя правилами ариѳметики; а въ лицеѣ вотъ какъ аттестовалъ его Куницынъ въ 1814 г.: «весьма понятенъ, замысловатъ и остроуменъ, но крайне неприлеженъ. Онъ способенъ только къ такимъ предметамъ, которые требуютъ малаго напряженія, а потому успѣхи его очень невелики, особенно по части логики». Эта замѣтка дѣлаетъ честь проницательности добраго профессора.

Зато литературой Пушкинъ занимался усердно вмѣстѣ съ своими друзьями, особенно съ Дельви-

гомъ. Дельвигъ убѣдилъ было его заниматься нѣмецкой литературой; но Пушкинъ скоро бросилъ ее, вѣроятно потому, что это занятіе требовало *сильнаго напряженія*. Любимой его литературой оставалась попрежнему французская и отчасти итальянская, съ которой онъ познакомился еще дома. Въ лицеѣ онъ, кажется, занимался и латынью. Здѣсь онъ велъ нѣкоторое время свои записки, сохранившіяся отрывки которыхъ показываютъ, что уже въ то время онъ серьезно занятъ былъ литературой и предпринималъ много литературныхъ трудовъ въ разныхъ родахъ. Такъ, хотѣлъ онъ писать *ироическую* поэму «Игорь и Ольга», писалъ романъ «Фотама, или разумъ человѣческій», начиналъ какую-то комедію, задумывалъ представить картину Царскаго Села. Все это осталось неисполненнымъ или неоконченнымъ. Между тѣмъ Пушкинъ не переставалъ во все время лицейской жизни писать мелкія лирическія стихотворенія, въ подражаніе частью французскимъ поэтамъ, частью Державину, Батюшкову, Жуковскому, тогдашнимъ корифеямъ нашей поэзіи. По большей части — это легкія остроумныя шутки, посланія къ друзьямъ и пьески въ томъ неопредѣленно-эротическомъ родѣ, какой могъ быть доступенъ мальчику, знавшему наслажденія и страданія любви по прочитаннымъ романамъ да по празднымъ мечтамъ воображенія. Первое напечатанное его стихотворніе было: «Къ другу-стихотворцу» («Вѣстн. Евр.», 1814 г., іюль, № 13), и затѣмъ въ продолженіе 1814—1817 г. стихи его постоянно помѣщались въ «Вѣстникѣ Европы», «Россійскомъ Музеумѣ», «Сынѣ Отечества» и «Сѣверномъ Наблюдателѣ». Замѣчательно, что въ то время Пушкинъ не увлекался одопѣніемъ, которое

тогда еще господствовало. Между лицейскими стихотвореніями его находимъ только три или четыре пьесы возвышенно-браннаго содержанія. Это, конечно, даетъ очень выгодное понятіе о поэтическомъ тактѣ молодого Пушкина, который уже и въ то время успѣлъ написать нѣсколько пьесъ, ярко отличавшихся и по стиху и по способу представленія предметовъ отъ всего, что было до него. Стихотвореніе «Лицинію», написанное въ 1815 г., отличается даже благородствомъ и силою мысли болѣе, чѣмъ нѣкоторыя изъ зрѣлыхъ созданій Пушкина, въ которыхъ онъ, переставая быть просто художникомъ, рѣшался затрагивать высокіе общественные вопросы. Впрочемъ, судя по тому, что въ одинъ годъ съ «Лициніемъ» написаны Пушкинымъ «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ», «Наполеонъ на Эльбѣ» и др., можно думать, что и тогда поэтъ не былъ слишкомъ преданъ мыслямъ, выраженнымъ имъ въ стихахъ своихъ. Вѣроятно это была у него просто мгновенная вспышка, не мѣшавшая его мирно-эпикурейскимъ наклонностямъ, которыя рѣшительно преобладаютъ въ общей массѣ его лицейскихъ стихотвореній. Изрѣдка появляется въ нихъ оттѣнокъ элегической грусти, которая впослѣдствіи такъ превосходно завершала часто его живые порывы и придавала такую поэтическую прелесть его изображеніямъ. 9 іюня 1817 г. Пушкинъ былъ выпущенъ изъ лицея, а 13 іюля опредѣленъ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ. На лѣто, впрочемъ, онъ отправился въ свое псковское имѣніе, Михайловское, которое потомъ играло такую важную роль въ его поэтической жизни. Три года затѣмъ онъ прожилъ въ Петербургѣ, предаваясь всѣмъ увлеченіямъ и излишествамъ молодости. Онъ былъ въ

это время принятъ въ кругъ петербургскихъ литераторовъ какъ уже извѣстный писатель. Еще въ лицеѣ напутствованный благословеніемъ Державина, ободренный потомъ благосклонностью Карамзина, юноша-поэтъ скоро обратилъ на себя вниманіе Жуковскаго и другихъ заслуженныхъ писателей, введенъ былъ въ Арзамасское Общество литераторовъ, познакомился съ Катенинымъ, котораго онъ всегда чрезвычайно уважалъ какъ умнаго критика. Въ 1820 г. явилась его поэма «Русланъ и Людмила», по прочтеніи которой Жуковскій подарилъ Пушкину портретъ свой съ надписью: «Ученику отъ побѣжденнаго учителя», хотя, собственно, произведеніе это и не заслуживало еще такой восторженной похвалы. При всемъ стараніи поддѣлаться подъ ладъ русскихъ народныхъ сказокъ, оно очень мало имѣетъ въ себѣ народнаго и довольно бѣдно въ поэтическомъ отношеніи. Впрочемъ поэма эта, начатая еще въ лицеѣ, окончена была уже на Кавказѣ. Въ Петербургѣ же Пушкинъ въ это время писалъ мало, да и то большею частью такія стихотворенія, которыхъ нельзя было печатать и которыхъ впослѣдствіи онъ самъ стыдился. Это были большею частью ѣдкія эпиграммы и разныя пьески нескромнаго содержанія. Въ 1820 г. перевели его въ службу на Кавказъ. Послѣдующія произведенія поэта доказали, что обнаруженное имъ направленіе не было глубоко въ его душѣ, а привилось къ нему только вслѣдствіе внѣшнихъ обстоятельствъ, не могшихъ не подѣйствовать на страстную, пламенную натуру его.

Пять лѣтъ провелъ Пушкинъ на югѣ Россіи, подарившемъ его многими прекрасными вдохновеніями. Большую часть этого времени прожилъ онъ въ Ки-

шиневѣ и Одессѣ, что впрочемъ не мѣшало ему странствовать по Крыму и Бессарабіи, присматриваясь къ тамошнимъ цыганамъ и грекамъ.

Это время осталось памятнымъ для его развитія. Онъ много писалъ здѣсь и скоро пріобрѣлъ громкую славу на Руси. Въ 1822 г. явился его «Кавказскій плѣнникъ», въ 1824 — «Бахчисарайскій фонтанъ». «Плѣнникъ» стоитъ уже выше «Руслана», хотя и о немъ еще самъ Пушкинъ говоритъ впослѣдствіи: «все это слабо, молодо, незрѣло; но многое угадано и выражено вѣрно. На этой пьесѣ, равно какъ и на Гиреѣ, замѣтны еще слѣды вліянія Байрона. Тогда же начаты «Онѣгинъ» и «Цыганы». Лирическія произведенія во все это время безъ перерыва печатались въ журналахъ, и въ 1826 г. явилась въ печати первая часть собранія ихъ.

Въ концѣ 1824 г. пріѣхалъ онъ въ свое Михайловское и здѣсь въ уединеніи Псковской губерніи и прожилъ до 1826 г. Здѣсь посѣтили его друзья и между прочимъ Языковъ. Во все это время онъ очень много работалъ. Здѣсь были написаны шесть главъ Онѣгина, «Графъ Нулинъ», начатъ «Борисъ Годуновъ». Лирическія стихотворенія, относящіяся къ этому году, поражаютъ оттѣнкомъ тихой грусти, которая съ этихъ поръ дѣлается неразлучной спутницей его музы. Особенно поражаетъ этимъ трогательнымъ чувствомъ стихотвореніе «19 октября».

Во время пребыванія своего въ псковскомъ уединеніи Пушкинъ особенно обратился къ изученію русской народности. Онъ неоднократно посѣщалъ въ это время Псковъ, молился въ его монастыряхъ (Печорскомъ и Свѣтогорскомъ, возлѣ самаго Пскова), разсматривалъ памятники его исторической

древности на мѣстѣ перваго водворенія князей русскихъ (въ Изборскѣ), и тѣмъ приготовлялъ уже себя къ тому дѣлу, которое потомъ ему должно было выполнить по отношенію къ поэтическому и историческому изображенію судебъ Россіи. Но особенно занимало его въ то время наблюденіе надъ языкомъ и нравами народа. Онъ, переодѣтый, ходилъ даже иногда по базарамъ псковскимъ для изученія живой народной рѣчи. Кромѣ того онъ собиралъ тогда народныя пѣсни и записывалъ сказки, которыя сказывала ему няня Арина Родіоновна.

3 сентября 1826 г. Пушкинъ переѣхалъ въ Москву. Всѣми здѣсь онъ принятъ былъ съ энтузіазмомъ. Его долговременное отсутствіе еще увеличило его славу какъ поэта и придало особенный интересъ его личности. Въ упоеніи славы, дружбы и свѣтскихъ веселостей провелъ онъ всю эту зиму, почти не трогая пера. Съ 1827 г. онъ принялъ дѣятельное участіе въ новомъ журналѣ, предпринятомъ г. Погодинымъ — «Московскомъ Вѣстникѣ». Въ этомъ же году издалъ онъ своихъ «Цыганъ», въ 1828 г. явились три главы «Онѣгина»; въ 1829 г. — «Полтава», поразившая всѣхъ стальною крѣпостью и силою стиха, и двѣ книжки лирическихъ стихотвореній. Слава его достигла высшей степени. Каждое новое его произведеніе мгновенно разлеталось по всѣмъ концамъ Россіи, читалось, переписывалось, заучивалось. Книгопродавцы наперерывъ покупали его произведенія и платили ему по 10 рублей за стихъ. Такимъ образомъ Пушкинъ съ справедливою гордостью могъ сказать о себѣ, что онъ одинъ изъ первыхъ у насъ развилъ книжную торговлю.

Въ 1829 г. Пушкинъ еще разъ съѣздилъ на Кавказъ и возбудилъ всеобщія ожиданія новыхъ тво-

реній, посвященныхъ интересной странѣ. Дѣйствительно, плодомъ этой поѣздки было — «Путешествіе въ Арзрумъ» и стихотворенія: «Донъ», «Делибашъ», «Монастырь на Казбекѣ», «Кавказъ», «Обвалъ».

Въ 1830 г. конченъ «Онѣгинъ» и изданъ «Борисъ Годуновъ», это величайшее драматическое произведеніе русской литературы, хотя и погрѣшающее въ неловкой идеѣ, въ которой Пушкинъ суевѣрно слѣдовалъ Карамзину. Въ этомъ же году Пушкинъ принималъ большое участіе въ основаніи «Литературной Газеты» Дельвигомъ. Вообще 1830 г. весьма замѣчателенъ въ жизни Пушкина какъ поэта и какъ человѣка. 21 апрѣля этого года онъ сдѣлался счастливымъ женихомъ Н. Н. Гончаровой, которую узналъ и полюбилъ еще въ 1828 г. Въ августѣ же онъ долженъ былъ по хозяйственнымъ дѣламъ ѣхать въ нижегородскую свою вотчину, село Болдино. Здѣсь застала его холера, и онъ принужденъ былъ пробыть тамъ до декабря. Это время было для него временемъ самой плодотворной дѣятельности. Въ три осенніе мѣсяца написаны: «Скупой Рыцарь», «Моцартъ и Сальери», «Пиръ во время чумы», «Каменный Гость», «Лѣтопись села Горохина», повѣсти Бѣлкина и около 30 мелкихъ стихотвореній. «Онѣгинъ» оконченъ здѣсь же.

Наконецъ въ февралѣ 1831 г. совершилась свадьба Пушкина въ Москвѣ. Скоро послѣ того переѣхалъ онъ въ Петербургъ и здѣсь принялся за собраніе матеріаловъ для исторіи Петра Великаго. Между тѣмъ въ то же время привлекъ его вниманіе одинъ изъ любопытнѣйшихъ эпизодовъ русской исторіи — бунтъ Пугачева, и въ слѣдующіе два года онъ написалъ его исторію и повѣсть изъ того же

времени — «Капитанскую Дочку». Вообще Пушкинъ склоняется теперь все болѣе къ эпосу и болѣе начинаетъ писать прозой. Онъ самъ говорилъ, что лирическія пьесы можно писать только до 35 лѣтъ, когда еще чувства свѣжи и молоды. Къ 1832 г. относятся также «Дубровскій» и «Русалка».

Въ 1833 г. Пушкинъ совершилъ поѣздку въ Казань и Оренбургъ для собранія на мѣстѣ свѣдѣній о Пугачевѣ. Лѣтомъ этого года перевелъ онъ «Пѣсни западныхъ славянъ», а осенью кончилъ «Мѣднаго Всадника». Къ тому же году относятся, вѣроятно, статьи, извѣстныя подъ общимъ названіемъ: «Мысли на дорогѣ».

Въ слѣдующіе два года Пушкинъ напечаталъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» — «Пиковую Даму», «Кирджали» и «Гусара». За послѣднюю пьесу, въ которой между прочимъ мастерски очерченъ типъ стараго гусара, онъ получилъ отъ Смирдина 2000 рублей. Тогда же выдалъ онъ четвертую книжку своихъ стихотвореній и написалъ «Египетскія Ночи».

Послѣдній годъ жизни поэта занятъ былъ изданіемъ журнала, о которомъ давно онъ думалъ и хлопоталъ, но котораго все не успѣвалъ начать. Приступивъ наконецъ къ изданію «Современника», Пушкинъ съ увлеченіемъ принялся за него, желая сдѣлать изъ него изданіе съ благороднымъ, серьезнымъ тономъ и характеромъ, которое могло бы противодѣйствовать легкому, насмѣшливому взгляду на литературу, развившемуся тогда въ «Библіотекѣ для Чтенія». Въ журналѣ Пушкина приняли участіе Гоголь, Жуковскій, князь Вяземскій. Самъ издатель чрезвычайно много работалъ для журнала, помѣщая въ немъ особенно много прозаическихъ статей.

Стихотворенія Пушкина въ послѣднее время отличаются особенно религіознымъ характеромъ. Онъ даже занимался въ это время переложеніемъ житій Святыхъ и чуть ли не участвовалъ въ составленіи «Словаря Святыхъ, прославленныхъ въ Россійской церкви». Онъ обѣщалъ идти еще дальше по этому пути; но судьба не дала ему выразить этого направленія ни въ какомъ великомъ изданіи. Страшный ударъ поразилъ поэта въ то самое время, какъ онъ готовился изумить Россію новыми твореніями, какихъ отъ него не ожидали.

*

27 января 1837 г. онъ раненъ на поединкѣ Георгомъ Гекерномъ (Дантесомъ) и 29 скончался. Грустно разсказывать трагическую исторію его кончины; впрочемъ описаніе ея читала уже вся Россія въ дивномъ письмѣ Жуковскаго къ отцу поэта. Въ послѣдніе дни жизни поэта русская публика выказала къ нему свое участіе. Во время предсмертной агоніи домъ его съ утра до вечера полонъ былъ народомъ, и цѣлыя толпы стояли на улицѣ, желая имѣть извѣстіе о его положеніи. Тысячи народа собрались въ день его погребенія, чтобы въ послѣдній разъ взглянуть на своего любимаго поэта. Тѣло Пушкина предположено было отправить въ Святогорскій Успенскій монастырь, находящійся въ четырехъ верстахъ отъ Михайловскаго. Для избѣжанія шумнаго многолюдства при проводахъ тѣло отправили въ самую полночь, и объ этомъ знали только немногіе, самые близкіе друзья его. А. И. Тургеневъ проводилъ его до послѣдняго жилища.

*

Прошло 20 лѣтъ со времени смерти великаго поэта. Умолкли личныя страсти и предубѣжденія противъ него, охладѣли и пламенныя увлеченія тогдашнихъ юношей. Русская публика привыкла къ имени Пушкина, какъ своего великаго, національнаго поэта. Она до сихъ поръ его перечитываетъ и наслаждается живою прелестью его стиховъ. Она теперь еще лучше понимаетъ его, нежели въ то время, когда новость и блескъ его произведеній, ослѣпляя всѣ глаза и увлекая всѣ сердца, препятствовали холодному, правильному разсмотрѣнію сущности характера его произведеній. Теперь для Пушкина настало потомство. Не тѣ уже мы, каковы были четверть вѣка тому назадъ.

Безцѣльное направленіе исключительной художественности для новаго поколѣнія — уже прошедшее, имѣющее только свою долю историческаго значенія. Въ этомъ прошедшемъ яркой звѣздой красуется Пушкинъ, и заря новаго литературнаго движенія, конечно, не потемняетъ еще его блеска. Еще мы можемъ имъ любоваться; еще мы чувствуемъ и на себѣ отраженіе того блеска, который недавно былъ восхваляемъ какъ солнечное сіяніе. Теперь мы понимаемъ возможность иного, еще болѣе яркаго и благотворительнаго свѣтила на горизонтѣ русской поэзіи,—свѣтила, въ лучахъ котораго потонутъ всѣ наши звѣзды. Но пока оно взойдетъ, у насъ еще долго будутъ ярко блестѣть лучи поэзіи Пушкина.

Значеніе Пушкина огромно не только въ исторіи русской литературы, но и въ исторіи русскаго просвѣщенія. Онъ первый пріучилъ русскую публику читать, и въ этомъ состоитъ величайшая его заслуга. Въ его стихахъ впервые сказалась намъ живая русская рѣчь, впервые открылся намъ дѣй-

ствительный русскій міръ. Всѣ были очарованы, всѣ увлечены мощными звуками этой неслыханной до тѣхъ поръ поэзіи. Прежде того поэты русскіе въ наемномъ восторгѣ воспѣвали по заказу иллюминаціи, праздники и другія событія, о которыхъ сами не имѣли никакого понятія и до которыхъ цѣлому народу не было никакого дѣла. Потомъ, освободившись отъ этого шутовского занятія, эти почтенные люди обратились къ гуманнымъ идеямъ, но, по обыкновенію, поняли ихъ совершенно отвлеченно отъ жизни и начали строить зданіе золотого вѣка на грубой почвѣ. Такимъ образомъ литература ударилась въ сентиментальность: оставляя въ сторонѣ существенныя бѣдствія, плакали надъ вымышленнымъ героемъ; преклоняясь передъ господствующимъ порокомъ, казнили порокъ небывалый и вѣнчали идеальную добродѣтель. Убѣдившись наконецъ въ безплодности этого слезнаго направленія, съ начала нынѣшняго столѣтія поэзія наша рѣшается сознаться, что дѣйствительный міръ не такъ хорошъ, какъ она его изображала. Но зато она нашла утѣшеніе намъ въ какомъ-то другомъ, эѳирномъ, туманномъ мірѣ, среди тѣней, привидѣній и прочихъ призраковъ. Она грустила о чемъ-то, темно и вяло воспѣвала нѣчто и туманную даль, стремилась къ чему-то невѣдомому. Изъ земныхъ предметовъ она удостоивала воспѣвать только *возвышенныя* чувства да эротическій разгулъ. Пушкинъ въ первые свои годы заплатилъ дань каждому изъ этихъ направленій, но скоро онъ умѣлъ освободиться отъ нихъ и создать на Руси свою самобытную поэзію. Воспитанный въ семействѣ и въ жизни, учившійся въ то время, когда послѣ событій отечественной войны русскіе стали приходить къ самосознанію,

имѣвшій случай войти въ соприкосновеніе со всѣми классами русскаго общества, — Пушкинъ умѣлъ постигнуть истинныя потребности и истинный характеръ народнаго быта. Онъ присмотрѣлся къ русской природѣ и жизни и нашелъ, что въ нихъ есть много истинно-хорошаго и поэтическаго. Очарованный самъ этимъ открытіемъ, онъ принялся за изображеніе дѣйствительности, и толпа съ восторгомъ приняла эти дивныя созданія, въ которыхъ ей слышалось такъ много своего, знакомаго, что давно она видѣла, но въ чемъ никогда не подозрѣвала столько поэтической прелести. И Пушкинъ откликнулся на все, въ чемъ проявлялась русская жизнь, онъ обозрѣлъ всѣ ея стороны, прослѣдилъ ее во всѣхъ степеняхъ, во всѣхъ частяхъ, ничему не отдаваясь исключительно. Мы не считаемъ этой разнохарактерности, этого отсутствія рѣзко обозначеннаго направленія особеннымъ достоинствомъ поэта, какъ хотѣли нѣкоторые; но мы убѣждены, что это было необходимымъ явленіемъ, принадлежащимъ самому времени. Такъ было у насъ съ наукой, когда первый русскій ученый, открывшій намъ, что есть науки, долженъ былъ самъ сдѣлаться и химикомъ, и физикомъ, и историкомъ, и политико-экономомъ, и ораторомъ и вдобавокъ еще — піитомъ. Такъ было при началѣ нашей поэзіи, когда въ одномъ лицѣ могъ совмѣщаться одописецъ, баснописецъ, сатирикъ, элегистъ, трагикъ, комикъ и проч. Такъ было и теперь при открытіи дѣйствительности: это былъ еще новый, неизвѣданный міръ; трудно было рѣшиться избрать въ немъ что-нибудь одно. Нужно было попробовать много разныхъ дорогъ, прежде чѣмъ остановиться на какой-нибудь изъ нихъ. Все привлекало

къ себѣ, все казалось столь прекраснымъ, что невольно вырывало сладкіе звуки восторга и очарованія изъ молодой груди поэта. И толпа внимала ему съ благоговѣйной любовью: для нея этотъ стихъ, эти образы были свѣтлымъ воспоминаніемъ того, о чемъ до сихъ поръ она не смѣла и думать, какъ о пошлой прозѣ, какъ о житейскихъ дрязгахъ, отъ которыхъ надобно стараться держать себя подальше. И въ этомъ-то заключается великое значеніе поэзіи Пушкина: она обратила мысль народа на тѣ предметы, которые именно должны занимать его, и отвлекла отъ всего туманнаго, призрачнаго, болѣзненно-мечтательнаго, въ чемъ прежніе поэты находили идеалъ красоты и всякаго совершенства. Поэтому не должно казаться страннымъ, что *очарованіе* нашимъ бѣднымъ міромъ такъ сильно у Пушкина, что онъ такъ мало смущается его несовершенствами. Въ то время нужно было еще показать то, что есть хорошаго на землѣ, чтобы заставить людей спуститься на землю изъ ихъ воздушныхъ зàмковъ. Время строгаго разбора еще не наступало, и Пушкинъ не могъ вызвать его ранѣе срока. Да это было бы и безполезно: немногіе избранные тогда поняли бы его, а масса осталась бы при своихъ мечтаніяхъ. Теперь же стихъ Пушкина приготовилъ форму, въ которой уже могли потомъ явиться высшія созданія, а его вліяніе на публику сдѣлало ее способнѣе къ принятію и пониманію этихъ созданій. Она поняла уже цѣну жизни въ сладкозвучныхъ строфахъ Пушкина, и теперь самое горькое негодованіе на житейскую пошлость только подвинетъ людей къ исправленію, а не унесетъ ихъ отъ земной дѣйствительности въ надзвѣздныя пространства.

Такъ теперь смотримъ мы на историческое значеніе поэзіи Пушкина. Но въ его время нельзя еще было ясно понять это, и онъ самъ не сознавалъ вполнѣ своего назначенія. Это, конечно, и не могло быть иначе: какъ поэтъ, Пушкинъ прежде всѣхъ самъ долженъ былъ увлечься тѣмъ, чѣмъ увлекалъ другихъ; какъ поэтъ извѣстнаго времени и народа, онъ долженъ былъ прежде всего принадлежать своему времени, своему народу. Онъ не былъ изъ числа тѣхъ титаническихъ натуръ, которыя, сознавъ свое разумное превосходство, становятся надъ толпой въ уединенномъ величіи, не наклоняясь до ея понятій, не возбуждая ея сочувствій, довольныя только собственной силою. Нѣтъ, Пушкинъ шелъ въ уровнѣ съ своимъ вѣкомъ. Несмотря на свои увѣренія о презрѣніи къ толпѣ, онъ угождалъ ей; иначе нельзя было бы объяснить тотъ громадный успѣхъ, какимъ онъ пользовался въ публикѣ: она никогда не награждаетъ особенной любовью того, что выше ея понятій. Оцѣнка геніевъ, опередившихъ свой вѣкъ, совершается въ потомствѣ.

Впрочемъ и Пушкинъ не всегда слѣдовалъ своему правилу:

Къ чему безплодно спорить съ вѣкомъ?
Обычай — деспотъ межъ людей.

Его богато одаренная, пламенная и благородная натура не всегда подчинялась требованію обстоятельствъ. Даже можно сказать больше: всматриваясь ближе въ субъективный характеръ поэзіи Пушкина, мы находимъ въ немъ постоянное исканіе чего-то, неудовлетворимое настоящимъ. Его лирика полна грусти, и если эта грусть не глубока, если она тотчасъ же разсѣивается принужденной

улыбкой, то причина этого всего болѣе, конечно, заключается въ легкости теоретическаго образованія поэта, при которомъ онъ не могъ даже задать себѣ серьезнаго вопроса о томъ, что за идея лежитъ въ основаніи его грустныхъ порывовъ. Но для насъ грусть поэта понятнѣе теперь, чѣмъ для него самого. Мы видѣли, въ жизни его было время, когда ему были новы всѣ впечатлѣнія бытія,

Когда возвышенныя чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенныя искусства
Такъ сильно волновали кровь.

Живописная природа Кавказа и Тавриды скоро замѣнила для него всѣ внутренніе вопросы. Отстранивъ отъ себя всякую внѣшнюю цѣль, всякое постороннее стремленіе, онъ заключился въ тѣсномъ кругѣ исключительнаго служенія искусству, въ сферѣ чистой художественности. Онъ прекрасно выполнилъ свою задачу. Напрасно старался онъ оправдывать себя тѣмъ, что служеніе музѣ не терпитъ суеты. Напрасно онъ бросалъ въ толпу презрительный вопль:

Подите прочь! Какое дѣло
Поэту мирному до васъ?

Напрасно потому — что не толпа, а внутреннее сознаніе тревожило его благородную душу, и эти тревоги тяжело отзываются въ его произведеніяхъ. Онѣ появляются на краткое мгновеніе, но тѣмъ болѣе имѣютъ для насъ значенія, что каждый разъ поэтъ ничѣмъ не разрѣшаетъ своихъ сомнѣній и страданій, а отдѣлывается отъ нихъ шуткой или усиліемъ забыть ихъ. Такимъ образомъ грустное чувство безпрестанно возобновляется у него съ новою силой и даетъ намъ видѣть, что онъ не былъ дово-

ленъ своей ролью безпечнаго художника. «Я разумѣю ничтожность жизни», — говоритъ онъ, — «и мало къ ней привязанъ я . . .». Онъ называетъ свѣтъ пустымъ и боится, чтобы душа его не охладѣла въ мертвящемъ упоеніи свѣта. Онъ жалѣетъ о своей молодости:

Но грустно думать, что напрасно
Была намъ молодость дана…
Что наши лучшія мечтанья,
Что наши свѣжія желанья
Истлѣли быстрой чередой.

Онъ трепещетъ и проклинаетъ, вспоминая о своей прошедшей жизни; онъ страдаетъ при мысли о томъ, что пережилъ свои мечты. Онъ изнемогаетъ подъ этимъ страданіемъ, говоря:

Цѣли нѣтъ передо мною,
Сердце пусто, празденъ умъ,
И томитъ меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ.

Его послѣднія элегіи полны жгучей, безотрадной горести. Онъ чувствуетъ, что жизнь не даетъ ему успокоенія, и говоритъ:

Мой путь уныль. Сулитъ мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море.

И какимъ отчаяніемъ отзываются самые звуки надежды, которыми онъ хочетъ утѣшить себя:

Но не хочу, о други, умирать.
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать,
И вѣдаю, — мнѣ будутъ наслажденья
Средь горестей, заботъ и треволненья:
Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь…

Какое жалкое утѣшеніе! Только тотъ, въ комъ убита всякая вѣра въ дѣйствительное счастье, мо-

жетъ мечтать о томъ, какъ онъ будетъ наслаждаться вымыслами. И это намѣренное желаніе обольщать себя составляетъ главный недостатокъ Пушкина. Онъ не находилъ выхода изъ своихъ сомнѣній и восклицалъ:

Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ,

и — успокаивался . . . но ненадолго.

Въ послѣднее время своей жизни онъ нашелъ болѣе прочное успокоеніе — въ религіи. Здѣсь, конечно, должно было послѣдовать полное примиреніе; здѣсь былъ конецъ тревожной борьбѣ. Мы считаемъ несправедливымъ мнѣніе тѣхъ, которые предполагаютъ, что Пушкинъ могъ еще впослѣдствіи явиться намъ въ новомъ, еще невиданномъ свѣтѣ, съ плодами новаго самобытнаго развитія. Нѣтъ, онъ уже пришелъ къ своей пристани, измученный битвою жизни. Онъ могъ подарить намъ много новыхъ, высоко художественныхъ произведеній; но въ характерѣ его поэзіи нельзя уже было предвидѣть новаго, высшаго развитія.

Но, смотря на свои понятія объ искусствѣ, какъ цѣли для себя, Пушкинъ умѣлъ однако понимать и свои обязанности въ отношеніи къ обществу. Въ своемъ «Памятникѣ» онъ ставитъ себѣ въ заслугу не художественность, а то,

Что чувства добрыя онъ лирой пробуждалъ,
Что прелестью живой стиховъ онъ былъ полезенъ
И милость къ падшимъ призывалъ.

Замѣтимъ также, что Пушкину принадлежитъ мысль «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ», и что онъ вызвалъ Гоголя на обработку этихъ сюжетовъ. Это показываетъ, что въ его душѣ всегда таилось сознаніе того, что нужно для нашего общества.

Въ образахъ, созданныхъ самимъ Пушкинымъ, дѣйствительно можно видѣть нѣкоторыя затаенныя мысли, очень гармонирующія съ его настроеніемъ вѣчнаго, неудовлетворяемаго безпокойства. Его Онѣгинъ не просто свѣтскій фатъ; это человѣкъ, понимающій пустоту той жизни, къ которой призванъ онъ судьбою, но не имѣющій довольно силы характера, чтобы изъ нея выбраться. Его Алеко — тоже своего рода Онѣгинъ, бѣжавшій отъ свѣта къ цыганамъ съ тѣмъ же похвальнымъ намѣреніемъ, съ какимъ крыловскій волкъ бѣжалъ въ Аркадію. И поэтъ съ замѣтной любовью описываетъ цыганскій таборъ, простую жизнь и нравы цыганъ, какъ бы стараясь обмануть собственное чувство. Но Алеко и здѣсь встрѣчаетъ горе и измѣну. Конечно, это его вина болѣе нежели тѣхъ, къ которымъ онъ пришелъ и которыхъ счастье разрушилъ; но поэтъ какъ будто радъ этому случаю успокоить себя мыслью, что на землѣ нигдѣ нѣтъ счастья. И вотъ онъ пишетъ свой грустный эпилогъ:

Но счастья нѣтъ и между вами,
Природы бѣдные сыны,
И подъ издранными шатрами
Живутъ мучительные сны... И проч.

Для своего успокоенія онъ не хочетъ понять даже образъ, имъ самимъ созданный.

Мы не хотѣли писать разбора всѣхъ произведеній Пушкина, и потому читатель не будетъ, конечно, обвинять насъ за то, что мы ни слова не сказали о многихъ изъ замѣчательныхъ твореній поэта. Говоря о нихъ, нельзя ограничиться нѣсколькими словами, а предѣлы нашей статьи очень не велики. Впрочемъ, если бы мы и пустились въ подробный

разборъ, то, конечно, ничего новаго не могли бы сказать послѣ замѣчательныхъ статей о Пушкинѣ, писанныхъ Бѣлинскимъ, въ «Отеч. Зап.» 1843—1846 г. Мы ограничились только общими замѣчаніями о характерѣ поэзіи Пушкина, особенно лирической, которая представляетъ болѣе возможности слѣдить за направленіемъ и духовнымъ развитіемъ самого поэта, и, перечитавъ его, мы можемъ сказать теперь съ полнымъ уваженіемъ къ славному имени: Пушкинъ оказалъ благотворное вліяніе, обративши взоръ народа на дорогу, по которой должны были пройти другіе. Онъ не высказалъ полнаго смысла явленій русской природы и жизни, но зато со стороны формы онъ сдѣлалъ изъ нихъ все, что можно было сдѣлать, не касаясь внутренняго содержанія ихъ. И оттого-то послѣ Пушкина уже не могло удовлетворить простое изображеніе предмета; отъ поэта требовали, чтобы онъ далъ смыслъ описываемымъ явленіямъ, чтобы онъ умѣлъ схватить въ своихъ твореніяхъ не одни видимыя отличія предмета, но и самый его внутренній характеръ. Вслѣдствіе этихъ требованій явился новый періодъ литературы, котораго полнѣйшее отраженіе находимъ въ Гоголѣ, но котораго начало скрывается уже въ поэзіи Пушкина.

Н. Лайбовъ.

23 сент. 1856 г.

Сочиненія Пушкина.

Седьмой дополнительный томъ. Изд. *П. В. Анненскаго*. Спб. 1857 [1].

Всѣ еще помнятъ, вѣроятно, какой живой восторгъ возбудило три года тому назадъ во всей читающей публикѣ извѣстіе о новомъ изданіи Пушкина, подъ редакціею г. Анненкова. Послѣ вялости и мелкоты, которою отличалась наша литература за семь или за восемь лѣтъ предъ тѣмъ, это изданіе дѣйствительно было событіемъ не только литературнымъ, но и общественнымъ. Русскіе, любившіе Пушкина какъ честь своей родины, какъ только одного изъ вождей ея просвѣщенія, давно уже пламенно желали новаго изданія его сочиненій, достойнаго его памяти, и встрѣтили предпріятіе г. Анненкова съ восхищеніемъ и благодарностью. И въ самомъ дѣлѣ память Пушкина какъ будто еще разъ повѣяла жизнью и свѣжестью на нашу литературу, точно окропила насъ живой водой и привела въ движеніе наши окостенѣвавшіе отъ бездѣйствія члены. Вслѣдъ за Пушкинымъ вышло третье изданіе «Мертвыхъ Душъ», потомъ второй томъ ихъ, затѣмъ полное изданіе Гоголя, потомъ изданіе Коль-

[1] „Современникъ“, 1858, № 1.

цова съ біографіей его, написанною Бѣлинскимъ... Впрочемъ, нечего и перечислять столь недавніе и общеизвѣстные факты; довольно сказать, что со времени изданія Пушкина, первые томы котораго вышли въ началѣ 1855 года, наша литература оживилась весьма замѣтно, несмотря на громы войны, несмотря на тяжелыя событія, сопряженныя съ войною. Послѣдствія показали, впрочемъ, что эти самыя бѣдствия имѣли весьма полезное значеніе для нашего умственнаго совершенствованія: они заставили насъ и дали намъ возможность получше разсмотрѣть самихъ себя, пооткровеннѣе сообщить другъ другу свои замѣчанія, побольше обратить вниманія на свои недостатки. Литература тотчасъ же явилась у насъ выразительницею общественнаго движенія, и ея дѣятели одушевились сознаніемъ важности своего долга, любовью къ дѣлу, горячимъ желаніемъ добра и правды. Это одушевленіе, при новомъ положеніи литературы, скоро выразилось рѣшительно во всемъ, даже въ библіографіи, бывшей у насъ долгое время безплоднымъ занятіемъ праздполюбцевъ, для развлеченія ихъ скуки. Въ прежнее время библіографы наши подбирали факты ничтожные, вели споры объ обстоятельствахъ пустыхъ, занимались часто рѣшеніемъ вопросовъ ни къ чему не ведущихъ. Мы помнимъ за послѣднія десять лѣтъ множество статеекъ, написанныхъ даже людьми дѣльными и почтенными, но пускавшимися въ такія ненужныя мелочи и дѣлавшими при этомъ такія наивныя ошибки, что со стороны становилось наконецъ досадно, хотя и забавно, смотрѣть на трудолюбивыхъ библіографовъ. И замѣчательно, что цѣлыми годами труда самаго копотливаго — не добывалось тогда ровно никакихъ результатовъ: публику ду-

шили ссылками на №№ и страницы журналовъ, давно отжившихъ свой вѣкъ, а она часто и не знала даже, о чемъ идетъ дѣло. Въ послѣднее время и библіографія перемѣнила свой характеръ: она обратила свое вниманіе на явленія, важныя почему-нибудь въ исторіи литературы, она старается въ своихъ поискахъ по архивамъ и библіотекамъ отыскать что-нибудь дѣйствительно интересное и нерѣдко сообщаетъ читателямъ вещи, доселѣ бывшія вовсе неизвѣстными въ печати. Такъ, напримѣръ, недавно были напечатаны — «Сумасшедшій Домъ» Воейкова, пародія Батюшкова на «Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ» и пр., такъ представлены были (въ «Запискахъ» г. Лонгинова, въ «Сборникѣ» студентовъ Спб. Университета) новыя интересныя свѣдѣнія о мартинистахъ, о Радищевѣ и Новиковѣ и пр. Ставя это въ заслугу библіографамъ послѣднихъ лѣтъ, мы, разумѣется, вовсе не думаемъ этимъ унижать лично прежнихъ дѣятелей. На поприщѣ библіографіи и нынѣ подвизаются, большею частью, тѣ же лица, что и прежде, и слѣдовательно за нынѣшніе полезные труды упрекать ихъ въ прежнихъ безполезныхъ было бы съ нашей стороны совершенно несправедливо. Мы очень хорошо понимаемъ, что удача или неудача библіографа въ сообщеніи читателямъ интересныхъ свѣдѣній весьма часто не зависитъ отъ его воли. Онъ всегда радъ бы печатать все хорошее, но что же дѣлать, если не имѣетъ средствъ къ этому? Личности литературныхъ дѣятелей обвинять за это нельзя, — и мы хотимъ обратить вниманіе читателей на вопросъ именно съ той точки зрѣнія, что въ послѣднее время наша библіографія значительно расширилась въ своихъ предѣлахъ и средствахъ.

Вышедшій нынѣ седьмой томъ Пушкина служитъ однимъ изъ самыхъ яркихъ доказательствъ этого расширенія средствъ нашей библіографіи, особенно въ отношеніи къ возможности и легкости сообщать публикѣ свои находки. Правда, что въ этомъ послѣднемъ отношеніи она еще и теперь далеко не совершенна, даже не удовлетворительна; но все же, какое сравненіе съ тѣмъ, что было прежде — и незадолго прежде! Мы помнимъ, как лѣтъ пять тому назадъ, двое ученыхъ — старый и молодой — ожесточенно ратовали другъ противъ друга за то, какъ нужно произнести одинъ стихъ Пушкина: на четыре *стороны* или *стòроны;* помнимъ, какъ двое молодыхъ ученыхъ глумились другъ надъ другомъ изъ одного вздорнаго стихотворенія, съ подписью Д—гъ, не зная кому приписать его — Дельвигу или Дальбергу. Да мало ли что можно вспомнить изъ этого времени, въ томъ же безвредномъ родѣ, какъ будто вызванномъ отчаяніемъ скуки. И ничего не вышло изъ этихъ споровъ, изслѣдованій и открытій: г. Анненковъ взялъ просто рукописи Пушкина да съ нихъ и напечаталъ большую часть его стихотвореній; библіографическія справки также наведены имъ, кажется, почти совершенно независимо отъ указаній прежнихъ библіографовъ. Говоримъ это потому, что большая часть стихотвореній и отрывковъ, помѣщенныхъ въ VII томѣ, или является нынѣ въ первый разъ въ печати, или указана не ранѣе прошлаго года въ «Библіографическихъ Замѣткахъ» г. Лонгинова. Тамъ имъ указаны были пьесы: «На лирѣ скромной, благородной», «Когда средь оргій жизни шумной», «И нѣкій духъ повѣялъ невидимо» (отрывокъ), нѣсколько строфъ изъ «Евгенія Онѣгина» и

другихъ стихотвореній, нѣсколько эпиграммъ и пр. Объ этихъ произведеніяхъ мы не станемъ говорить, потому что читатели «Современника», вѣроятно, помнятъ ихъ содержаніе, или, по крайней мѣрѣ, характеръ. Изъ стихотвореній, напечатанныхъ нынѣ въ первый разъ, замѣчательны особенно два, относящіяся къ послѣднему времени жизни Пушкина. «Когда по городу задумчивъ я брожу» и «Когда великое свершалось торжество». Оба они напечатаны были въ прошедшей книжкѣ «Современника», и потому о нихъ мы тоже не станемъ распространяться. Изъ ранняго періода дѣятельности Пушкина напечатаны два превосходныя посланія къ Аристарху, силою и серьезностью мысли напоминающія посланіе «Лицинію», а по энергіи выраженія не уступающія лучшимъ ямбамъ Пушкина позднѣйшей эпохи. Чтобы яснѣе обрисовать характеръ выраженія пьесы, приведемъ изъ нея то мѣсто, гдѣ поэтъ опредѣляетъ обязанности своего Аристарха (Пушкинъ, томъ VII, стр. 32).

О, варваръ, кто изъ насъ, владѣлецъ русской лиры,
Не проклиналъ твоей губительной сѣкиры?
Докучнымъ евнухомъ ты бродишь между музъ:
Ни чувства пылкія, ни блескъ ума, ни вкусъ,
Ни слогъ пѣвца „Пировъ", столь чистый, благородный —
Ничто не трогаетъ души твоей холодной!
На все кидаешь ты косой, невѣрный взглядъ,
Подозрѣвая всѣхъ — во всемъ ты видишь ядъ.
Оставь, пожалуй, трудъ, нимало не похвальный:
Парнасъ не монастырь и не гаремъ печальный:
И, право, никогда искусный коновалъ
Излишней пылкости Пегаса не лишалъ.

За этимъ стихомъ въ изданіи г. Анненкова перерывъ: вѣроятно поэтъ допустилъ «нѣкоторые намеки на современныя лица и событія», отъ кото-

рыхъ издатель старался, по его словамъ, *очищать* пьесы Пушкина. Не знаемъ, до какой степени полезно это очищеніе, потому что не имѣемъ подъ руками полной пьесы, но думаемъ, что пьеса нисколько не потеряла бы своего художественнаго значенія, если бы была напечатана вполнѣ. Да если бы и такъ, то все-таки слѣдовало бы выпущенные въ пьесѣ стихи помѣстить хоть въ примѣчаніяхъ. Впрочемъ, такъ какъ этого не сдѣлано и, конечно, по уважительнымъ причинамъ, то мы возвращаемся къ тому, что есть. Поэтъ продолжаетъ свое обращеніе къ Аристарху:

Зачѣмъ себя и насъ терзаешь безъ причины?
Скажи, читалъ ли ты Наказъ Екатерины?
Прочти, пойми его, увидишь ясно въ немъ
Свой долгъ, свои права; пойдешь инымъ путемъ
Въ глазахъ монархини старикъ превосходный
Невѣжество казнилъ въ комедіи народной.
. . . .
Державинъ, бичъ вельможъ, при звукѣ грозной лиры,
Ихъ горделивые разоблачалъ кумиры;
Хемницеръ истину съ улыбкой говорилъ;
Наперсникъ „Душеньки“ двусмысленно шутилъ,
Киприду иногда являлъ безъ покрывала, —
И никому изъ нихъ цензура не мѣшала.
Ты что же хмуришься? Признайся, въ наши дни
Съ тобой не такъ легко бъ раздѣлались они.
Ты въ этомъ виноватъ. Передъ тобой зерцало,
Дней Александровыхъ прекрасное начало:
Провѣдай, что въ тѣ дни произвела печать!
На поприщѣ ума нельзя намъ отступать...

За этимъ стихомъ, заключающимъ въ себѣ столь высокую и благородную мысль, опять находится у г. Анненкова перерывъ, тѣмъ болѣе досадный, что тутъ слѣдовали, вѣроятно, какія-нибудь подробности, которыя могли бы объяснить намъ нѣ-

которые литературные взгляды Пушкина. Но тутъ издатель опять оставляетъ насъ въ недоумѣніи, и за послѣднимъ, приведеннымъ нами, стихомъ слѣдуютъ стихи, заключающіе въ себѣ возраженіе Аристарха, выказывающее его личность въ нѣсколько комическомъ свѣтѣ.

Все правда, скажешь ты, — не стану спорить съ вами.
Но можно ль мнѣ, друзья, по совѣсти судить?
Я долженъ то того, то этого щадить.
Конечно, вамъ смѣшно, а я нерѣдко плачу,
Читаю да крещусь, — мараю наудачу.
На все есть мода, вкусъ. Бывало, напримѣръ,
У насъ въ большой чести Бентамъ, Руссо, Вольтеръ;
А нынче и Миллотъ попался въ наши сѣти.
Я бѣдный человѣкъ; къ тому жъ жена и дѣти...

Разсерженный этой репликою, поэтъ заключаетъ ее, съ своей стороны, слѣдующими стихами:

Жена и дѣти, другъ, повѣрь, — большое зло;
Отъ нихъ все скверное у насъ произошло!

Второе посланіе къ Аристарху, писанное въ томъ же 1827 г., отличается уже тономъ гораздо болѣе умѣреннымъ. Тутъ Пушкинъ уже очень доволенъ тѣмъ, что Аристархъ его разрѣшилъ завѣтные доселѣ эпитеты: *божественный, небесный*, въ приложеніи ихъ къ красотѣ, — и приписываетъ это благотворному вліянію Шишкова, «воспріявшаго тогда правленіе наукъ». Стихи: «Сей старецъ дорогъ намъ» и пр. находятся въ этомъ посланіи. Мысли обоихъ посланій интересно сличить, между прочимъ, съ позднѣйшими «Мыслями о цензурѣ», чтобы видѣть, какимъ образомъ Пушкинъ пріобрѣталъ все болѣе и болѣе умѣренности въ сужденіяхъ объ общественныхъ вопросахъ.

Въ VII томѣ являются также въ первый разъ до-

вольно полные отрывки изъ «Моей родословной» (1830 г.); но и здѣсь она напечатана не вполнѣ, вѣроятно, по тѣмъ же соображеніямъ, по которымъ выкинуты нѣкоторые стихи изъ посланія къ Аристарху. Но нѣкоторые изъ выпущенныхъ стиховъ едва ли могли бы вредить пьесѣ въ какомъ-нибудь отношенія.

Вообще мы не понимаемъ, отчего до сихъ поръ не печатались многія изъ стихотвореній Пушкина, давно извѣстныя въ рукописяхъ и не заключающія въ себѣ ничего предосудительнаго. Ихъ бы тѣмъ скорѣе слѣдовало напечатать, что ихъ вѣдь ужъ знаютъ же почти наизусть всѣ почитатели Пушкина. Напримѣръ, зачѣмъ не напечатаны многія литературныя эпиграммы? Мы не хотимъ подозрѣвать издателя въ согласіи съ мнѣніями «Сѣверной Пчелы» и фельетонистовъ «Русскаго Инвалида»; но все-таки не можемъ не замѣтить, что въ изданіи напрасно сдѣлана эта уступка мнѣніямъ нѣкоторыхъ господъ, которые боятся, чтобы не помрачилась память Пушкина отъ напечатанія его эпиграммъ. Въ «Сѣверной Пчелѣ» недавно помѣщена была благодарность «Инвалиду» за его брань на эпиграммы. Къ этой благодарности «Пчела» отъ себя прибавляетъ сравненіе эпиграммъ и полемическихъ статей Пушкина съ доносомъ Ломоносова на Миллера (хотя еще неизвѣстно, кто, въ отношеніяхъ Булгарина и Пушкина, болѣе приближался къ Ломоносовскому образу дѣйствій), и весьма замысловато замѣчаетъ, что отъ обнародованія этого доноса гораздо болѣе проигралъ въ мнѣніи публики Ломоносовъ, нежели Миллеръ. Изъ этого ясно должно быть выведено заключеніе, что и отъ изданія полемики Пушкина гораздо больше проиграетъ онъ

самъ, нежели гг. Гречъ и Булгаринъ. Такъ думаетъ «Сѣверная Пчела» и осыпаетъ г. Анненкова укоризнами. Спрашивается теперь, къ чему же послужила деликатность г. Анненкова, вездѣ выставившаго только заглавныя буквы именъ тѣхъ, на кого нападалъ Пушкинъ, и даже вмѣсто «Видокъ Фиглярипъ» поставившаго только В. Ф.? Совершенно напрасно думалъ издатель, что гг. Гречъ и Булгаринъ сконфузятся отъ напоминанія о томъ, какъ честилъ ихъ Пушкинъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоило взять одно изъ изданій, выходившихъ подъ редакціею сихъ двухъ журналистовъ во время Пушкина. Не говоря о пошлой брани, расточавшейся тамъ великому поэту, мы нашли бы тамъ, что гг. Булгаринъ и Гречъ все умѣютъ растолковать въ свою пользу! .. Недаромъ же г. Булгаринъ столько лѣтъ подвизался на позорищѣ журнальномъ вмѣстѣ съ Н. И. Гречомъ; недаромъ же про него и аллегорія была сложена, что онъ владѣлъ нѣкогда мечемъ обоюдоострымъ. Нѣтъ, совершенно напрасно было церемониться съ тѣми господами, которые сами не церемонились съ Пушкинымъ и Гоголемъ. Намъ могутъ сказать, что о гг. Гречѣ и Булгаринѣ лучше не говорить, потому что участь ихъ въ литературѣ уже рѣшена ... Пусть имя ихъ своею смертью умреть; пусть ихъ писательская дѣятельность не донесется до потомства, не взирая на то, что ими самими многократно чужая дѣятельность доносима была до свѣдѣнія любителей въ ихъ разборахъ, и еще большею частью въ искаженномъ видѣ ... Это все такъ, и въ литературномъ ничтожествѣ гг. Булгарина и Греча мы нисколько не сомнѣваемся. Но вѣдь объявляютъ же они сами о себѣ, — объявляетъ же, вѣроятно въ трехсотый

разъ, книгопродавецъ Лисенковъ о томъ, что у него *поступили въ продажу* или *могутъ быть получаемы* сочиненія Ѳ. Булгарина, — вышедшія лѣтъ 20 тому назадъ, — о чемъ, впрочемъ, объявленіе благоразумно умалчиваетъ... Напоминаютъ же они о себѣ; отчего же и намъ не напомнить имъ кое-чего? Въ полемику, разумѣется, съ ними никто ужъ вступать не будетъ. Что для нихъ могли бы значить скромные, деликатные намеки и упреки новѣйшаго времени, когда яркія, живыя, энергическія, убійственно-остроумныя статьи Ѳеофилакта Косичкина не могли устыдить ихъ. Имъ сказали, что напрасно они пренебрегаютъ Александромъ Анонмовичемъ Орловымъ, который ничуть не хуже ихъ, а г. Гречъ возразилъ на это, что въ мизинчикѣ г. Булгарина гораздо болѣе ума, чѣмъ въ головахъ многихъ рецензентовъ!.. Зато и досталось имъ за этотъ мизинчикъ... Жаль только, что «настоящій Выжигинъ», обѣщанный Пушкинымъ въ концѣ статьи о мизинчикѣ, — не появился въ свѣтъ. Тамъ, вѣроятно, интересны были бы въ литературномъ отношеніи многія главы, особенно VIII и XV.

Изъ другихъ полемическихъ статей, напечатанныхъ въ VII томѣ, интересенъ «Отрывокъ изъ литературныхъ лѣтописей», съ неподражаемымъ юморомъ разсказывающій исторію о томъ, какъ г. Каченовскій «принималъ другія (нелитературныя) мѣры» противъ игриваго произвола Полевого, «бывъ увлеченъ слѣдствіями неблагонамѣренности, прикосновенными къ чести службы и къ достоинству мѣста, при которомъ г. Каченовскій имѣлъ счастье продолжать оную». Исторія была въ самомъ дѣлѣ забавна, и положеніе почтеннаго профессора крайне незавидно: Пушкинъ скромно и спокойно, но совер-

шенно ясно успѣлъ изобразить дѣйствія Михаила Трофимовича такъ, что для публики не могло оставаться насчетъ ихъ ни малѣйшаго сомнѣнія, особенно при помощи ядовитой эпиграммы: «Обиженный журналами жестоко», — которая появилась въ то же время.

Изъ статей историческихъ въ VII томъ вошли всѣ записки Пушкина, составленныя имъ только какъ матеріалъ для обработки: «Матеріалы для первой главы исторіи Петра Великаго» и «О камчатскихъ дѣлахъ». Обѣ онѣ впервые являются теперь въ печати. Точно также впервые напечатана статья Пушкина о Радищевѣ, совершенно конченная и отдѣланная. Относительно этой статьи мы не можемъ согласиться съ мнѣніемъ издателя, что она принадлежитъ къ тому зрѣлому, здравому и проницательному критическому такту, который отличалъ сужденія Пушкина о людяхъ незадолго до его кончины. — Въ этой статьѣ мы видимъ взглядъ весьма поверхностный и пристрастный. Пушкинъ увлекся здѣсь мыслью единственно о прямодушіи, необходимомъ въ авторскомъ дѣлѣ, и понялъ все дѣло односторонне. Онъ никакъ не хотѣлъ отдѣлить *преступленія печати*, совершеннаго Радищевымъ въ молодости, отъ всей его послѣдующей жизни. Стараясь видѣть въ Радищевѣ полуневѣжду и полунегодяя, Пушкинъ нерѣдко впадаетъ даже въ противорѣчія съ самимъ собою. Въ концѣ статьи онъ говоритъ о немъ съ рѣзкостью, какую рѣдко позволялъ себѣ: «Онъ есть истинный представитель полупросвѣщенія. Невѣжественное презрѣніе ко всему прошедшему, слабоумное изумленіе предъ своимъ вѣкомъ, слѣпое пристрастіе къ новизнѣ, частныя поверхностныя свѣдѣнія, наобумъ приноро-

вленныя ко всему, — вотъ что мы видимъ въ Радищевѣ». Такой приговоръ слишкомъ жестокъ, и эпитеты — слабоумнаго, невѣжественнаго, слѣпого — слишкомъ положительны, чтобы можно было ожидать отъ Пушкина высокаго мнѣнія объ умѣ Радищева. Несмотря на то, мы находимъ, что Пушкинъ, упрекая Радищева за его книгу, говоритъ, что онъ могъ бы лучше прямо представить правительству свои соображенія, потому что оно всегда «чувствовало нужду въ содѣйствіи людей просвѣщенныхъ и мыслящихъ»; такимъ образомъ, поэтъ не отказывается поставить въ число людей «просвѣщенныхъ и мыслящихъ» этого человѣка, которому самъ же приписалъ невѣжество, слабоуміе, поверхностность и пр. Это непослѣдовательно. Или нужно было признать Радищева человѣкомъ даровитымъ и просвѣщеннымъ, и тогда можно отъ него требовать того, чего требуетъ Пушкинъ; или видѣть въ немъ до конца слабоумнаго представителя полупросвѣщенія, и тогда совершенно неумѣстно замѣчать, что лучше бы ему, вмѣсто «брани, указать на благо, которое Верховная власть можетъ сдѣлать, представить правительству и умнымъ помѣщикамъ способы къ постепенному улучшенію состоянія крестьянъ, потолковать о правилахъ, коими долженъ руководствоваться законодатель, дабы, съ одной стороны, сословіе писателей не было притѣснено, и мысль, священный даръ Божій, не была рабой и жертвой безсмысленной и своенравной управы; а съ другой — чтобъ писатель не употреблялъ сего божественнаго орудія къ достиженіюо цѣли низкой или преступной». Зачѣмъ такія высокія требованія отъ человѣка, въ которомъ, тремя строками выше, не признается ничего, кромѣ невѣжества, слабоумія и

пр., — что толковать съ такимъ человѣкомъ?.. Зачѣмъ укорять его, что онъ не сдѣлалъ того, чего мы хотимъ, если мы сами признаемъ, что онъ не могъ этого сдѣлать?.. Но Пушкинъ не одинъ только разъ впадаетъ въ такую ошибку. Въ другомъ мѣстѣ онъ старается оправдать Радищева въ томъ, что онъ подъ старость «перемѣнилъ образъ мыслей и не питалъ уже въ сердцѣ своемъ никакой злобы къ прошедшему». Отъ какого же обвиненія оправдываетъ онъ Радищева? Конечно ужъ не отъ обвиненія въ томъ, что онъ оставилъ свою злобу; само по себѣ это обстоятельство должно было представляться Пушкину очень похвальнымъ. Оправданіе здѣсь возможно было для Пушкина только въ отношеніи къ самому факту *перемѣны* мнѣній. Но стоило ли оправдывать перемѣну мнѣній въ человѣкѣ, который отличается только «*слѣпымъ* пристрастіемъ къ новизнѣ, *поверхностными* свѣдѣніями, *наобумъ* приноровленными ко всему»? Такой человѣкъ, разумѣется, долженъ мѣнять свои мнѣнія тотчасъ, какъ только проходитъ мода на нихъ. Не забудьте, что онъ *слѣпо* увлекается всѣмъ новымъ, не мыслитъ самъ, а только *наобумъ* приноровляетъ ко всему свои поверхностныя свѣдѣнія. Но Пушкинъ считаетъ нужнымъ оправдывать перемѣну Радищева, слѣдовательно, тѣмъ самымъ признаетъ въ немъ искреннія и честныя убѣжденія, оставленіе которыхъ можетъ бросать тѣнь на самый характеръ человѣка. Еще яснѣе выражается, безъ вѣдома автора, уваженіе его къ Радищеву въ самомъ оправданіи, рѣшительно противорѣчащемъ строгому приговору, произнесенному относительно всей дѣятельности этого человѣка вообще. «Время измѣняетъ человѣка, — говоритъ Пушкинъ. — Глупецъ

одинъ не измѣняется, ибо время не приноситъ ему развитія, а опыты для него не существуютъ (слѣдовательно Радищевъ не былъ глупъ, не былъ невѣжественнымъ представителемъ полупросвѣщенія, а постоянно развивался и пользовался опытами времени). Могъ ли чувствительный и пылкій Радищевъ не содрогнуться при видѣ того, что происходило во Франціи во время *ужаса?* (слѣдовательно онъ не *слѣпо* увлекался всѣмъ новымъ). Могъ ли онъ безъ омерзѣнія глубокаго слышать нѣкогда любимыя свои мысли, проповѣдуемыя съ высоты гильотины, при гнусныхъ рукоплесканіяхъ черни? (гдѣ же тутъ слабоумное изумленіе передъ своимъ вѣкомъ?) Увлеченный однажды львинымъ ревомъ колоссальнаго Мирабо, онъ уже не хотѣлъ сдѣлаться поклонникомъ Робеспьера, этого сантиментальнаго тигра» (значитъ ли это, что онъ наобумъ примѣнялъ ко всему свои поверхностныя свѣдѣнія?)... Выразивши такимъ образомъ, противъ воли, высокія понятія о Радищевѣ, котораго непремѣнно хочетъ выставить съ дурной стороны, поэтъ-критикъ разсказываетъ вслѣдъ затѣмъ смерть Радищева и поводъ къ ней, съ явнымъ желаніемъ и тутъ осудить его. Дѣло происходило такимъ образомъ. Императоръ Александръ, по вступленіи на престолъ, вспомнилъ о Радищевѣ и, замѣтивши въ сочинителѣ «Путешествія» «отвращеніе отъ многихъ злоупотребленій и нѣкоторые благонамѣренные виды», опредѣлилъ его въ комиссію составленія законовъ и приказалъ ему изложить свои мысли касательно нѣкоторыхъ гражданскихъ постановленій. Радищевъ исполнилъ это со всею откровенностью и смѣлостью своихъ задушевныхъ убѣжденій. Начальникъ, которому принесъ онъ свой проектъ, замѣ-

тилъ ему: «Эхъ, Александръ Николаевичъ! охота тебѣ пустословить попрежнему! или мало тебѣ было Сибири?» — Видя, что убѣжденія его принимаются такимъ образомъ, Радищевъ глубоко оскорбился и, пришедши домой, отравилъ себя. Разсказывая эту исторію, Пушкинъ, какъ бы съ намѣреніемъ кольнуть Радищева, замѣчаетъ, что «авторъ ‹Путешествія› вспомнилъ старину и въ проектѣ, представленномъ начальству, предался своимъ прежнимъ мечтаніямъ». Объ этомъ обстоятельствѣ, вѣроятно, забылъ Пушкинъ, когда высказалъ свое требованіе, чтобы Радищевъ, вмѣсто брани, представилъ лучше свои соображенія, и пр. Несчастный авторъ, вѣрно, зналъ себя и обстоятельства, въ которыхъ онъ находился, гораздо лучше, нежели его безпощадный критикъ.

Въ заключеніе своей статьи авторъ спрашиваетъ: «какую цѣль имѣлъ Радищевъ? Чего именно желалъ онъ?» И говоритъ за него: «на сіи вопросы врядъ ли могъ онъ самъ отвѣчать удовлетворительно», то есть, по мнѣнію Пушкина, несчастный авторъ, печатая свое «Путешествіе», самъ не понималъ, къ чему онъ это дѣлаетъ, и не имѣлъ въ виду никакой опредѣленной цѣли. Мы не будемъ входить въ разсмотрѣніе того, справедливо ли это мнѣніе само по себѣ, но замѣтимъ, что такое сужденіе противорѣчитъ другому мѣсту той же самой статьи, гдѣ Пушкинъ говоритъ: «Не можемъ въ немъ не признать преступника съ духомъ необыкновеннымъ, *политическаго фанатика,* заблуждающагося, конечно, но дѣйствующаго съ удивительнымъ самоотверженіемъ и съ какою-то рыцарскою совѣстливостью». Если онъ былъ фанатикомъ только заблуждающимся въ своихъ стремленіяхъ, то значитъ

все-таки у него была же какая-нибудь цѣль, къ которой онъ стремился. Фанатизмъ непремѣнно долженъ привязываться къ какому-нибудь предмету, и намъ кажется, что невозможно представить себѣ фанатика, который бы не зналъ, чѣмъ онъ увлекается. Возможно ли же примирить сужденія Пушкина, что Радищевъ былъ политическимъ фанатикомъ, и чтобы, несмотря на то, онъ не имѣлъ никакой цѣли въ своемъ поступкѣ?

Вообще нужно замѣтить, что статья о Радищевѣ любопытна какъ фактъ, показывающій, до чего можетъ дойти умъ живой и свѣтлый, когда онъ хочетъ непремѣнно подвести себя подъ извѣстныя, заранѣе принятыя опредѣленія. Въ частныхъ сужденіяхъ, въ фактахъ, представленныхъ въ отдѣльности, постоянно виденъ живой, умный взглядъ Пушкина; но общая мысль, которую доказать онъ поставилъ себѣ задачей, ложна, неопредѣленна и постоянно вызываетъ его на сбивчивыя и противорѣчащія фразы. Къ сожалѣнію, статья о Радищевѣ представляетъ не единственный примѣръ подобнаго несправедливаго увлеченія. Онъ составилъ себѣ кругъ идей, которыя уже были для него неприкосновенны въ своей святынѣ, хотя бы даже несправедливость ихъ и была очевидна. Онъ уже восклицаетъ:

Да будетъ проклятъ правды гласъ,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, къ соблазну жадной
Онъ угождаетъ праздно.

Проклиная правду, когда она благопріятна была для посредственности, и наивно признаваясь въ этомъ, поэтъ, разумѣется, старался поддерживать въ себѣ всякій обманъ, казавшійся ему благород-

нымъ и возвышеннымъ. «Насъ возвышающій обманъ» былъ для него, дѣйствительно, дороже тьмы *низкихъ* истинъ. Въ раздѣленіи истинъ на низкія и высокія опять отражалось, разумѣется, вліяніе старой реторической школы, допускавшей еще и *среднія* истины, также точно какъ допускала она высокій, средній и низкій слогъ. И Пушкинъ, при всемъ своемъ презрѣніи къ реторической школѣ, не могъ отъ нея освободиться въ этомъ случаѣ и въ послѣднее время жизни, вмѣстѣ съ полнымъ обращеніемъ его къ чистой художественности, усилилось въ немъ пристрастіе къ нѣкоторымъ исключительнымъ истинамъ, соединенное съ отвращеніемъ отъ другихъ. Онъ уже заглушалъ въ себѣ нѣкоторые изъ прежнихъ сердечныхъ звуковъ, называя ихъ дѣйствіемъ безумства, лѣни и страстей, онъ уже позволилъ себѣ въ одномъ стихотвореніи назвать наглецомъ Наполеона, о которомъ самъ писалъ за десять лѣтъ: «да будетъ омраченъ позоромъ тотъ малодушный, кто безумнымъ омрачитъ укоромъ его развѣнчанную тѣнь . . . » Прежнія задушевныя мечты высказывались теперь уже тономъ шутливымъ и даже насмѣшливымъ, а то, что въ молодости вызывало насмѣшки, теперь возбуждало въ поэтѣ благоговѣйное умиленіе. Прежде писалъ онъ къ одному изъ друзей гордое посланіе (не напечатанное почему-то у г. Анненкова, въ которомъ повѣрялъ своему другу свои надежды и мечты о славѣ пророка-обличителя земли своей; а черезъ нѣсколько лѣтъ онъ писалъ:

Но въ сердцѣ, бурями смиренномъ,
Теперь и лѣнь и тишина,
И въ умиленьи вдохновенномъ
На камнѣ, дружбой освященномъ,
Пишу я наши имена.

Не мудрено, что при такомъ расположенiи ему очень не нравилось все, что мѣшало лѣни и тишинѣ, и что по этому случаю Радищевъ заслужилъ особенное его нерасположенiе.

Впрочемъ, здравый природный умъ предохранялъ Пушкина отъ излишнихъ крайностей въ принятомъ имъ направленiи, и, при всемъ недостаткѣ серьезнаго образованiя, онъ умѣлъ понимать ошибки людей, заходившихъ слишкомъ далеко въ примѣненiи тѣхъ началъ, вѣрности которыхъ онъ самъ, повидимому, вполнѣ довѣрялъ. Въ этомъ обстоятельствѣ мы находимъ ясное подтвержденiе того, что направленiе, принятое Пушкинымъ въ послѣднiе годы, вовсе не исходило изъ естественныхъ потребностей души его, а было только слѣдствiемъ слабости характера, не имѣвшаго внутренней опоры въ серьезныхъ, независимо развившихся убѣжденiяхъ и потому скоро павшаго отъ утомленiя въ борьбѣ съ внѣшними враждебными влiянiями. Оттого-то въ послѣднiе годы его жизни мы видимъ въ немъ какое-то странное боренiе, какую-то двойственность, которую можно объяснить только тѣмъ, что, несмотря на желанiе успокоить въ себѣ сомнѣнiя, проникнуться какъ можно полнѣе заданнымъ направленiемъ, — все-таки онъ не могъ освободиться отъ живыхъ порывовъ молодости, отъ гордыхъ, независимыхъ стремленiй прежнихъ лѣтъ. До сихъ поръ въ печати извѣстны были почти только тѣ произведенiя послѣднихъ лѣтъ жизни Пушкина, въ которыхъ выражалось, болѣе или менѣе ярко, направленiе, господствовавшее въ немъ въ эти последнiе годы. Нынѣ изданный дополнительный томъ сообщаетъ много произведенiй совершенно противоположнаго характера, и они-то доказыва-

ютъ, что Пушкинъ и предъ концомъ своей жизни далеко еще не всей душою преданъ былъ тому направленію, которое принялъ, повидимому, такъ пламенно, которое зато произвело охлажденіе къ нему въ лучшей части его почитателей. Извѣстно напр., что въ послѣднее время въ немъ особенно сильно развились генеалогическіе предразсудки; но нынѣ напечатанное стихотвореніе: «Когда по городу задумчивъ я хожу» обнаруживаетъ воззрѣніе совершенно чистое, равно какъ и нѣкоторые стихи пьесы, озаглавленной «Изъ VI Пиндемонте» и написанной, также какъ и «Кладбище», въ 1836 г. Въ ней есть, между прочимъ, такіе стихи:

Не дорого цѣню я громкія права,
Отъ коихъ не одна кружится голова.
Я не ропщу о томъ, что отказали боги
Мнѣ въ сладкой участи оспаривать налоги,
Или мѣшать... другъ съ другомъ воевать...
... Иныя, лучшія мнѣ дороги права
. . . . Никому
Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать...
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи...
... Вотъ счастье! вотъ права!...

Извѣстно также, что въ стихотвореніяхъ Пушкина, и чѣмъ позднѣе, тѣмъ ярче, постоянно высказывалось чрезмѣрное уваженіе къ штыку и презрѣніе къ оружію слова. Судя по знаменитому стиху: «Кому вѣнецъ? мечу иль крику?» предполагали не безъ основанія, что Пушкинъ рѣшительно не признавалъ силы убѣжденія; между тѣмъ напечатанныя нынѣ статьи его о Радищевѣ, о мнѣніи г. Лобанова, о нападкахъ на дворянство доказываютъ, что онъ придавалъ очень большое значеніе — не только вообще литературѣ, но даже и тѣмъ памфлетическимъ

возгласамъ, которые именно можно назвать крикомъ. Слѣдовательно до конца жизни онъ не былъ рѣшительнымъ, слѣпымъ поклонникомъ грубой силы, не оживленной разумностью.

Въ послѣднее время Пушкинъ окончательно также склонился, повидимому, къ той мысли, что для исправленія людей нужны «бичи, темницы, топоры», а не сила слова, не сатира, не литературное обличеніе. Онъ отталкивалъ отъ себя общественные вопросы жестокимъ восклицаніемъ:

Подите прочь! какое дѣло
Поэту мирному до васъ?...

Но нынѣ, въ VII томѣ, напечатано его стихотвореніе, въ которомъ онъ самъ хочетъ приняться за сатиру и клеймить пороки. Стихотвореніе это написано въ 1830 г., слѣдовательно въ то же время какъ и пресловутая «Чернь». Начинается это стихотвореніе такъ:

О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный кличъ,

а оканчивается:

О, сколько лицъ безстыдно блѣдныхъ,
О, сколько лбовъ широко мѣдныхъ
Готовы отъ меня принять
Неизгладимую печать!...

Поэтъ, какъ мы знаемъ, не исполнилъ своего предположенія; но уже самое намѣреніе его служитъ лучшимъ опроверженіемъ мыслей, высказанныхъ въ «Черни» и увлекшихъ многихъ силою своего выраженія.

Въ отношеніи къ сужденіямъ о нѣкоторыхъ литературныхъ явленіяхъ Пушкинъ тоже является не всегда вѣренъ самому себѣ. Боязливая попечитель-

ность о соблюденіи нравственности, похожая на заботу жены Платона Михайлыча о здоровьѣ своего мужа въ «Горѣ отъ ума», все больше и больше овладѣвала Пушкинымъ въ послѣдніе годы жизни. Онъ приходилъ въ ужасъ отъ изданія «Записокъ палача Самсона» и говорилъ, что слѣдовало бы запретить ихъ. Но онъ же, въ послѣдній годъ своей жизни, очень энергически возсталъ противъ г. Лобанова, когда сей академикъ произнесъ въ академіи рѣчь «о нелѣпости и безнравіи» современной литературы, и говоритъ, что «по множеству сочиненныхъ нынѣ безнравственныхъ книгъ цензура должна проникать всѣ ухищренія пишущихъ», и что Академія должна ей помогать въ этомъ, «яко сословіе, учрежденное для наблюденія нравственности, цѣломудрія и чистоты языка», то есть для того, чтобы «неослабно обнаруживать, поражать и разрушать зло» на поприщѣ словесности. Пушкинъ возражалъ на это слѣдующей репликой, которая также напечатана въ изданномъ томѣ, и которую мы считаемъ не лишнимъ выписать для того, чтобы показать, что и въ самыхъ уклоненіяхъ своихъ отъ здравыхъ идей, въ самомъ подчиненіи рутинѣ Пушкинъ не доходилъ никогда до обскурантизма и даже поражалъ, когда могъ, обскурантизмъ другихъ. Вотъ его мысли, опровергающія г. Лобанова.

Но гдѣ же у насъ это множество безнравственныхъ книгъ? Кто сіи дерзкіе, злонамѣренные писатели, ухищряющіеся ниспровергать законы, на коихъ основано благоденствіе общества? и можно ли упрекать у насъ цензуру въ неосмотрительности и послабленіи? Вопреки мнѣнію г. Лобанова, цензура не должна *проникать всѣ ухищренія пишущихъ.* Цензура долженствуетъ обращать особенное вниманіе на духъ разсматриваемой книги, на видимую цѣль и намѣреніе автора, и *въ сужденіяхъ своихъ*

принимать всегда за основаніе ясный смыслъ рѣчи, не дозволяя себѣ произвольнаго толкованія оной въ дурную сторону. (Уставъ о цензурѣ, § 6.) Такова была Высочайшая воля, даровавшая намъ литературную собственность и свободу мысли! Если съ перваго взгляда сіе основное правило нашей цензуры и можетъ показаться льготою чрезвычайною, то по внимательнѣйшемъ разсмотрѣніи увидимъ, что безъ того не было бы возможности напечатать ни одной строчки, ибо всякое слово можетъ быть перетолковано въ худую сторону". (Т. VII, стр. 109, второй нумераціи.)

Мы коснулись всего наиболѣе замѣчательнаго въ дополнительномъ томѣ сочиненій Пушкина. О литературныхъ отрывкахъ, помѣщенныхъ въ концѣ тома, сказать нечего; они интересны только въ томъ отношеніи, въ какомъ «всякая строка всякаго великаго писателя интересна для потомства». Читая ихъ, мы можемъ припоминать знакомыя черты, знакомые пріемы любимаго поэта; но подобные отрывки не подлежатъ критическому разбору.

Въ заключеніе мы должны сказать нѣсколько словъ о самомъ изданіи. Оно аккуратно попрежнему; опечатокъ значительныхъ не много; въ правописаніи сохраняются своенравныя ошибки Пушкина (такъ, напримѣръ, писатель, отечество — печатаются съ большой буквы, а Горацій — съ маленькой); при каждой статьѣ находятся примѣчанія, большею частью библіографическія; въ концѣ тома приложены: алфавитный указатель всѣхъ сочиненій Пушкина, помѣщенныхъ въ семи томахъ изданія г. Анненкова, и подробный указатель къ матеріаламъ для біографіи Пушкина, помѣщеннымъ въ первомъ томѣ того же изданія. Этотъ послѣдній указатель значительно облегчаетъ пользованіе матеріалами, которое до сихъ поръ было нѣсколько затрудни-

тельно, по недостатку раздѣленія ихъ на главы. Теперь съ изданіемъ VII тома Пушкина, дѣло г. Анненкова кончено, и всякій любитель литературы, кромѣ развѣ людей сочувствующихъ издателямъ «Сѣверной Пчелы», почтитъ, конечно, искренней благодарностью его труды по изданію нашего великаго поэта какъ истинную заслугу предъ русской литературой и обществомъ.

1857.

Сочиненія графа В. А. Соллогуба.

Спб. 1855—1856. *Пять томовъ.*

Тѣ, которые слѣдятъ за русской литературой только по петербургскимъ журналамъ, могли думать до прошлаго года, что графъ Соллогубъ въ последнія восемь—десять лѣтъ почти совсѣмъ оставилъ литературное поприще: такъ рѣдко слышались въ литературѣ хоть какія-нибудь напоминанія объ этомъ писателѣ, нѣкогда столь извѣстномъ и любимомъ. Общее молчаніе о немъ въ послѣднее время было тѣмъ болѣе странно, что никакъ не соотвѣтствовало тѣмъ восторгамъ, какіе возбуждало начало его литературной дѣятельности. Дебютъ графа Соллогуба былъ счастливое, свѣтлое время русской литературы. Живая еще тогда утрата Пушкина возбуждала въ публикѣ, даже еще болѣе чѣмъ при его жизни, горячее участіе къ чтенію и изученію его произведеній, а между тѣмъ въ то же время новыя надежды возбуждала другая яркая звѣзда русской поэзіи, — такъ мгновенно блеснувшая и закатившаяся, — Лермонтовъ. Въ то время какъ онъ писалъ своего «Героя», — Гоголь, въ полной силѣ своего таланта и славы, готовилъ уже «Мертвыя души», и въ то же время критика гоголевскаго періода, окрѣпши въ своихъ силахъ, смѣло пошла

впередъ и сдѣлалась выразительницею мнѣній лучшей части русской публики. При такомъ положеніи дѣлъ трудно было обратить на себя вниманіе писателю безъ замѣчательной силы таланта, безъ особенныхъ литературныхъ достоинствъ. Графъ Соллогубъ несомнѣнно обладалъ этой силою таланта и этими достоинствами, потому что съ перваго своего шага на литературномъ поприщѣ онъ возбудилъ живѣйшій восторгъ тогдашней публики и критики. Кто знаетъ нашу журналистику сороковыхъ годовъ, тотъ вспомнитъ, сколько шумныхъ, восторженныхъ похвалъ расточала графу Соллогубу, сколько высокихъ, блестящихъ достоинствъ находила въ его произведеніяхъ критика того времени. Имя графа Соллогуба упоминалось рядомъ съ именами Гоголя и Лермонтова, въ повѣстяхъ его находили высокую художественность, глубокія идеи, удивительное знаніе человѣческаго сердца, необыкновенно умное и живое изученіе быта всѣхъ слоевъ нашего общества, безукоризненное изящество, соединенное съ полной естественностью въ представленіи всѣхъ лицъ и положеній въ разсказѣ, вдохновенное, согрѣтое сердечнымъ чувствомъ краснорѣчіе, живое, веселое остроуміе, и пр., и пр. Публика соглашалась со всѣмъ этимъ и жадно перечитывала повѣсти Соллогуба, оставляя для него и фразера Марлинскаго, и приторнаго Полевого, и веселаго Загоскина и фантастическаго Вельтмана. Съ каждымъ годомъ слава графа Соллогуба росла, — и, нужно признаться, онъ умѣлъ ее поддерживать: за «Исторіей двухъ галошъ» слѣдовалъ «Большой свѣтъ», за нимъ — «Аптекарша», потомъ «Медвѣдь», далѣе «Теменевская ярмарка» . . . Всѣ эти произведенія, явившіяся въ теченіе пяти лѣтъ, одно

за другимъ, стояли другъ друга, и критика имѣла полное право говорить, что «графъ Соллогубъ не перестаетъ обогащать русскую литературу новыми созданіями изящнаго пера своего». Но такой постоянный успѣхъ не увлекъ блестящаго автора «Большого свѣта». Онъ занимался литературой какъ дилеттантъ, онъ хорошо понималъ, что дѣлаетъ ей нѣкоторое одолженіе, становясь въ ряды ея дѣятелей, и неоднократно, — мимоходомъ, намекомъ, но тѣмъ не менѣе ясно и твердо, — выражалъ, что смотритъ на нее нѣсколько свысока... 1845 годъ былъ самымъ блестящимъ и — увы! последнимъ годомъ его славной литературной дѣятельности. Намѣреваясь разстаться съ своими почитателями, графъ Соллогубъ усилилъ, предъ концомъ, свою дѣятельность, чтобы оставить добрую память по себѣ въ своихъ поклонникахъ. Въ это время издалъ онъ двѣ книжки: «Вчера и сегодня» и «Тарантасъ». То и другое было встрѣчено съ обычнымъ восторгомъ. Вскорѣ авторъ «Тарантаса» появился съ новыми повѣстями: «Балъ», «Двѣ минуты» и «Княгиня» (соединенными въ нынѣшнемъ изданіи подъ однимъ заглавіемъ: «Жизнь свѣтской женщины»), — и затѣмъ замолкъ надолго, — по крайней мѣрѣ для обычнаго литературнаго круга. Имя его продолжало, правда, появляться на афишахъ Александринскаго театра при заглавіяхъ новыхъ водевилей, оно украшало нѣсколько времени фельетонъ «Иллюстраціи»; мелкія статьи, стихотворенія, шутки, историческія и статистическія замѣтки графа Соллогуба печатались въ «Запискахъ Кавказскаго Отдѣла Географическаго Общества», въ газетѣ «Кавказъ», въ «Зурнѣ», въ нижегородскихъ и симбирскихъ «Губернскихъ Вѣдомостяхъ» и т. п. Эти

статьи заняли цѣлыхъ три тома въ изданномъ нынѣ собраніи сочиненій графа Соллогуба, состоящемъ изъ пяти томовъ... Но, къ сожалѣнію, все это было чуждо любознательности большинства русскихъ читателей, и потому никакъ не могло быть названо новымъ обогащеніемъ русской литературы. Публика слѣдила за литературой по журналамъ, а журналисты совсѣмъ не заботились о томъ, чтобы извлекать перлы созданій изящнаго беллетриста изъ малоизвѣстныхъ изданій. Только драма «Мѣстничество» да повѣсть «Старушка» порадовали многочисленныхъ почитателей графа Соллогуба; да и въ этихъ созданіяхъ нѣкоторые заносчивые критики примѣтили будто бы упадокъ таланта, нѣкогда столь прекраснаго. Ихъ мнѣніе не встрѣтило сильнаго противорѣчія, не возбудило ожесточенной полемики; повидимому, читателямъ и критикѣ было рѣшительно все равно, какъ бы кто ни думалъ о талантѣ графа Соллогуба. Имя его потеряло прежнюю привлекательность и далеко отодвинулось отъ именъ Пушкина, Гоголя и Лермонтова, къ которымъ, бывало, прибавлялось непосредственно. Новыя имена, новыя произведенія заняли собою вниманіе публики, и никто не высказывалъ сожалѣній, что «столь даровитый беллетристъ пересталъ дарить нашу бѣдную литературу высоко-художественными произведеніями изящнаго пера своего»... О немъ не вспоминали, о немъ перестали говорить, имъ перестали интересоваться, —

.... и скоро позабытый,
Надъ міромъ онъ прошелъ безъ всякаго слѣда... И пр.

Положеніе писателя, пережившаго свою литературную славу, не должно быть слишкомъ пріятно. Для автора «Тарантаса» это обстоятельство, конеч-

но, менѣе имѣло значенія, чѣмъ для всякаго другого: онъ былъ вѣдь только дилеттантомъ литературы... Но все же послѣ шумныхъ похвалъ, громкихъ рукоплесканій, пламенныхъ восторговъ и т. п. — вдругъ безвѣстно заглохнуть въ тихомъ забвеніи, не прерывая еще при томъ своей дѣятельности, — какъ хотите, — а это незавидное положеніе. И мы не можемъ обвинить графа Соллогуба, чтобы онъ былъ нечувствителенъ къ охлажденію публики и не хотѣлъ возвратить ея благосклонности. Онъ дѣлалъ множество самыхъ разнообразныхъ попытокъ, чтобы привлечь на себя вниманіе публики. Онъ пробовалъ себя во всѣхъ родахъ литературы, такъ что едва ли кто изъ русскихъ писателей можетъ поспорить съ нимъ въ этомъ отношеніи, — развѣ Александръ Петровичъ Сумароковъ, своей всеобъемлемостью равнявшійся господину Вольтеру. Въ самомъ дѣлѣ, не довольствуясь славою превосходнаго разсказчика, графъ Соллогубъ пробовалъ себя и въ лирическомъ родѣ, — писалъ альбомныя стихотворенія, описанія весны, серенады, казацкія пѣсни и даже оды-симфоніи; подвизался и на драматическомъ поприщѣ, сочиняя драмы, комедіи, водевили, пословицы и оперы; вступалъ и въ ряды фельетонистовъ, описывая петербургскую жизнь, симбирскіе спектакли и тифлисскія иллюминаціи. Онъ рѣшился даже изъ свѣтлой сферы поэзіи спуститься въ область смиренной прозы и сдѣлался статистикомъ, этнографомъ, историкомъ, біографомъ, туристомъ, даже критикомъ и историкомъ литературы... Онъ составлялъ точныя свѣдѣнія «объ измѣненіяхъ на Лезгинской линіи», описывалъ весьма тщательно «Алагирскій серебро-свинцовый заводъ», изображалъ грузинскіе нравы въ окрест-

постяхъ Тифлиса, составилъ біографію генерала Котляревскаго, написалъ «Нѣсколько словъ о началѣ кавказской словесности».

Все это было неизвѣстно доселѣ любителямъ литературы; но въ прошломъ году все это издано авторомъ въ пятомъ томѣ его сочиненій, подъ общимъ названіемъ: «Салалакскіе досуги», — названіе, пріятно напоминающее «Чаталагайскія оды» «Славянскіе вечера» и т. п. Вмѣстѣ съ разнообразіемъ позднѣйшихъ произведеній графа Соллогуба, замѣчательна еще ихъ животрепещущая современность, также свидѣтельствующая въ пользу его благосклоннаго вниманія къ нашей публикѣ. Были въ модѣ благотворительные спектакли, — онъ писалъ пьесы для благотворительныхъ спектаклей (какъ говоритъ въ примѣчаніи къ пьесѣ — «Сотрудники»). Поднялось въ Петербургѣ цвѣтобѣсіе, — онъ написалъ водевиль «Букеты». Обратилъ на себя вниманіе въ 1848 г. славянскій вопросъ, и вмѣстѣ съ нимъ громче прежняго сталъ выражаться вопросъ о старинномъ русскомъ бытѣ, — у графа Соллогуба явилась драма изъ старинной русской жизни — «Мѣстничество». Острякъ Вивье ввелъ въ моду въ Петербургѣ пускать мыльные пузыри, — авторомъ «Салалакскихъ досуговъ» написана была шутка — «Мыльные пузыри». Событія послѣдней войны вызвали у него біографію Котляревскаго и оду-симфонію: «Россія предъ врагами», оканчивающуюся русскимъ народнымъ гимномъ «Боже, Царя храни». — Словомъ, графъ Соллогубъ никогда не пренебрегалъ современностью, никогда не прикидывался непонятымъ, непризнаннымъ, презирающимъ толпу, а, напротивъ, всегда старался угождать ея вкусу, старался идти наряду съ вѣкомъ, не отста-

вать отъ современныхъ вопросовъ и не выходить изъ ряда современныхъ литературныхъ дѣятелей. Постоянство его усилій было наконецъ, въ прошломъ году, увѣнчано полнымъ успѣхомъ. Онъ взялся за одинъ изъ самыхъ живыхъ общественныхъ вопросовъ и основалъ на немъ комедію, которая снова обратила вниманіе публики и критики на талантъ графа Соллогуба. Читатели помнятъ, безъ сомнѣнія, какіе шумные толки возбуждены были въ прошломъ году комедіею «Чиновникъ», благодаря блестящей критикѣ г. Павлова. Къ сожалѣнію, въ этихъ толкахъ болѣе обращали вниманіе на возбужденный вопросъ и на критическій талантъ г. Павлова, нежели на достоинства таланта графа Соллогуба. Результатомъ всѣхъ толковъ было опять полное равнодушіе къ автору «Чиновника», не измѣнившееся ни при полномъ изданіи его сочиненій, ни при новой пьесѣ, написанной имъ для столѣтняго юбилея русскаго театра. Это явленіе — замѣчательный фактъ въ исторіи нашей литературы, и оно требуетъ разбора болѣе подробнаго.

Кого винить въ этой перемѣнѣ общаго мнѣнія? Автора или публику? Авторъ, какъ легко предположить и какъ мы уже видѣли отчасти, никогда не хотѣлъ этого. Напротивъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ сильнѣе желалъ онъ одобренія, тѣмъ болѣе онъ придавалъ значенія литературной извѣстности. Вотъ что говоритъ онъ въ предисловіи къ изданію своихъ мелкихъ стихотвореній въ 1855 г.:

.... Кто единожды молвы
Отраву горькую извѣдалъ,
Кто бредъ тревожной головы
Хоть разъ читателю повѣдалъ,
Тотъ отуманится ужъ такъ,

И столько хмеля наберется,
Что онъ, какъ пьяница въ кабакъ,
Такъ въ типографію и рвется.
Во всемъ лиха бѣда — начать,
И вотъ, читатель благосклонный,
Зачѣмъ отважно я въ печать
Пустилъ свой стихъ неугомонный.
Но ты, принявъ сей тощій томъ,
Уваживъ скромное признанье,
Не будешь гнѣвенъ въ дѣлѣ томъ,
Гдѣ ты и судъ и оправданье.

Какъ видите, со стороны автора не было недостатка въ охотѣ и доброй волѣ для пріобрѣтенія новыхъ успѣховъ. Онъ не игралъ роли Расина и Россини, упорно хранившихъ, въ теченіе многихъ лѣтъ, строгое молчаніе, несмотря на мольбы своихъ поклонниковъ. Отчего же новыя произведенія графа Соллогуба не встрѣчали такого восторженнаго пріема, какъ первыя его повѣсти? Мы уже упомянули, что нѣкоторые находили причину этого въ упадкѣ таланта блестящаго беллетриста. Это мнѣніе заслуживаетъ вниманія, и оно легко можетъ быть повѣрено теперь, когда всѣ произведенія графа Соллогуба собраны и изданы вмѣстѣ. Мы рѣшаемся взяться за эту повѣрку тѣмъ съ большею охотою, что она даетъ намъ удобный случай высказать нѣсколько замѣчаній объ особенныхъ чертахъ таланта графа Соллогуба вообще.

Оставляя въ сторонѣ разные общественные вопросы, направленія и обстоятельства, обращая вниманіе только на субъективную сторону произведеній графа Соллогуба и прослѣдивши ихъ всѣ въ ихъ последовательномъ порядкѣ, отъ «Исторіи двухъ галошъ» до «Года военныхъ дѣйствій за Кавказомъ», мы можемъ сказать прямо и положительно

что въ сущности талантъ графа Соллогуба нисколько не измѣнился. Онъ и теперь отличается тѣмъ же характеромъ, направленіемъ, пользуется тѣми же внѣшними пособіями, выражаетъ тѣ же внутреннія убѣжденія, даже употребляетъ тотъ же способъ выраженія, какъ и прежде. Только иногда дѣлаетъ онъ уступки современнымъ требованіямъ, сдерживая свои собственныя чувства и стремленія; но эта сдержанность, по нашему мнѣнію, придаетъ еще болѣе цѣны тѣмъ чертамъ, которыя хотятъ, но не могутъ укрыться за нею. При томъ сдержанность эта, — какъ признается самъ авторъ, — явилась у него вслѣдствіе жизненной опытности и яснѣйшаго сознанія требованій искусства. Онъ говоритъ о своемъ «Тарантасѣ»: «Тогда не разсчетливая, сухая опытность водила перомъ, а *неразборчивое чувство* само-собою бросалось на бумагу, *не сдерживаясь разсудкомъ*, не признавая рѣзкихъ *предѣловъ, поставляемыхъ искусствомъ и жизнью*» (Т. V, стр. 455). Такимъ образомъ, по собственному сознанію автора, разница между первыми и послѣдними его произведеніями состоитъ въ томъ, что онъ сталъ теперь опытнѣе, болѣе сталъ сдерживаться разсудкомъ и яснѣе созналъ предѣлы, полагаемые искусствомъ и жизнью. Согласитесь, что все это можетъ способствовать скорѣе возвышенію, нежели упадку таланта. И въ самомъ дѣлѣ, мы должны сознаться, что во многихъ мѣстахъ позднѣйшихъ произведеній графа Соллогуба талантъ его кажется намъ созрѣвшимъ и укрѣпившимся, а совсѣмъ не упавшимъ. Начнемъ хоть съ самаго ничтожнаго и внѣшняго признака — способа выраженія. До сихъ поръ весьма мало обращали вниманія на одну особенность графа Соллогуба, въ этомъ отношеніи

равняющую его чуть ли не съ самимъ Марлинскимъ, — на его блистательное краснорѣчіе въ описаніяхъ и въ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ. Г. Павловъ обратилъ, правда, вниманіе на краснорѣчіе Надимова, но разсматривалъ его совсѣмъ съ другой стороны, почти не касаясь изящной выработки слога. Мы же хотимъ сказать именно объ этомъ достоинствѣ графа Соллогуба, которое совершенно несправедливо было пренебрегаемо нашей критикой, такъ много толковавшей о краснорѣчіи Марлинскаго. Приведемъ для подтвержденія нашего отзыва два описанія: одно изъ нихъ написано графомъ Соллогубомъ, другое Марлинскимъ.

Вотъ описаніе метели:

Вдругъ вся природа содрогается. Летитъ метель на крыльяхъ вихря. Начинается что-то непонятное, чудное, невыразимое. Земля ли въ судорогахъ рвется къ небу, небо ли рушится на землю? — но все вдругъ смѣшивается, вертится, сливается въ адскій хаосъ. Глыбы снѣга, какъ исполинскіе саваны, подымаются, шатаясь, кверху и, клубясь съ страшнымъ гуломъ, борются между собой, падаютъ, кувыркаются, разсыпаются и снова подымаются еще больше, еще страшнѣе. Кругомъ ни дороги, ни слѣда. Метель со всѣхъ сторонъ. Тутъ ея царство, тутъ ея разгулъ, тутъ ея дикое веселье....

А вотъ описаніе грозы:

Меркло. Тучи плескались, какъ волны по небу, — грозили залить ледяной островъ Шагъ-дага. Только одно его темя блистало еще снѣгомъ, пылало огнемъ солнца, какъ душа поэта, какъ жерло вулкана. Другіе хребты — слѣва, справа, отвсюду вздымались великанскими головами одинъ надъ другимъ, одинъ за другимъ, все выше и синѣе, и мрачнѣе, подобно чудовищнымъ валамъ, вздутымъ Божіимъ гнѣвомъ въ страшный день потопа.... Подъ кипучею пѣной облаковъ, казалось, они идутъ, идутъ грозные, крутятся, падаютъ горами, разступаются безднами; прыщутъ и

воютъ! *Ливень бичуетъ, хлещетъ, гонитъ ихъ, догоняетъ насъ.... Дорога шумитъ и несется водопадомъ.... прорывается небо, земля тонетъ....*

Не правда ли, что эти отрывки очень схожи? Фигуры нарушенія, повторенія, единоначатія и т. п. украшенія реторики щедро разсыпаны въ томъ и другомъ. Пріемъ и манера рѣшительно тѣ же. Весь секретъ состоитъ, главное, въ подборѣ эпитетовъ почти синонимическихъ, въ умѣстномъ повтореніи нѣкоторыхъ глаголовъ и въ искусномъ избѣжаніи союза *и*, который, какъ извѣстно, *связываетъ* рѣчь. Краснорѣчивыя описанія, чтобы не лишиться своей свободы, большею частью вовсе не употребляютъ его, а если и употребляютъ, то не иначе какъ съ повтореніемъ — попарно. Необходимо также при этомъ обращать вниманіе и на звучность фразы.

Разсматривая съ этой стороны краснорѣчіе графа Соллогуба, находимъ, что онъ не пренебрегъ рѣшительно ни одной мелочью, какая только могла служить для украшенія его слога. Его описаніе метели, по нашему мнѣнію, рѣшительно не уступаетъ описанію грозы у Марлинскаго.

Мы не хотимъ дѣлать длинныхъ выписокъ, да онѣ и не нужны. Каждый изъ читателей самъ весьма легко можетъ найти краснорѣчивыя страницы въ сочиненіяхъ графа Соллогуба: ихъ такъ много вышло изъ-подъ изящнаго пера его! Мы здѣсь замѣтимъ только, какъ онъ съ теченіемъ времени подчинялся требованіямъ современности въ самомъ слогѣ своихъ произведеній, и для этого приведемъ описаніе метели изъ другого его произведенія, писаннаго нѣсколько позже, чѣмъ то, изъ котораго отрывокъ приведенъ нами выше.

Вотъ это описаніе:

Вдругъ рванулъ вѣтеръ,— снѣгъ повалилъ хлопьями, бѣлое небо слилось съ бѣлой землей; снѣжные столбы начали вздыматься, качаться и кружиться по воздуху. Дорогу мигомъ занесло.... Лошади дрожали и едва могли идти противъ бури . .

И только. Ранѣе разсказывается уже о томъ, какъ кучеръ принялся отыскивать дорогу. А между тѣмъ какъ бы хорошо опять могла разыграться фантазія автора, — какую чудную картину могло нарисовать здѣсь краснорѣчивое перо его! Но разсказъ, изъ котораго мы взяли эти строки («Иванъ Васильевичъ на Кавказѣ»), писанъ уже въ одинъ изъ послѣднихъ годовъ, когда авторъ сталъ «сдерживаться разсудкомъ и созналь *предѣлы, полагаемые искусствомъ и жизнью*». Поэтому описаніе его вышло короче, сообразнѣе съ требованіями современныхъ читателей. Неужели и въ этомъ не видно совершенствованіе, а не упадокъ таланта?

А какъ говорятъ герои и героини разсказовъ графа Соллогуба, — свѣтскіе люди большого свѣта! Боже мой, какъ они говорятъ! хоть сейчасъ отправьте ихъ на состязаніе съ любымъ членомъ парламента! И что всего замѣчательнѣе, — каждый изъ героевъ, принимаясь говорить, дѣлается самъ не свой. Онъ уже не помнитъ, что онъ, гдѣ онъ, съ кѣмъ онъ, забываетъ и свой характеръ, и степень своего образованія, и свои убѣжденія. Входя въ паөосъ краснорѣчія, онъ уже какъ будто не самъ говоритъ, — просто

Какимъ-то демономъ внушаемъ....

И какъ краснорѣчиво и длинно! .. Въ продолженіе каждаго изъ спичей этихъ героевъ можно по-

рядочно выспаться... Право... Василій Иванычъ такъ и дѣлалъ обыкновенно, слушая Ивана Васильича, и еще всегда поспѣвалъ отвѣтить что-нибудь на его заключительную фразу. А тотъ и радъ, и опять понесется.

Мы останавливаемся на этой особенности повѣстей графа Соллогуба потому, что доселѣ критики наши сумѣли отмѣтить ее только у двухъ замѣчательныхъ писателей — Марлинскаго и Полевого. Мы рѣшительно утверждаемъ, что авторъ «Исторіи двухъ галошъ» и «Чиновника» не только не уступитъ имъ въ этомъ отношеніи, а даже, можетъ быть, и превзойдетъ ихъ. Судите сами.

Вотъ объясняется Левъ (по имени):

Да, милая, любовь вездѣ и повсюду: она и въ пылинкахъ, сливающихся въ кристаллы; она на вѣткѣ дерева и въ дикой берлогѣ; она въ чашечкѣ цвѣтка, равно какъ въ сердцѣ человѣка; она въ свѣтилахъ земли и въ мірахъ небесныхъ!... И пр.

Вотъ объясненіе Медвѣдя (по званію):

— Нѣтъ, я вѣрую, что у каждаго человѣка должна быть своя прекрасная минута; вѣрую, что вы ниспосланы Небомъ освѣтить свѣтлымъ лучомъ мое теперешнее одиночество. Кроткая душа ваша сжалилась надъ сиротскою моею жизнью, и теперь, благодаря вамъ, я счастливъ, я силенъ, я гордъ судьбой своей....

Глаза молодого человѣка засверкали....

— Вотъ видите ли, здѣсь, подъ этимъ чистымъ небомъ, подъ этими деревьями — душа расширяется, сердце наполняется радостью.... О, какое было бы блаженство если бъ....

Онъ не посмѣлъ кончить...

А вотъ еще объясненіе Льва (по званію) о томъ же предметѣ:

— Повѣрьте, источники истинныхъ наслажденій должны быть непорочны, чисты. Любовь, не освященная супруже-

ствомъ, чѣмъ бы она ни извинялась, всегда будетъ преступна, и голосъ совѣсти всегда восторжествуетъ. Теперь хоть и говоритъ романическая школа, что бракъ — одно только пустое условіе: но это — коварный обманъ; не вѣрьте ему. Люди, которые излагаютъ свѣтскимъ женщинамъ подобныя правила, обнаруживаютъ не любовь свою а холодное презрѣніе....

Несмотря на разницу тона, въ этихъ трехъ рѣчахъ удивительно много общаго. Возвышенныя фразы, пышная книжность выраженій ярко обнаруживаютъ сильное чувство говорящаго. Разница же зависитъ единственно отъ разницы положеній. Левъ Марлинскаго, человѣкъ съ пылкими страстями, высказываетъ свою любовь мечтательной Ольгѣ по тому поводу, что она испугалась грозы; медвѣдь Соллогуба, человѣкъ застѣнчивый, неловкій, нелюдимый, — хотя очень умный, — говоритъ съ княжной, свѣтской, избалованной, вѣтреной дѣвушкой; левъ Соллогуба разсуждаетъ въ маскарадѣ съ маской, которую онъ считаетъ невинной провинціалкой, своей невѣстой, недавно пріѣхавшей изъ деревни. При такихъ обстоятельствахъ — отъ медвѣдя и отъ льва даже трудно бы ожидать такого блестящаго краснорѣчія; но авторъ самъ потрудился за нихъ и вложилъ имъ въ уста такую изящную, краснорѣчивую рѣчь, какой и не слыхано доселѣ между русскими людьми. Графъ Соллогубъ помнилъ, вѣроятно, правило Карамзина, что у насъ должно не писать такъ, какъ говорятъ, а говорить такъ, какъ напишетъ человѣкъ со вкусомъ, и хотѣлъ дать образецъ для подражанія нашимъ салоннымъ героямъ. Доселѣ попытка его еще мало, кажется, имѣла успѣха, но мы надѣемся, что современемъ она принесетъ полезные плоды и найдетъ достойныхъ подражателей въ нашихъ гостиныхъ. Эту на-

дежду, кажется, раздѣляетъ съ нами и самъ графъ Соллогубъ. Несмотря на всѣ измѣненія современнаго вкуса, онъ неуклонно продолжаетъ свою методу — заставлять создаваемыя имъ лица говорить такъ, какъ они *не говорятъ*, но *какъ должны говорить.* Въ этомъ отношеніи мы не находимъ ни малѣйшей разницы между первымъ и послѣднимъ произведеніемъ графа Соллогуба. Въ «Исторіи двухъ галошъ» молодой человѣкъ толкуетъ съ своимъ товарищемъ о славѣ слѣдующимъ образомъ:

„Слава, товарищъ, слава! Видишь отсюда? Толпа, покорная предъ именемъ твоимъ, волнуется передъ тобой; всюду гремитъ молва о твоей славѣ. Слава, слава тебѣ!.. Женщины кидаютъ тебѣ вѣнки; мужчины съ завистью рукоплещутъ тебѣ: бѣдный артистъ сдѣлается владыкой толпы; геній возьметъ свое мѣсто: музыка восторжествуетъ!... А я смиренно пойду за тобой и буду кидать цвѣты на славный путь твой...“ И пр.

Это было писано въ 1839 году. А въ 1856 г. — кто же не помнитъ, какъ объяснялся г. Надимовъ, крича, что надо крикнуть на всю Россію, и пр. Способъ выраженія тотъ же самый. Мало этого: въ пьесѣ «Ночь передъ свадьбой или Грузія черезъ 1000 лѣтъ», авторъ увѣряетъ, что въ 2853 г. будутъ выражаться слѣдующимъ образомъ:

„Благодарю васъ, друзья мои, что вы такъ радушно приняли мое приглашеніе. Согласіе между артистами, отсутствіе мелочнаго самолюбія для пользы искусства — вотъ что отличаетъ ваше полезное сословіе. Сядь сюда, прекрасный иностранецъ.... они тебя разсѣютъ“...

Все это убѣждаетъ насъ, что талантъ графа Соллогуба нисколько не измѣнился и блеститъ попрежнему, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ искусству выраженія. Рѣчь его и его героевъ всегда

изящна и выработана, ее такъ и хочется слушать, къ ней никакъ уже нельзя приложить послѣднихъ двухъ стиховъ извѣстнаго четверостишія:

Съ кого они портреты пишутъ,
Гдѣ разговоры эти слышутъ?
А если и случалось имъ,
Такъ мы ихъ слышать не хотимъ.

Намъ замѣтятъ, можетъ быть, что все краснорѣчіе да краснорѣчіе — утомительно; слишкомъ обточенныя и звучно-пышныя фразы не могутъ нравиться постоянно. Мы совершенно согласны, тѣмъ болѣе, что это даетъ намъ случай выставить предъ взоромъ взыскательнаго читателя новое достоинство слога графа Соллогуба: у него не вездѣ краснорѣчіе, а есть еще блестящее, поразительное остроуміе. Здѣсь опять авторъ «Мыльныхъ пузырей» совершенно несправедливо обиженъ судомъ критики и публики. О его остроуміи говорили всегда только мимоходомъ, какъ о достоинствѣ очень и очень второстепенномъ, между тѣмъ какъ авторъ нашъ, очевидно, съ чрезвычайной любовью и усердіемъ занимается подборомъ остроумныхъ фразъ, любитъ пощеголять ими и съ нѣкоторымъ самодовольствіемъ выставляетъ ихъ на потѣху читателей, даже повторяя удачныя остроты въ различныхъ своихъ сочиненіяхъ. И при всемъ томъ — кричатъ объ остроуміи барона Брамбеуса, восхищаются остротами Петербургскаго Туриста, рукоплещутъ въ театрѣ каламбурамъ Каратыгина 2-го, и никто не признаетъ остроумія, какъ особеннаго достоинства, за графомъ Соллогубомъ. А это одно изъ самыхъ постоянныхъ, *неувядаемыхъ* его свойствъ. Съ нимъ онъ началъ свое поприще, съ нимъ и продолжалъ его постоянно и неизмѣнно. На первой страницѣ

первой его повѣсти говорится: «Бѣдныя галоши! люди, которые исключительно имъ обязаны тѣмъ, что они находятся *на приличной ногѣ* въ большомъ свѣтѣ, прячутъ ихъ со стыдомъ и неблагодарностью въ уголкахъ передней. И какъ, скажите, не позавидовать имъ *блестящей* участи своихъ однослуживокъ, счастьемъ избалованныхъ лайковыхъ перчатокъ? Ихъ то и дѣло что *на рукахъ носятъ»*, и пр. Черезъ 8 лѣтъ авторъ «Исторіи галошъ» говорилъ въ своихъ замѣткахъ объ одномъ литераторѣ, Максимѣ Ивановичѣ: «одѣтъ онъ всегда въ черное, вѣроятно, въ ознаменованіе того, что привыкли держать литературу *въ черномъ тѣлѣ* . . .». Не правда ли, какое милое остроуміе?.. А въ другомъ, еще позднѣйшемъ произведеніи графа Соллогуба развѣ не остроуменъ слѣдующій разговоръ:

Семенъ. Помилуйте, должокъ такой бездѣльный...

Гоня. Оттого-то и не отдаютъ, что онъ бездѣльный: будь онъ дѣльный, такъ и говорить бы не стали.

Семенъ. Да какъ же, батюшка, неужели, по-вашему пятнадцать рублей за три мѣсяца не дѣльная деньга?

Гоня. И говорить не смѣй, что онъ недѣльный: онъ мѣсячный...

Или вотъ это — развѣ не остроумно?

Ольговичъ. Вотъ, въ особенности, не уронилъ ли ты моей диссертаціи о землѣ Тмутараканской?

Сидоръ. Помилуйте-съ: она тяжелая...

Прохоръ (не расслышавъ). Какъ съ?.. въ господскомъ домѣ нѣтъ-съ; — а вотъ у насъ, такъ много, — не знаемъ какъ сладить.

Ольговичъ. Я это привезъ въ подарокъ хозяину.

Прохоръ (въ сторону). Вишь, чудакъ, съ какими подарками ѣздитъ!

Не правда ли, что эти созвучія такъ и напоминаютъ пріятные и знаменитые каламбуры: «Сколь-

ко зла-то отъ злата! .. Моего гнѣва не залить Невой. — Не вой, дружище, не вой», и т. п. . . . А вѣдь не пріобрѣли они такой знаменитости! Всему, подумаешь, своя судьба... И каламбуры sua fata habent.

А каково простодушіе Прохора? Не правда ли, что оно совершенно, какъ нельзя болѣе въ русскомъ духѣ, и даже приводитъ на мысль ту прибаутку о глухомъ, въ которой разсказывается, какъ кумъ разспрашивалъ, куда онъ ходилъ, и какъ кумъ потерялъ наконецъ терпѣніе въ разспросахъ, и что изъ того вышло?..

Но пора намъ оставить восхищеніе внѣшними достоинствами графа Соллогуба. Ихъ трудно передать въ разборѣ и пересказѣ; надобно читать самому сочиненія автора «Метели» и «Сотрудниковъ», чтобы вполнѣ понять и оцѣнить ихъ краснорѣчіе и остроуміе. Поэтому мы переходимъ теперь къ другой сторонѣ таланта графа Соллогуба, болѣе серьезной и внутренней: это его наблюдательность, его необыкновенное умѣнье изображать бытъ всѣхъ сословій. Дѣятельность графа Соллогуба поражаетъ насъ въ этомъ отношеніи прежде всего необыкновеннымъ разнообразіемъ. Главное его вниманіе устремлено, разумѣется, на большой свѣтъ, на львовъ и львицъ; но онъ ими не ограничивается. Въ произведеніяхъ его встрѣчаются вамъ и медвѣди, и студенты, и чиновники, и аптекари, и помѣщики-степняки, и помѣщики-вельможи, и художники, и купцы, и нѣмцы-ремесленники, и русскіе солдаты, ямщики, старосты церковные, и простые поселяне, и старинные русскіе бояре, и новѣйшіе литераторы различныхъ кружковъ, и пр., и пр., всего не перечтешь. У него описываются и великосвѣтскіе балы, и маскарадныя интриги, и студент-

скія пирушки, и семейное счастье, и несчастье, и ночлеги на постояломъ дворѣ, и провинціальное гостепріимство, словомъ, все что хотите... Передъ вами рисуется здѣсь и шумная жизнь Петербурга, и мирное спокойствіе нѣмецкаго городка, и сердитое спокойствіе нашей губернской жизни, и наша уѣздная безжизненность. Всюду, отъ великолѣпнѣйшихъ палатъ до бѣднѣйшихъ хижинъ, проникъ графъ Соллогубъ своимъ зоркимъ взглядомъ, и всюду умѣлъ отмѣтить болѣе характеристическія особенности. Въ послѣднее время это умѣнье, какъ и другія достоинства графа Соллогуба, нисколько не уменьшилось; напротивъ, кругъ его наблюдательности еще расширился: онъ присоединилъ къ прежнимъ своимъ опытамъ и изученіямъ цѣлую обширную страну — Грузію съ Кавказомъ. Такимъ образомъ, позднѣйшія его произведенія получаютъ новый, особенный колоритъ оригинальности, свѣжести и величія, благодаря вліянію края, столь благодѣтельно дѣйствующаго всегда на нашихъ лучшихъ поэтовъ. Оригинальность графа Соллогуба выразилась особенно въ пьесѣ: «Грузія черезъ тысячу лѣтъ». Здѣсь, вдохновенный прекрасной страной, авторъ отважно предается своимъ мечтамъ объ усовершенствованіи наукъ, искусствъ и жизни человѣчества и рисуетъ намъ картину грузинскаго быта въ 2853 году. Тогда, по его понятіямъ, женщины и дѣти будутъ исправлять должности чиновниковъ и полицейскихъ, потому что это дѣло самое легкое... Тогда человѣкъ спасающій другого будетъ благодарить спасеннаго, извиняться передъ нимъ... Но — мы не можемъ удержаться, чтобы не привести вполнѣ этой сцены, свидѣтельствующей о будущемъ превращеніи всѣхъ нынѣшнихъ понятій.

Дѣло въ томъ, что Кайхосро, женихъ Кетеваны, привязанъ къ трубѣ одного тифлисскаго дома Шамилемъ, съ которымъ Кетевана вздумала бѣжать на воздушномъ шарѣ... Кайхосро стоитъ привязанный и мычитъ. Вдругъ — въ трубѣ слышна баркаролла, изъ трубы вылѣзаетъ трубочистъ и говоритъ:

— Что это за человѣкъ, привязанный къ трубѣ? Не помочь ли ему? Можетъ быть, онъ не разсердится. Помогу, въ самомъ дѣлѣ! Трубочисты люди отважные (развязываетъ). Милостивый государь, вы свободны теперь. Позвольте мнѣ всеуниженно благодарить васъ.

Кайхосро. За что же? (Надо замѣтить, что Кайхосро вдругъ просыпается, проспавши 1000 лѣтъ, и потому остается еще съ нынѣшними понятіями: это дѣлаетъ прекрасный контрастъ, отлично оттѣняющій всю картину.)

Трубочистъ. За то, что вы доставили мнѣ неоцѣненный случай оказать вамъ одолженіе.

Кайхосро. Да кажется, мнѣ бы должно...

Трубочистъ. Вы не будете сердиться на меня, что я имѣлъ счастье прислужиться вамъ?

Кайхосро. Что вы?..

Трубочистъ. Не обижайтесь пожалуйста. Позабудьте это. Я не хотѣлъ сдѣлать вамъ ничего непріятнаго, не хотѣлъ внушить вамъ грустнаго чувства благодарности. Виноватъ, простите меня.

Кайхосро. Не понимаю.

Трубочистъ. Не мстите мнѣ только. Я бѣдный человѣкъ. Вамъ легко будетъ меня уничтожить. Трубочисты и безъ того всегда въ черномъ тѣлѣ...

Разговоръ еще продолжается въ этомъ родѣ, трубочистъ становится на колѣни передъ Кайхосро и проситъ у него поцѣловать ручку, называя его своимъ благодѣтелемъ и истинно-великодушнымъ человѣкомъ. Но мы останавливаемся на этомъ, чтобы замѣтить здѣсь, какъ просвѣщеніе распространится черезъ тысячу лѣтъ въ Россіи: каламбуръ о черномъ тѣлѣ, сказанный недавно графомъ Сол-

логубомъ въ примѣненіи къ русской литературѣ. будетъ черезъ тысячу лѣтъ повторяться трубочистомъ, уже въ приложеніи къ нему, къ трубочисту... Мы даже думаемъ, что именно желаніе вложить этотъ каламбуръ въ уста трубочиста заставило автора написать всю эту сцену. По понятіямъ его, черезъ тысячу лѣтъ все будетъ дѣлаться машинами, и даже вотъ до какой степени. Карапетъ, отецъ Кетеваны, выходитъ на кровлю своего дома, чтобы посмотрѣть, что дѣлается на улицѣ. Вдругъ ему захотѣлось спать. Онъ заводитъ ключомъ отверстіе *въ трубѣ*, изъ окна выѣзжаетъ кровать, которую подталкиваетъ машина съ колесами и пружинами. Карапетъ говоритъ: «Машина, положи меня: машина, накрой меня; машина, погаси свѣчу и отвези въ комнату». Машина все это исполняетъ, и Карапетъ уѣзжаетъ, говоря: «Ну, а теперь я самъ засну...» Когда только стоитъ завести ключомъ отверстіе въ трубѣ, чтобы произвести такія чудеса, то — скажите — многаго ли стоитъ завести машину для чистки трубъ? Къ чему же здѣсь трубочистъ? Очевидно, не для чего иного, какъ для каламбура...

Свѣжесть и величіе выразились особенно въ послѣднихъ стихотвореніяхъ графа Соллогуба. Подъ живительнымъ вліяніемъ Кавказа, онъ воспѣвалъ весну такими стихами:

Отчего, подобье рая,
Изумрудная весна,
Ожиданьямъ измѣняя,
Въ дни живительнаго мая
Ты сурова и грозна?
Что тебя такъ взволновало?
Все тобой оживлено,
Ты всѣхъ радостей начало,
И тебѣ еще ли мало
Богомъ счастія дано?.. И пр.

Въ виду величественнаго Кавказа вылились изъ души его слѣдующіе стихи торжественной оды-симфоніи:

Законъ любви живетъ у насъ издавна:
„Одинъ за всѣхъ и всѣ за одного!"
Вотъ чѣмъ силенъ народъ нашъ православный,
И почему орелъ самодержавный
Не убоится никого!..

Изъ всего этого очевидно, что въ изображеніяхъ быта, природы и чувствъ талантъ графа Соллогуба не только не утратилъ своей силы въ послѣднее время, но еще пріобрѣлъ новыя блестящія достоинства. При всемъ томъ, новѣйшая критика взвела на него обвиненіе, какое прежде и въ голову никому не приходило. Она вздумала упрекать графа Соллогуба въ томъ, что у него есть только даръ внѣшней наблюдательности, которой, по мнѣнію новой критики, очень недостаточно. По понятіямъ графа Соллогуба, — говоритъ критика, — нарядить графиню по модѣ, поставить передъ ней вазу съ цвѣтами, убрать ея столъ разными бездѣлками, посадить ее въ кресла, обитыя бархатомъ, заставить непремѣнно ѣздить верхомъ, постлать коверъ, вынуть у нея изъ головы всякую мысль, а изъ сердца всякое путное чувство — это значитъ изобразить свѣтскую женщину, графиню... Но, — продолжаетъ критика, — этого мало: вѣдь въ свѣтской женщинѣ, въ графинѣ, несмотря на то, что она графиня, можетъ также быть воображенье, тонкость ума, живость чувства, какое-нибудь пониманіе того, что дышитъ, движется, мыслитъ и чувствуетъ около нея... Въ произведеніяхъ графа Соллогуба критика не находитъ ничего этого, и потому не признаетъ ихъ достоинствъ. Но, по нашему мнѣнію, критика со-

всѣмъ не права: каждый писатель имѣетъ полное право изображать предметъ съ той стороны, съ которой его видитъ. Что же дѣлать, если ему не представлялось свѣтскихъ женщинъ чувствующихъ, понимающихъ, и пр.? Графъ Соллогубъ еще въ «Большомъ свѣтѣ» заранѣе отвѣтилъ всѣмъ подобнымъ критикамъ, замѣтивши, что въ петербургскихъ обществахъ царствуетъ какая-то вялость, которая отдаляетъ на почтительную дистанцію всякій поэтическій вымыселъ, и что «въ большомъ свѣтѣ только и есть внѣшность и внѣшность. — Рѣзкія драмы внутренней жизни, — прибавляетъ онъ, — скрываются въ глубинѣ души, въ тайнѣ кабинета, подальше отъ насмѣшливыхъ взоровъ, тогда какъ внѣшняя жизнь тянется однообразно и прилично, безъ измѣненій и страстей». Эту-то однообразную и приличную жизнь большого свѣта и взялся изобразить графъ Соллогубъ, и — нужно сознаться — изобразилъ ее превосходно. Наблюдательности внутренней, анализа душевныхъ ощущеній, умѣнья проникнуть въ духъ и смыслъ жизни — авторъ «Чиновника» и «Большого свѣта» никогда себѣ и не приписывалъ. Онъ открыто говоритъ, что только описываетъ то, что всеедневно и обыкновенно встрѣчается въ жизни, что у каждаго предъ глазами, — но что онъ совсѣмъ не хочетъ заглядывать въ душу своихъ героевъ... Слѣдовательно, критика съ этой стороны не можетъ предъявлять слишкомъ строгихъ требованій. Но зато жизнь внѣшнюю авторъ «Тарантаса» умѣетъ описывать съ рѣдкимъ искусствомъ. Раскройте одну изъ страницъ, на которыхъ помѣщаются его удивительныя описанія, и вы изумитесь подробности и точности, съ какою здѣсь перечислены и перемѣчены всѣ предметы. И

гдѣ какая скляночка стоитъ въ аптекѣ, и какія безделки разбросаны на столѣ франта, и сколько сальныхъ огарковъ и пустыхъ баночекъ валяется на окнахъ у станціоннаго смотрителя, и насколько полиняла матерія, которой обиты стулья у бѣднаго чиновника, и сколько складокъ на платьѣ у княгини, и какая сбруя у ея лошадей, — все до послѣдней мелочи описано съ необыкновенной подробностью... И такое перечисленіе всѣхъ предметовъ составляетъ полную и живую картину быта, дополняемую разговорами дѣйствующихъ лицъ, большею частью очень краснорѣчивыми и остроумными... Въ особенности описанія великосвѣтскаго общества хороши у графа Соллогуба. Онъ изображаетъ его съ любовью, съ нѣжностью, вникаетъ въ малѣйшіе, едва уловимые оттѣнки различныхъ его явленій, разбираетъ его съ увѣренностью знатока и близкаго человѣка. Это, впрочемъ, совершенно натурально: авторъ «Большого свѣта» самъ живетъ среди этого общества; онъ кровно связанъ съ нимъ, онъ ежедневно видитъ передъ глазами «эту бѣдную картину этого бѣднаго свѣта», какъ онъ самъ выражается... Не мудрено, что онъ такъ хорошо ее описываетъ: онъ полагаетъ здѣсь часть души своей, выражаетъ самого себя, разсказываетъ здѣсь часть собственной исторіи. И вотъ почему мы болѣе вѣримъ графу Соллогубу въ изображеніи великосвѣтской жизни, нежели всѣмъ его критикамъ. Ему бы, можетъ быть, и хотѣлось представить близкую ему среду въ розовомъ свѣтѣ; но, какъ талантъ истинный, онъ преклонился предъ строгой истиной, и нарисовалъ намъ, въ разныхъ своихъ произведеніяхъ, картину большого свѣта мрачную, но истинную. Попробуемъ собрать разсѣянныя черты и составить

изъ нихъ общее понятіе о большомъ свѣтѣ, какимъ онъ рисуется въ произведеніяхъ графа Соллогуба. Постараемся говорить его собственными словами.

Здѣсь все раболѣпствуетъ предъ значеніемъ, счастьемъ, богатствомъ, модой... Въ свѣтѣ первая добродѣтель — наружность, и человѣкъ цѣнится здѣсь не за то, что онъ есть, а за то, чѣмъ онъ кажется... Здѣсь странный угаръ людей, вѣчно танцующихъ, вѣчно разряженныхъ, вѣчно ищущихъ чего-то; изъ тайной надежды показаться чѣмъ-нибудь повыше, позначительнѣе сосѣда, мужчины жертвуютъ своимъ благородствомъ, женщины своимъ достоинствомъ... Смѣшно и странно видѣть большой свѣтъ наизнанку. Сколько происковъ, сколько невѣдомыхъ подарковъ, сколько родныхъ и племянниковъ, сколько нищеты щегольской, сколько веселой зависти!.. Одно слово все живитъ и двигаетъ... и какое слово!.. самое безсмысленное — тщеславіе!..

Какъ проходитъ жизнь свѣтской женщины? О чемъ она думаетъ? Она думаетъ, что Лядовъ хорошо играетъ на скрипкѣ, что розовый цвѣтъ ей къ лицу, что въ такой-то лавкѣ получены такіе-то наряды, что у такой-то дамы прекрасные брильянты, что тотъ волочился, другой волочится, а третій будетъ за нею волочиться. Иногда смущаютъ ее скучныя домашнія заботы. Но о нихъ она не думаетъ, думать не хочетъ. Домъ ея ей чужой. У нея нѣтъ дома. Ея домъ, ея жизнь — это свѣтъ, неугомонный, разряженный, болтливый, танцующій, играющій, тщеславный, взволнованный и ничтожный. Вотъ ея сфера, вотъ ея доля, вотъ для чего она родилась!

А вотъ свѣтскій человѣкъ:

Вы его видали вездѣ. Кресла у него въ театрѣ всегда въ первомъ ряду, вслѣдствіе какихъ-то особенныхъ знакомствъ. Лорнетъ у него стклянной, бумажный. Въ театрѣ онъ свой человѣкъ... Онъ не то чтобы хорошъ, не то чтобы дуренъ, — не то чтобъ уменъ, не то чтобы глупъ, не богатъ и не бѣденъ. Въ большомъ свѣтѣ онъ занимаетъ какое-то почетное мѣсто отъ особаго искусства танцовать постоянно мазурку съ модной красавицей, и заво-

дить дружбу съ первостатейными любезниками и франтами... Онъ кое-чѣмъ и занимался. Онъ читалъ всего Бальзака и слышалъ о Шекспирѣ. Что же касается до наукъ, то онъ имѣетъ понятіе объ англійскомъ парламентѣ, о крѣпости Бильбао, о свекловичномъ сахарѣ, о паровыхъ каретахъ и о лордѣ Лондондерри.

Такова яркая картина пустоты большого свѣта, начертанная графомъ Соллогубомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что она согласна съ истиной. И какъ же въ такой средѣ искать мысли, чувства, убѣжденій? Не понятно ли, почему авторъ «Большого свѣта» обратилъ исключительное вниманіе на внѣшность въ своихъ изображеніяхъ? Пріемъ этотъ былъ естественъ и до того сдѣлался привыченъ ему, что былъ перенесенъ имъ на изображенія другой среды, другого быта. Въ этомъ можно бы упрекнуть графа Соллогуба; но оправданіемъ ему служитъ все-таки та среда, въ которой онъ самъ жилъ и воспитался, изъ которой смотрѣлъ онъ и на другіе классы общества. Онъ, разумѣется, не могъ проникнуться ихъ духомъ, потому что былъ уже проникнутъ духомъ большого свѣта; не могъ вполнѣ понять ихъ нуждъ, жить ихъ жизнью, потому что преданъ былъ свѣтской жизни. Оттого-то и купцы, и художники, и крестьяне выходятъ у него на одну стать съ той же пустотой и безжизненностью, съ какой изображаются имъ свѣтскіе люди... За это обвинять нельзя, какъ нельзя обвинять человѣка за то, что онъ не всемогущъ и не всеобъемлющъ. При этомъ намъ вспомнилось одно остроумное замѣчаніе изъ пьесы графа Соллогуба: «Мастерская русскаго живописца». Иванъ Кузьмичъ разсказываетъ о своемъ художникѣ изъ дворовыхъ: «Отличный мастеръ!... Русскій, а не хуже иностранца..

Одинъ только у него недостатокъ, разумѣется, не важный, — людей писать не умѣетъ. Зато — я вамъ доложу — на звѣряхъ собаку съѣлъ... А какъ человѣка начнетъ писать, все какъ-то на звѣря смахиваетъ...». Мы согласны съ Иваномъ Кузьмичемъ: недостатокъ, дѣйствительно, не важный... Художникъ можетъ и не умѣть изображать людей; мы его не обвинимъ за это, если только онъ умѣетъ хорошо представить — хоть свѣтскихъ львовъ и медвѣдей... А мы видѣли, что у графа Соллогуба всѣ они обрисовываются превосходно, не удаются они ему только тогда, когда вздумаютъ разсуждать и походить на людей... Тогда ихъ краснорѣчіе и остроуміе явно обнаруживаетъ, что говорятъ не они, а самъ авторъ за нихъ сочиняетъ крылатыя рѣчи.

Во всѣхъ произведеніяхъ графа Соллогуба, дѣйствительно, повторяется типъ одного звѣря, выразившійся особенно ярко въ Иванѣ Васильичѣ. Прежняя критика не хотѣла видѣть въ Иванѣ Васильичѣ ни малѣйшей частички субъективности автора, и всѣ разсужденія этого промотавшагося дворянчика относила прямо и исключительно къ его шутовской личности... Но мы имѣемъ основаніе думать иначе. Иванъ Васильичъ, по нашему мнѣнію, принадлежитъ къ общему разряду типовъ, постоянно воспроизводимыхъ авторомъ «Тарантаса». Это типъ вотъ какого рода. Онъ не богатъ и не слишкомъ бѣденъ; характеръ имѣетъ добрый и мягкій отъ природы, образованіе получилъ поверхностное (нерѣдко въ Дерптскомъ университетѣ). По окончаніи курса втянулся онъ въ большой свѣтъ; лѣзетъ изъ кожи, чтобы поддержать на себѣ приличную внѣшность, дѣлаетъ долги, кланяется важнымъ лицамъ,

унижается, подличаетъ, волочится за модными красавицами, къ которымъ ничего не чувствуетъ. При столкновенiи съ другимъ кругомъ людей онъ увлекается непремѣнно какимъ-нибудь чувствомъ (отъ непривычки къ чужой сферѣ), а потомъ опять легкомысленно жертвуетъ этимъ чувствомъ для своихъ обязанностей въ отношенiи къ свѣту . . . Если онъ не промотается, то будетъ свѣтскимъ человѣкомъ до конца, т. е. до выгодной женитьбы; если же поддерживать себя нечѣмъ, кредитъ потерянъ, то онъ спокойно исчезаетъ въ безвѣстности. Ни правилъ, ни взглядовъ у него нѣтъ; онъ по легкомыслiю готовъ совершить доблестный подвигъ, также какъ и покуситься на гнуснѣйшее преступленiе . . . Онъ почти никогда не думаетъ, а только кричитъ, повторяя то, что слышалъ отъ другихъ, и слова его никогда не сходятся съ поступками . . .

Авторъ самъ, какъ видно, не сознаетъ иногда полнаго согласiя своихъ типовъ, и къ однимъ изъ нихъ относится иначе, чѣмъ къ другимъ. Но въ сущности всѣ они одинаковы. Напримѣръ, Карлъ Шульцъ въ «Исторiи двухъ галошъ», — по замыслу автора, очевидно, долженъ былъ принадлежать къ другому разряду людей: изъ него долженъ бы выйти благородный труженикъ искусства, съ пламенно-любящей душой, съ возвышенными стремленiями, — непонятый мiромъ и гордо погибшiй невинною жертвою судьбы . . . Но изображенiе такой личности было не по средствамъ таланта нашего автора, и изъ Шульца вышло то же что-то въ родѣ Ивана Васильича: существо слабое, безхарактерное, противорѣчащее себѣ на каждомъ шагу, ничего не дѣлающее само и во всемъ обвиняющее другихъ. Онъ сходитъ съ своего чердака въ великолѣпную гости-

ную княгини и дебютируетъ здѣсь тѣмъ, что ругаетъ концертную музыку... Потомъ онъ играетъ, его хвалятъ, хотятъ съ нимъ познакомиться: онъ этимъ пользуется, воображая, что всѣ сами должны искать его. Онъ влюбился въ Генріетту, она согласна быть его женой; но онъ говоритъ: «нѣтъ, погодите, дайте мнѣ прославить себя»... И затѣмъ начинаетъ съ того, что пишетъ большую симфонію на цѣлый оркестръ... Пріѣзжаетъ онъ съ ней въ Петербургъ, встрѣчаетъ холодный пріемъ, о концертѣ и хлопотать не хочетъ, а рѣшается давать уроки музыки... Но потомъ соглашается играть на именинномъ вечерѣ у сапожника, — за пару галошъ, — и даже рѣшается на униженіе — дать концертъ... На концертѣ вдругъ видитъ свою Генріетту, смущается и играетъ плохо. На другой день получаетъ отъ Генріетты письмо: она замужемъ, но любитъ его попрежнему... Онъ отправляется къ ней, и нѣсколько мѣсяцевъ наслаждается платонической любовью... Наконецъ ихъ застаетъ мужъ, увозитъ Генріетту въ деревню, а Шульцъ сходитъ съ ума и умираетъ... Что же это за человѣкъ, что за характеръ? Видно, что авторъ хотѣлъ изобразить человѣка, а вышло какое-то слабодушное, пассивное существо, очень похожее на великосвѣтскаго звѣря...

Таковы же точно и Леонинъ, доброе сердце безъ всякаго характера; и Сережа, способный къ увлеченіямъ, исчезающимъ при первой насмѣшкѣ; и баронъ Фиренгеймъ, готовый жертвовать жизнью за своего профессора и столь же легко готовый играть спокойствіемъ семьи, которая должна быть дорога ему; и офицеръ, влюбляющійся и возбуждающій нѣжную, вѣчную взаимность — мимоѣздомъ на

станціи; и Чесминъ, искренно увлекающійся любовью до перваго выгоднаго назначенія; и князь Андрей, такъ легко уступающій убѣжденіямъ старушки-бабушки, и генералъ Северинъ, отдѣлывающійся отъ увлеченій молодости тѣмъ, что покупаетъ хорошихъ лошадей для своего сына-ямщика, и господинъ Надимовъ, поступающій на службу, которой онъ не понимаетъ, затѣмъ только, чтобы оттереть другого, который можетъ быть взяточникомъ. Даже Медвѣдь, котораго авторъ опять-таки хотѣлъ выставить въ хорошемъ свѣтѣ, тоже слабое, пустое существо, рѣшительно не понимающее себя, до того не понимающее, что рѣшается Богъ вѣсть зачѣмъ танцовать французскую кадриль на балѣ у князя Щетинина, да еще vis-à-vis съ одной блистательной парой. Самъ даже мужикъ Тарасъ, убившій мать вмѣсто богатаго купца, котораго хотѣлъ обокрасть, — и онъ рѣшается на преступленіе, просто, по легкомыслію и безумной слабости характера. Словомъ, каждый изъ героевъ — пустѣйшій человѣкъ изъ самыхъ безтолковыхъ. Видно, что автору близокъ этотъ типъ, что онъ имѣлъ много случаевъ изучить его, свыкнуться съ нимъ, проникнуться образомъ его мыслей и перенести его въ свои созданія, иногда даже безъ своего вѣдома и противъ воли своей. Говорятъ, что каждый авторъ выражаетъ часть своего собственнаго характера въ каждомъ изъ представленныхъ имъ типовъ: если согласиться съ этимъ, то тѣмъ болѣе нужно согласиться, что на воспроизведеніе тѣхъ или другихъ характеровъ сильно дѣйствуетъ образъ мыслей и сфера дѣйствій самого автора, и въ такомъ случаѣ для насъ становится совершенно понятнымъ, почему графъ Соллогубъ, привыкшій къ понятіямъ

и воззрѣніямъ большого свѣта, такъ постоянно выводилъ намъ пустыхъ и ничтожныхъ людей, безъ правилъ и убѣжденій, — даже поставляя ту среду, въ которой они всего менѣе встрѣчаются. Нелишнимъ считаемъ замѣтить и здѣсь, что пристрастіе къ подобнымъ типамъ совсѣмъ не составляетъ особенности, появившейся въ авторѣ «Чиновника» только въ послѣднее время. Совсѣмъ нѣтъ — оно столь же сильно и въ «Исторіи двухъ галошъ», и въ «Большомъ свѣтѣ», и во всѣхъ другихъ разсказахъ Соллогуба, и слѣдовательно здѣсь опять нельзя видѣть какого-то паденія таланта.

Странная судьба постигла творенія графа Соллогуба. Прежняя критика восхищалась его героями, разсматривая ихъ чисто съ объективной стороны, и хотя замѣчала, что понятія автора какъ будто сходятся иногда съ понятіями его героевъ, но приписывала это сходство особенному художественному умѣнью автора представить предметъ живо и полно. Она разсматривала Ивана Васильича какъ что-то совершенно чуждое по своимъ воззрѣніямъ самому автору, все произведеніе принимала за жестокую насмѣшку надъ людьми, подобными Ивану Васильичу. Такимъ образомъ, когда Иванъ Васильичъ говорилъ, что за границей научился онъ любить Россію, — критика смѣялась надъ его шутовствомъ; и когда авторъ говорилъ, что только за границей понялъ Иванъ Васильичъ, какъ много хорошаго въ Россіи, — критика опять принимала слова эти за насмѣшку надъ пустотой Ивана Васильича. Новая критика поступила не такъ. Подвернулся ей подъ руку Надимовъ, тотъ же Иванъ Васильичъ; отчего бы не разобрать его съ такой же точки зрѣнія и не сказать спасибо графу Соллогубу за

искусное изображеніе такого безтолковаго крикуна? Нѣтъ, его вздумали разбирать какъ идеальнаго чиновника за его блестящія фразы, и его пустоту сдѣлали обвиненіемъ для автора. А посмотрите-ка, сколько прекрасныхъ фразъ говорятъ у графа Соллогуба — Иванъ Васильичъ, Левъ, баронъ Фиренгеймъ, старушка и пр., и пр. Такія рѣчи — одна изъ особенностей графа Соллогуба. Можетъ быть и это недостатокъ, но, конечно, не важный: и у Грибоѣдова Фамусовъ отпускаетъ подчасъ такія эпиграммы, что хоть бы Чацкому впору. Герои графа Соллогуба говорятъ много хорошаго, только дѣла ихъ не сходятся съ словами: въ этомъ и состоитъ ихъ недостатокъ, по мнѣніямъ автора. Прежняя критика думала, что авторъ и самыя понятія ихъ осмѣиваетъ, и потому она увѣряла, что въ его произведеніяхъ положены всегда въ основаніе глубокія идеи и крѣпкія убѣжденія, то есть тѣ, которыя она сама приписывала автору, понимая наоборотъ его отношеніе къ понятіямъ его же героевъ. Теперь это отношеніе обозначилось яснѣе, и мы видимъ, что многія изъ разсужденій Ивана Васильича и подобныхъ ему людей вполнѣ одобряются графомъ Соллогубомъ. Это видно отчасти и въ самомъ способѣ изображенія этихъ личностей, при которомъ авторъ изъ спокойнаго эпическаго разсказчика безпрестанно дѣлается вдохновеннымъ лирикомъ и горячимъ ораторомъ, невольно выражая свое субъективное настроеніе. Но особенно доказываетъ это сличеніе словъ самого графа Соллогуба съ словами его героевъ. Мы боимся представлять выписки, чтобы не обременить вниманіе читателей; укажемъ только нѣсколько примѣровъ. Иванъ Васильичъ жалѣетъ о гибели фамильныхъ преданій, о

томъ, что генеалогія не уважается, — и графъ Соллогубъ въ своихъ «Замѣткахъ» жалѣетъ о томъ же. Иванъ Васильичъ увѣряетъ, что все зло взяточничества происходитъ оттого, что чиновники происходятъ изъ простого класса, изъ дворовыхъ, а не изъ дворянъ: графъ Соллогубъ доказалъ «Чиновникомъ», что раздѣляетъ это убѣжденіе. Иванъ Васильичъ хлопочетъ о народности русской, находя что лучшій залогъ настоящаго и будущаго величія Россіи — это могучее ея смиреніе; то же самое, почти слово въ слово, высказано графомъ Соллогубомъ отъ собственнаго лица въ статьѣ «6-е декабря 1853 г. въ Тифлисѣ». Здѣсь онъ уже не могъ шутить: предметъ его описанія былъ слишкомъ серьезенъ для этого. Иванъ Васильичъ не находитъ во Франціи ничего, кромѣ вѣтрености и грязи, въ Германіи ничего, кромѣ педантизма, — и графъ Соллогубъ (умѣреннѣе, конечно, чѣмъ Иванъ Васильичъ) бранитъ ихъ за то же самое, — не только въ прозѣ, но даже и въ стихахъ. Иванъ Васильичъ раздѣляетъ русскую литературу на двѣ половины: смиренную, и потому умную, хорошую, — и крикливую, но бездарную, и увѣряетъ, что истинныя дарованія рѣдко появляются съ своими произведеніями, боясь быть смѣшанными съ этими крикунами. Въ свое время критика посмѣялась надъ такими выходками, какъ обличающими шутовское верхоглядство Ивана Васильича, но посмѣялась напрасно. Черезъ годъ въ своихъ «Замѣткахъ» самъ графъ Соллогубъ написалъ уже отъ себя, что отъ журнальныхъ крикуновъ «литература падаетъ въ грязь и внушаетъ отвращеніе къ себѣ въ тѣхъ юныхъ дарованіяхъ, которыя могли бы развиться и окрѣпнуть для чести и пользы русскаго слова». Мнѣній въ та-

комъ родѣ мы могли бы привести очень много; но надѣемся, что изъ представленныхъ примѣровъ можно видѣть по крайней мѣрѣ то, что авторъ «Тарантаса» совсѣмъ не хотѣлъ смѣяться надъ убѣжденіями своего героя, а старался выставить только противорѣчіе его словъ съ поступками. Это видно и въ той главѣ, гдѣ авторъ разсказываетъ воспитаніе Ивана Васильича, и съ теплымъ участіемъ говоритъ о его умѣ, смѣтливости, пылкой натурѣ, сердечной любви къ Россіи и пр.

Таковы же и прочіе герои. Левъ разсуждаетъ о свѣтской жизни ничуть не хуже самого автора повѣсти; княгиня задумывается о пустотѣ своей жизни точно такъ, какъ авторъ за нее задумывается. Северинъ разсуждаетъ съ церковнымъ старостой о томъ, что каждому нужно оставаться въ томъ состояніи, въ какомъ онъ родился: «бариномъ быть, бариномъ надо и родиться; сдѣлай мужика бариномъ, барина мужикомъ, — обоимъ не сладить». Эта мысль весьма сильно и ярко изображается во всѣхъ произведеніяхъ графа Соллогуба. По его мнѣнію, и въ большой свѣтъ надо пускаться только тѣмъ, кто уже родился въ немъ, потому что тутъ нужны своего рода привилегіи; и чиновникомъ долженъ быть только дворянинъ, а ужъ никакъ не человѣкъ изъ простого званія... Для сохраненія чести своего званія нужно жертвовать всѣмъ, говоритъ старушка своему внуку, который хочетъ жениться на бѣдной дѣвушкѣ. Читая ея разсужденія, вы можете подумать, что авторъ хочетъ выставить ихъ въ смѣшномъ видѣ. Да и какъ иначе подумать, читая, напримѣръ, слѣдующія строки: «Не легко въ наше время быть аристократомъ; вотъ для чего и надо оставаться аристократомъ. Теперь, когда всѣ

убѣжденія въ Европѣ исчезаютъ, кому поддержать и спасти ихъ какъ не дворянскому сословію? Теперь, когда владычествуютъ слова, а не начала, кому указать толпѣ на путь истинный какъ не тѣмъ, которые выше толпы? Но этого достигнуть можно не умомъ, а характеромъ. Съ тѣхъ поръ какъ булочники пишутъ стихи, а сапожники занимаются политикой, умъ ничего не значитъ. Другое дѣло — характеръ; но характеръ крѣпнетъ только послѣдовательностью и вѣрою въ законы, принятые при рожденіи . . . » и т. д. Далѣе, между прочимъ, говорится, что вся исторія человѣчества даетъ намъ слѣдующій урокъ: «счастливы тѣ государства, гдѣ каждое сословіе остается въ своихъ предѣлахъ, идетъ по собственному пути» . . . И тѣ же самыя мысли найдете у графа Соллогуба въ статьяхъ: «Община сестеръ милосердія», «6 декабря въ Тифлисѣ», «Симбирскій театръ» и другихъ. По соображеніи многихъ мѣстъ въ сочиненіяхъ графа Соллогуба, можемъ думать, что и будущность Россіи представляется ему именно въ томъ видѣ, какъ изобразилъ онъ ее въ снѣ Ивана Васильича. Иначе самый этотъ сонъ какъ-то неестественъ: какъ могутъ такому человѣку, какъ Иванъ Васильичъ, сниться такія отвлеченныя вещи? Только наяву могъ онъ придумать — хоть, напримѣръ, слѣдующую картину: «Сельскій пастырь, сидя подъ ракитой, съ любовью глядѣлъ на дѣтскія игры. Кое-гдѣ надъ деревнями возвышались домы помѣщиковъ, строенные въ томъ же вкусѣ, какъ и простыя избы, только въ большемъ размѣрѣ. Эти домы, казалось, стояли блюстителями порядка, залогомъ того, что счастіе края не измѣнится, а, благодаря мудрой заботливости просвѣщенныхъ путеводителей, все бу-

детъ еще стремиться впередъ, все будетъ еще болѣе развиваться, прославляя дѣла человѣка и милосердіе Создателя» . . .

Все сказанное нами доказываетъ, что и убѣжденія графа Соллогуба были одни и тѣ же. Только сначала они высказывались не совсѣмъ опредѣленно, такъ что критика не умѣла отдѣлить личности автора отъ личности его героевъ и насмѣшки отъ истины. Теперь же они обозначились яснѣе, и въ этомъ опять мы видимъ доказательство того, что авторъ «Большого свѣта» постоянно шелъ впередъ, постоянно крѣпнулъ въ своихъ силахъ и вырабатывалъ свои понятія . . .

Мы разобрали теперь всѣ достоинства графа Соллогуба, за которыя восхищалась имъ прежняя критика и которыя перечислены нами въ началѣ статьи. Разборъ ихъ показалъ, что и теперь блестящій беллетристъ остался тѣмъ же, чѣмъ былъ прежде, и прежде былъ тѣмъ же, что и теперь . . . Только теперь онъ сильнѣе и ярче выразился . . . При разборѣ нашемъ не брали мы въ разсчетъ біографіи Котляревскаго, почти не касались водевилей и драмъ графа Соллогуба, равно какъ и «Салалакскихъ досуговъ» и альбомныхъ стихотвореній. Не на нихъ основана слава графа Соллогуба: онъ извѣстенъ русской публикѣ какъ юмористъ и повѣствователь, и мы старались разсматривать его съ этой стороны, чтобы объяснить фактъ охлажденія къ нему публики. Другія его произведенія были намъ нужны только для того, чтобы прослѣдить ходъ развитія его убѣжденій и стремленій — съ самаго начала до послѣдняго времени . . . Впрочемъ считаемъ нужнымъ прибавить здѣсь, что даже и мелкія произведенія графа Соллогуба нисколько не

противорѣчать общему нашему понятію о немъ и не могутъ уронить его славы. Въ нихъ онъ является тѣмъ же блестящимъ, остроумнымъ писателемъ, съ тѣмъ же истинно свѣтскимъ тономъ и взглядомъ на вещи, съ тѣми же чувствами и убѣжденіями... Напримѣръ, стихотворенія его такъ милы и изящны, что нельзя не любоваться ими. Они такъ и переносятъ въ благоуханную атмосферу гостиныхъ, такъ изящно очерченныхъ графомъ Соллогубомъ, — они такъ и заставляютъ вспомнить барона, декламировавшаго:

Всегда вездѣ, и въ залѣ шумной,
Въ каретѣ, въ ложѣ, на конѣ,
И на яву, и въ сладкомъ снѣ,
Любовью страстной и безумной
Тебя любилъ, тебя любилъ!..

Правда, иногда попадается у графа Соллогуба шероховатость въ стихѣ: въ риому — *Руатьеми* — стоитъ напр. *съ поэзіями всѣми*... Встрѣчается такое четверостишіе:

Не въ сущей *добротѣ я ли*
Вамъ вѣрилъ, какъ дуракъ;
А вы вотъ и *затѣяли*
Меня цыганить такъ...

Но стоитъ ли обращать вниманіе на такіе пустяки!..

Чѣмъ же, однако, объяснить охлажденіе публики къ графу Соллогубу? Талантъ его такъ же блестящъ и цвѣтущъ теперь, какъ прежде; дѣятельность не прерывалась, убѣжденія тверды попрежнему, словомъ, со стороны автора всѣ условія для успѣха тѣ же, что и прежде. Явно, что вся вина на сторонѣ публики и критики. Главное обстоятельство, неблагопріятное для автора «Тарантаса», бы-

ло, по нашему мнѣнію, то, что критика долго не умѣла ясно и правильно понять его направленіе. Пока графъ Соллогубъ высказывался неопредѣленно, полунамеками, она хотѣла видѣть въ немъ убѣжденія, какими она сама была проникнута, и въ лицахъ его разсказовъ находила сознательное, художественное воспроизведеніе жизненной пошлости и пустоты. Впослѣдствіи оказалось, что взглядъ автора на своихъ героевъ не совсѣмъ сходился со взглядомъ критики, что многія изъ его лицъ смѣшны и пусты ненамѣренно такъ, какъ смѣшны и пусты кажутся намъ сильныя и идеальныя натуры въ повѣстяхъ Марлинскаго и Полевого. Критика перестала выражать свое восхищеніе повѣстями Соллогуба и ставить его рядомъ съ Гоголемъ и Лермонтовымъ; публика тоже увидала въ чемъ дѣло и не хотѣла восхищаться въ графѣ Соллогубѣ тѣмъ, чѣмъ восхищалась въ изображеніяхъ барона Фиренгейма и Ивана Васильевича. Послѣдовало невниманіе и забвеніе... Другою причиною того же факта могла быть самая вѣрность графа Соллогуба принятому однажды воззрѣнію. Рѣшивши, что «большой свѣтъ» живетъ только внѣшностью и полонъ пустоты, взглянувши и на все остальное сквозь лорнетъ «большого свѣта», авторъ «Тарантаса» постоянно повторялъ одну и ту же тему, одинъ и тотъ же типъ, и это наконецъ пріучило публику думать, что ничего новаго отъ автора «Старушки» ожидать уже нельзя. Охлажденіе сдѣлалось еще полнѣе, когда многіе стали замѣчать, что не все же пустота въ большомъ свѣтѣ, что можно и тамъ отыскать какіе-нибудь серьезные интересы, если только самъ ими проникнутъ серьезно... И вотъ — забыла наша публика свои прежніе восторги, забыла, сколько

наслажденія доставляли ей прежде прекрасныя картины графа Соллогуба, его художественныя описанія, краснорѣчивыя разсужденія, остроумные разговоры, мѣткія наблюденія надъ внѣшней стороной нашихъ нравовъ и изящный юморъ... Явился «Чиновникъ», — публика вспомнила своего любимаго автора, но скоро опять отвернулась отъ него... Явилось полное собраніе его сочиненій, и до сихъ поръ никто не занялся серьезнымъ разборомъ ихъ... Это очень грустное явленіе... Мы старались какъ умѣли разсмотрѣть и объяснить его, чтобы, съ одной стороны, отдать справедливость талантливому беллетристу, а съ другой — напомнить публикѣ о томъ, о комъ не должна забыть будущая исторія нашей литературы.

Стихотворенія А. Полежаева,

съ портретомъ автора и статьею о его сочиненіяхъ, писанною В. Бѣлинскимъ. Изданіе *В. Солдатенкова* и *Н. Щепкина*. Москва. 1857.

Полежаевъ пользуется у насъ довольно печальной извѣстностью въ кружкѣ тѣхъ читателей, которые доселѣ продолжаютъ читать его. Кому не случалось встрѣчать молодыхъ людей, хранившихъ размашисто переписанныя тетрадки съ непечатанными стихами Полежаева? Эти юноши восхищаются темной стороной Полежаева, забывая или не зная о его истинныхъ достоинствахъ. Обвинять ли ихъ за это, считать ли людьми пустыми, ничтожными, неспособными возвыситься надъ грубыми животными побужденіями? Едва ли справедливо будетъ такое обвиненіе; по крайней мѣрѣ, мы никогда не рѣшимся произнести его. Иначе мы должны были бы осудить на ничтожество самого Полежаева, который, конечно, болѣе всего долженъ подвергаться отвѣтственности за свои стихи. Нѣтъ, заблужденіе еще не порокъ, одностороннее развитіе — не преступленіе. Оно всегда есть прямое, неизбѣжное слѣдствіе тѣхъ обстоятельствъ, среди которыхъ суждено человѣку жить и развиваться. Можно жалѣть о человѣкѣ, для котораго обстоя-

тельства сложились дурно, — можно горько задумываться о той жизненной обстановкѣ, которая можетъ губить лучшія силы души, направляя ихъ къ злу и пороку. Но напрасно было бы обвинять самого человѣка въ ошибочномъ направленіи, какое принимаетъ его дѣятельность подъ вліяніемъ враждебныхъ обстоятельствъ. По нашему мнѣнію, только тотъ заслуживаетъ полнаго презрѣнія, кто совсѣмъ не обнаруживаетъ никакой дѣятельности, оставаясь во всю свою жизнь существомъ совершенно пассивнымъ. Такія существа, дѣйствительно, не заслуживаютъ никакого участія и могутъ быть заклеймены названіемъ людей неспособныхъ, негодныхъ, ничтожныхъ, унижающихъ свое человѣческое достоинство. Отъ нихъ ничего нельзя ожидать, какъ бы ни были благопріятны окружающія ихъ обстоятельства. Получивши разъ толчокъ отъ внѣшней силы, они безмятежно и ровно, по силѣ инерціи, движутся въ одномъ, данномъ имъ направленіи. Они часто достигаютъ предположенной цѣли весьма удачно, переходя отъ переписки бумагъ къ ихъ подписыванію, отъ перваго мѣста на школьной скамьѣ — къ наставнической каѳедрѣ, и пр. Но со всѣмъ тѣмъ трудно удержать въ себѣ порывъ презрѣнія и даже негодованія противъ этихъ людей, которыхъ все нравственное достоинство заключалось въ умѣренности, аккуратности и терпимости, и которыхъ труды, безсмысленные и мертвые, могутъ быть съ гораздо большимъ успѣхомъ исполняемы хорошею машиною. Отрекаясь отъ своей самостоятельности, дѣлаясь орудіемъ чужой силы, такіе люди сами становятся въ разрядъ низшихъ существъ, сами отказываются отъ общаго братства людского и добровольно вызыва-

ютъ на себя презрѣніе даже тѣхъ, которые пользуются ихъ услугами. Подвигъ высокой доблести и самая отвратительная низость съ одинаковымъ хладнокровіемъ и аккуратностью совершаются пассивными натурами, какъ скоро данъ имъ внѣшній толчокъ, приводящій ихъ въ движеніе. Тутъ уже не можетъ быть заблужденій, борьбы, страданій, паденія... Тутъ, собственно говоря, нѣтъ и вины, какъ нѣтъ заслуги... Но тяжкая вина предъ судомъ общества и исторіи — лѣнию зарыть въ землю свой талантъ, попрать свое достоинство, рутиной и бездѣйствіемъ убивши силы, данныя отъ природы... Зато и общество попираетъ ногами такихъ лѣнивцевъ. Зато и исторія эти натуры обходитъ презрительнымъ молчаніемъ.

Не такова судьба тѣхъ несчастныхъ, но все-таки сравнительно высшихъ натуръ, которыя, чуя въ себѣ родникъ живыхъ силъ души, хотятъ непремѣнно пробиться съ ними сквозь кору житейскихъ дрязгъ, общественныхъ несправедливостей и людскихъ предразсудковъ. Теченіе ихъ жизни бываетъ бурно и мутно, часто гибельно; нерѣдко они теряются на дорогѣ, если сверху сушитъ ихъ солнечный зной, а внизу поглощаетъ сожженная, разсыпчатая почва; во всякомъ случаѣ ихъ отдѣльная струя пропадаетъ въ общемъ океанѣ исторіи человѣчества. Но все же это движеніе, жизнь, а не болотный застой. Въ болотѣ погибнуть такъ же легко, какъ и въ морѣ: но если море привлекательно опасно, то болото опасно отвратительно. Лучше потерпѣть кораблекрушеніе, чѣмъ увязнуть въ тинѣ. Моралисты, обыкновенно, люди сонные; ихъ можно разбудить только грозой. При сильномъ ударѣ грома они просыпаются, торопливо спраши-

ваютъ: «что случилось?» и потомъ начинаютъ кричать объ ударѣ рока, постигшемъ одного человѣка, убитаго громомъ. А передъ ихъ глазами, возлѣ нихъ, сотни и тысячи человѣкъ падаютъ отъ изнеможенія, задыхаются, гибнутъ безъ шума и слѣда; этого они не замѣчаютъ, а если и замѣчаютъ, то находятъ, что это совершенно въ порядкѣ вещей.

Всѣ эти мысли невольно приходятъ въ голову послѣ прочтенія маленькой книжки стиховъ Полежаева и статьи о немъ, написанной Бѣлинскимъ. Съ обычной своей проницательностью и силой выражаетъ Бѣлинскій характеръ поэзіи Полежаева и отношеніе ея къ его жизни. Но у него есть одна фраза, которая можетъ подать поводъ къ ложному толкованію. «Полежаевъ не былъ жертвою судьбы, говоритъ Бѣлинскій, и кромѣ самого себя никого не имѣлъ права обвинять въ своей гибели». Мы уже сказали, что, по нашему мнѣнію, именно себя-то онъ и не могъ обвинять.

Пострадалъ ли Полежаевъ отъ судьбы, странно враждебной всѣмъ лучшимъ поэтамъ нашимъ, можно видѣть при внимательномъ взглядѣ на его портретъ, который приложенъ къ нынѣшнему изданію его сочиненій.

Повѣсть его жизни немногосложна, но изъ нея видно, что Полежаевъ принадлежалъ къ числу натуръ дѣятельныхъ, для которыхъ лучше паденіе въ борьбѣ, нежели страдательное отреченіе отъ всякой личности и самостоятельности. Начало его жизни было лучше, чѣмъ ея продолженіе, какъ это замѣтно изъ частыхъ сожалѣній поэта о потерянныхъ годахъ, какъ видно изъ его задушевныхъ воззваній къ прежнему времени:

Гдѣ ты, время невозвратное
Незабвенной старины?
Гдѣ ты, солнце благодатное
Золотой моей весны?
Какъ видѣніе прекрасное
Въ блескѣ радужныхъ лучей,
Ты мелькнуло, самовластное,
И сокрылось изъ очей!..

Но и это время, о которомъ онъ вспоминалъ потомъ съ грустнымъ сожалѣніемъ, не было продолжительно, такъ что онъ и не успѣлъ имъ воспользоваться какъ слѣдуетъ. Двадцатилѣтній юноша, увлекся онъ, какъ и всѣ увлекаются въ двадцать лѣтъ, страстностью своей натуры и пылкостью молодой крови, только его увлеченіе выразилось ярче, было сильнѣе, бурнѣе, чѣмъ бываетъ у другихъ, и къ этому-то времени студенчества въ Московскомъ университетѣ относится первая, непечатная извѣстность Полежаева. Передъ концомъ жизни, онъ такъ вспоминалъ объ этомъ бурномъ періодѣ своей жизни:

Я подвигъ жизни совершилъ
И юныхъ дней фіалъ безвкусный,
Но долго памятный — разбилъ!
Давно ли я въ оргіяхъ шумныхъ
Ничтожность міра забывалъ
И въ кликахъ радости безумныхъ
Безумство счастьемъ называлъ!
Тогда, вдали отъ глазъ невѣжды
Или фанатика-глупца,
Я сердцу милыя надежды
Питалъ съ улыбкой мудреца
И счастливъ былъ! Самозабвенье
Таилось въ безднѣ пустоты...
. . . .

Если бы мы захотѣли, мы могли бы найти у Полежаева много подобныхъ признаній, доказываю-

щихъ, что онъ былъ человѣкъ не въ родѣ поручика Пирогова, и что порывъ, увлекавшій его къ наслажденіямъ чувственности, скоро смѣнился бы другимъ, болѣе благороднымъ увлеченіемъ. Онъ уже начиналъ, кажется, этотъ поворотъ жизни, когда надъ нимъ разразился новый ударъ судьбы, и

Миръ души погребла
Къ шумной волѣ любовь...

Изъ молодого, разгульнаго кружка своихъ товарищей внезапно попалъ Полежаевъ въ другой кругъ — гораздо болѣе грубый, порочный и невѣжественный, въ которомъ смотрѣли на поэта какъ на преступника и негодяя. Онъ не хотѣлъ и не могъ подчиниться тому, чему легко подчинялись другіе, — а его заставляли подчиняться.

Порабощенье,
Какъ зло за зло,
Всегда влекло
Ожесточенье,

и Полежаевъ ожесточился противъ людей и судьбы. Сначала у него еще оставался какой-то геній, котораго онъ не называетъ ни добрымъ, ни злымъ, но который обѣщалъ ему свое покровительство, а потомъ забылъ его . . . Полежаевъ съ довѣрчивостью ждалъ его помощи, и надежда на этого генія поддерживала его въ постоянной борьбѣ съ обстоятельствами. Утомляясь борьбою, онъ восклицалъ:

Давно могучій вѣтеръ носитъ
Меня вдали отъ береговъ;
Давно душа покоя проситъ
У благодѣтельныхъ боговъ.
Казалось, теплыя молитвы
Уже достигли къ небесамъ,
И я, какъ жрецъ, на полѣ битвы

Курилъ свой свѣтлый ѳиміамъ,
И благодѣтельное слово
Въ устахъ правдиваго судьи,
Казалось, было ужъ готово
Изречь: воскресни и живи!
Я оживалъ; но ты, мой геній,
Исчезъ, забылъ меня, и я
Теперь одинъ въ цѣпи твореній
Пью грустно воздухъ бытія...
Темнѣетъ ночь, гроза бушуетъ,
Несется быстро мой челнокъ, —
Душа кипитъ, душа тоскуетъ,
И, мнится, снова торжествуетъ
Надъ бѣднымъ плавателемъ рокъ...

Несмотря на эти минуты сомнѣнія и тоски душевной, долго еще крѣпился бѣдный поэтъ и гордо сражался съ гнетущей его судьбой:

Увы, давно печаленъ, равнодушенъ,
Онъ привыкалъ къ лихой своей судьбѣ:
Неистовый, безжалостный къ себѣ,
Презрѣлъ ее въ отчаянной борьбѣ,
И гордо былъ несчастію послушенъ.

Стремленіе къ самостоятельной жизни развилось въ немъ еще больше среди несчастій и стѣсненій, и въ то время, какъ челнокъ его уже тонулъ, онъ еще находилъ въ себѣ силы пѣть эту пѣснь погибающаго пловца:

Сокровенный
Сынъ природы,
Неизмѣнный
Другъ свободы
Съ юныхъ лѣтъ
Въ море бѣдъ
Я направилъ
Быстрый бѣгъ
И оставилъ
Мирный брегъ.

На равнинахъ
Водъ зеркальныхъ,
На пучинахъ
Погребальныхъ
Я скользилъ;
Я шутилъ
Грозной влагой,
Смертный валъ
Я отвагой
Побѣждалъ...

Такимъ открытымъ выраженіемъ энергіи и силы смѣлаго бойца отличаются стихотворенія Полежаева до того времени, когда является въ нихъ упоминаніе о заключеніи и болѣзни. Извѣстно, что въ послѣднее время своей жизни Полежаевъ страдалъ чахоткой и умеръ въ больницѣ, получивъ въ минуты предсмертнаго томленія офицерскій чинъ. Это послѣднее время тяжелой болѣзни вызвало у поэта нѣсколько отчаянныхъ, ожесточенныхъ стихотвореній. Онъ изнуренъ былъ битвою жизни, геній его не являлся къ нему на помощь, усилія его свергнуть съ себя гнетущее иго судьбы оказывались безплодными, — и одно отчаянное, страшное презрѣніе къ жизни осталось въ душѣ поэта. Ужасные звуки нашелъ онъ въ себѣ для выраженія силы своего отчаянія:

Безъ чувства жизни, безъ желаній,
Какъ отвратительная тѣнь,
Влачу я цѣпь моихъ страданій
И умираю ночь и день!
Порою, огнь души унылой
Воспламеняется во мнѣ:
Съ снѣдающей меня могилой
Борюсь, какъ будто бы во снѣ;
Стремлюсь въ жару ожесточенья
Мои оковы раздробить

И жажду сладостнаго мщенья
Живою кровью утолить.
Какъ рабъ испуганный, бездушный,
Кляну свой жребій я тогда,
И вновь взираю равнодушно
На жизнь позора и стыда.

Эта жизнь позора и стыда могла бы быть жизнью славы и величія. Человѣкъ, нашедшій такіе звуки для выраженія отчаянія, умѣлъ бы проникнуться какими угодно возвышенными чувствами и найти для нихъ выраженіе въ словѣ и въ дѣлѣ. При другой жизненной обстановкѣ не погибъ бы этотъ энергическій талантъ жертвою неровной и безплодной борьбы. Не звуки проклятій и злобы, а роскошные звуки чистыхъ, спокойныхъ стремленій могъ бы онъ завѣщать міру, потому что, кромѣ чрезвычайной силы, талантъ Полежаева отличается еще необыкновенной страстностью и стремительностью. Она-то и увлекаетъ пылкихъ юношей въ непечатныхъ стихотвореніяхъ Полежаева. Мы не винимъ ихъ за это въ пустотѣ и ничтожности: можно этимъ увлекаться и не будучи ничтожнымъ человѣкомъ. Но мы глубоко и тяжко должны сожалѣть о той средѣ, которая не представляетъ ничего лучшаго для увлеченія молодыхъ людей, мы должны грустно, безотрадно задуматься о тѣхъ преданіяхъ, которыми передаются, какъ драгоцѣнное наслѣдіе, изъ поколѣнія въ поколѣніе, грязныя произведенія поэтовъ, сбитыхъ съ чистаго пути и столкнутыхъ въ вонючую лужу. Не одинъ Полежаевъ погибъ у насъ въ этой мрачной и душной средѣ, подъ вліяніемъ этихъ развратныхъ преданій, поддерживаемыхъ застоемъ общественной жизни. Грустное раздумье одолѣваетъ всегда при воспоминаніи о гибели

дѣятельной натуры. Напрасно стараешься успокоить себя тѣмъ, что гибель эта не безплодна, что она была необходима по законамъ исторіи. Все-таки остается въ душѣ неотвязный вопросъ, такъ поэтически выраженный Полежаевымъ:

Но зачѣмъ же вы убиты,
Силы мощныя души?
Или были вы сокрыты
Для бездѣйствія въ тиши?
Или не было вамъ воли
Въ этой пламенной груди,
Какъ въ широкомъ чистомъ полѣ,
Пышнымъ цвѣтомъ расцвѣсти?..“

У пристани.

Романъ въ письмахъ, графини *Евдокіи Ростопчиной*. Девять частей („Библіотека для дачъ", книжки 76—84). Спб. 1857.

Письмо — это все равно, что разговоръ на бумагѣ. Слѣдовательно — новый романъ въ письмахъ графини Ростопчиной относится по своей формѣ собственно къ драматическому роду, въ которомъ талантъ этой писательницы оказывается особенно замѣчательнымъ. Всѣхъ, кто читалъ ея *жалостныя пьесы:* «Кто кого проучилъ», «Уѣдетъ или нѣтъ» и т. п., до сихъ поръ коробитъ при воспоминаніи о нихъ отъ невольнаго кислаго чувства,—точно такъ, какъ всѣ читавшіе ея комедіи: «Нелюдимка», «Семейная тайна» и пр. доселѣ не могутъ удержаться отъ хохота, вспоминая изображенные въ нихъ безтолковые поступки людскіе. Правда, комедіи эти носятъ названіе драмъ, а жалостныя пьесы — комедій, но le nom ne fait pas la chose, и мы совсѣмъ не хотимъ изъ ошибочнаго названія выводить какія-нибудь заключенія неблагопріятныя для самой пьесы. Мы просто говоримъ, что авторъ ошибся, вѣроятно, въ названіи, которое, впрочемъ, могло быть и опечаткой, или даже просто прихотью автора. Одну подобную прихоть знаменитой писа-

тельницы мы уже знаемъ. Это было лѣтъ семь или восемь тому назадъ. У «Москвитянина» былъ тогда періодъ школьничества: онъ печаталъ школьныя бесѣды г. Погодина съ гг. Грановскимъ, Соловьевымъ и пр., педагогическія лекціи г. Шевырева, упражненія г. Покровскаго по корректурной и граматической части и т. п. Около этого времени и графиня Ростопчина вздумала помѣстить въ «Москвитянинѣ» составленную ею хрестоматію изъ лучшихъ иностранныхъ писателей, — съ собственными объясненіями. Цѣлый годъ печаталась эта хрестоматія, въ которой перепечатано было много стиховъ изъ Данте, Шекспира, Байрона, Гёте и пр., и какъ бы вы думали, какъ она называлась? «Поэзія и проза жизни, романъ въ стихахъ»!.. И хрестоматія нисколько не потеряла отъ этого, а «Москвитянинъ» даже выигралъ: подъ видомъ эпиграфовъ къ роману, онъ цѣлый годъ помѣщалъ на своихъ страницахъ прекрасные отрывки изъ классическихъ писателей...

На этомъ основаніи мы не хотимъ дѣлать никакихъ замѣчаній касательно названія «романъ въ письмахъ». Мы жалѣемъ только объ одномъ: зачѣмъ нѣтъ здѣсь предисловія, въ родѣ того, какое находится при послѣднемъ изданіи стихотвореній графини Ростопчиной. Оно бы всего лучше объяснило намъ, какъ самъ авторъ понимаетъ своихъ героевъ и что онъ имѣлъ въ виду при созданіи своего романа. Такое объясненіе со стороны автора необходимо было бы потому, что романъ въ письмахъ, подобно всякому драматическому произведенію, не допускаетъ никакого вмѣшательства автора въ отношенія дѣйствующихъ лицъ и заставляетъ говорить только ихъ самихъ. Такимъ образомъ во всемъ

романѣ авторъ нашелъ возможность сдѣлать отъ себя только два-три замѣчанія въ выноскахъ, въ которыхъ онъ даетъ читателямъ понятія о томъ, что такое газета «Punch» и что за экипажъ «брэкъ», — предметы, о которыхъ особы, пишущія письма, не считаютъ приличнымъ распространяться... А между тѣмъ характеръ нѣкоторыхъ лицъ остается довольно загадочнымъ, безъ авторскаго объясненія. Напримѣръ князь Суздальскій не представленъ, кажется, прямо пустымъ вралемъ, — а между тѣмъ вретъ на каждомъ шагу. Въ одномъ письмѣ онъ говоритъ, напримѣръ, что совсѣмъ не знаетъ русской литературы и что недавно прочиталъ только, по указанію сосѣдки своей, «Горе отъ ума», — а черезъ нѣсколько страницъ толкуетъ о печоринскомъ элементѣ, и въ другомъ письмѣ, еще прежде писанномъ, разсуждаетъ о языкѣ княгини Дашковой въ ея журналѣ. Въ одномъ письмѣ онъ толкуетъ о благосостояніи и просвѣщеніи своихъ крестьянъ, и въ томъ же самомъ письмѣ выражаетъ опасеніе, чтобы русскаго мужика грамота не испортила!.. Въ ноябрѣ 1844 г. онъ пишетъ, что ему только тридцать два года, самодовольно вспоминая свои *кутежи* съ лоретками, а въ январѣ 1854 г., собираясь жениться, онъ вдругъ хочетъ казаться степеннѣе и накидываетъ себѣ три года, увѣряя, что ему тридцать пять лѣтъ. А между тѣмъ всѣ дѣйствующія лица романа превозносятъ его добродѣтели и стараются выставить его человѣкомъ истинно благороднымъ и просвѣщеннымъ. Что хотѣлъ сказать авторъ, ставя своихъ лицъ въ такія мудреныя отношенія? Предисловіе могло бы объяснить это; но авторъ не захотѣлъ предисловія, предоставляя самому дѣлу говорить за себя. Онъ представилъ намъ

драматическое произведеніе, не прибавляя ни слова отъ себя, и отыскать его идею, опредѣлить сущность характеровъ, прослѣдить все развитіе дѣйствія въ драмѣ составляетъ уже обязанность критики. Мы принимаемъ на себя эту обязанность, заранѣе сознаваясь, однако, передъ читателями, что мы не могли разъяснить нѣкоторыхъ загадочныхъ вещей въ романѣ и что нѣкоторыя наши заключенія, можетъ быть, окажутся не вполнѣ вѣрными и удовлетворительными.

Прежде всего поражаетъ насъ двойственность интриги романа: двѣ пріятельницы, Сара и Маргарита, ведутъ между собою переписку и разсказываютъ другъ другу приключенія своей жизни, которыя во всемъ романѣ идутъ совершенно отдѣльно и не имѣютъ ни малѣйшаго вліянія одни на другія. Авторъ романа такъ хорошо знакомъ съ художественными требованіями, общими для всякаго литературнаго произведенія, что вѣрно не рѣшился бы нарушить ихъ, если бы не имѣлъ въ виду какой-нибудь особенной цѣли. И намъ кажется, что мы нашли эту цѣль. По нашему мнѣнію, авторъ имѣлъ въ виду доказать своимъ романомъ, что всѣ люди, какъ бы они умны или глупы, богаты или бѣдны, добродѣтельны или развратны ни были, всѣ рано или поздно придутъ къ одной общей всѣмъ *пристани*, то есть, что всѣ люди смертны. Для такой широкой, всеобщей темы и содержаніе нужно было взять какъ можно шире. Такъ поступали по крайней мѣрѣ наши лучшіе сочинители. Г. Загоскинъ въ романѣ «Кузьма Петровичъ Мирошевъ» провелъ исторію рода Мирошевыхъ черезъ нѣсколько поколѣній, многократно переходя отъ Петра Кузьмича въ Кузьмѣ Петровичу и обратно отъ Кузьмы Петро-

вича къ Петру Кузьмичу: такъ необходимо было; затѣмъ, что авторъ имѣлъ въ виду изобразить жизнь русскихъ во времена Екатерины Великой. Въ знаменитомъ романѣ «Иванъ Выжигинъ», желающемъ доказать торжество нравственности надъ порокомъ, авторъ также не удовольствовался одной жизнью, а привелъ, по разсказамъ старыхъ людей, читавшихъ его романъ, цѣлое поколѣніе нравственныхъ людей, дѣдушку, сынка его и внучка — Петра Иваныча, въ нарочито сочиненномъ продолженіи. Имѣя предъ глазами такіе прекрасные примѣры, и графиня Евдокія Ростопчина не усомнилась пожертвовать узкими понятіями о художественномъ единствѣ, о желаніи сколько возможно полнѣе разрѣшить свою высокую задачу. Но такъ какъ истинный талантъ никогда не бываетъ рабскимъ подражателемъ, то и графиня Евдокія Ростопчина уклонилась нѣсколько отъ своихъ высокихъ образцовъ и расширила свою тему не во времени, а въ пространствѣ. Она не удовольствовалась проведеніемъ своей идеи въ жизни одного лица, а взяла для этого двѣ параллельныя жизни, около которыхъ сгруппировала много другихъ лицъ, соединенныхъ съ главными почти одной только общей мыслью романа (то есть тѣмъ, что всѣ они умираютъ) безъ всякихъ побочныхъ интересовъ. Въ этомъ находимъ мы оправданіе двойственности интриги въ романѣ, которая такимъ образомъ нисколько не мѣшаетъ строгому единству общей мысли и даже служитъ къ ея усиленію и подкрѣпленію. Мы полагаемъ даже, что цѣль автора достигнута была бы еще вѣрнѣе, если бы онъ послѣдовалъ примѣру автора великолѣпной трагедіи «Деньги» и уморилъ бы въ своемъ романѣ нѣсколько сотъ человѣкъ. Тогда бы смертность

человѣческая была еще неопровержимѣе для всякаго читателя. Впрочемъ, романъ «У пристани» оканчивается напоминаніемъ о Севастополѣ, и по нашему мнѣнію, — это сдѣлано не безъ глубокаго артистическаго соображенія: имя Севастополя служитъ послѣднимъ доводомъ автора, самымъ сильнымъ и даже дѣлающимъ ненужными всѣ остальные доводы. Кто не хочетъ читать романа, тотъ можетъ только заглянуть въ послѣднія его страницы, прочесть на нихъ слово: Севастополь, и въ немъ тотчасъ пробудится мысль о послѣдней *пристани* — смерти, чѣмъ цѣль автора романа будетъ вполнѣ достигнута . . .

Развитіе главной идеи въ романѣ доказываетъ намъ глубокое знаніе человѣческаго сердца и многостороннюю опытность автора. Субъективная личность автора и его воззрѣнія на жизнь, безъ всякаго сомнѣнія, много участвовали въ созданіи характеровъ романа: иначе невозможенъ этотъ тонкій анализъ женскаго сердца, невозможно это умѣнье выставить наружу сокровеннѣйшія побужденія самыхъ тайныхъ женскихъ страстей, какое показала графиня Евдокія Ростопчина въ исторіи двухъ лицъ своего романа — Сары Волтынской и Маргариты Петровской. Самыя эти лица, оба представляютъ какъ бы разложеніе одного характера на двухъ особъ, такъ что въ этомъ случаѣ графиня Евдокія Ростопчина уподобляется любимому поэту своему — Байрону, который, по словамъ Пушкина, въ каждомъ изъ своихъ героевъ воспроизводилъ какую-нибудь одну сторону собственнаго характера. Разница только въ томъ, что у Байрона менѣе рефлексіи: онъ относится къ созданнымъ имъ лицамъ непосредственно, и оттого страсть представляется у него въ трагическомъ развитіи. Графиня Евдокія

Ростопчина, напротивъ, силою рефлексіи отрѣшаясь отъ непосредственнаго увлеченія страстью, заставляетъ ее проходить предъ судомъ неумолимаго разсудочнаго анализа и вслѣдствіе этого относится къ ней уже комически, или точнѣе сказать — сатирически. Въ романѣ, содержаніе котораго мы сейчасъ разскажемъ читателямъ, авторъ поражаетъ своей сатирой легкомысліе людей, надменно резонирующихъ, безъ всякаго прочнаго убѣжденія и съ постояннымъ противорѣчіемъ, какъ между словомъ и дѣломъ, такъ даже и между самыми словами. Выражается это резонерство преимущественно въ двухъ главныхъ лицахъ романа — Сарѣ и Маргаритѣ. Само собою разумѣется, что подобные характеры всегда заключаютъ въ себѣ достаточное количество глупости, прикидывающейся разумною. Авторъ и въ этомъ отношеніи удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ: его Сара и Маргарита изображены глупыми до невѣроятія. Равнымъ образомъ соблюдено и другое условіе художественной постройки романа — естественность и вѣрность дѣйствительности. Въ дѣйствительности резонеры обыкновенно бываютъ скучны: и авторъ сдѣлалъ письма своихъ героинь непомѣрно длинными и скучными. Романъ «У пристани» напечатанъ въ «Библіотекѣ для дачъ и пароходовъ» и пр. Но мы полагаемъ, что ни одинъ морякъ, послѣ самаго продолжительнаго штиля, не можетъ такъ жадно желать пристани, какъ тотъ, кто на пароходѣ вздумаетъ для развлеченія читать письма резонерокъ этого романа въ письмахъ. И никто, конечно, не станетъ проклинать замедленіе парохода съ такою яростью, какъ тотъ, кто возьметъ съ собой этотъ романъ, чтобы читать у пристани, въ ожиданіи парохода. До

того скучны всѣ эти письма! .. Можетъ быть, найдутся близорукіе критики, которые поставятъ это въ вину автору. Мы, напротивъ, видимъ здѣсь великое достоинство ... Было бы совершенно нелѣпо, если бы онъ письма глупыхъ резонерокъ сдѣлалъ живыми и занимательными. Нужно было именно заставить ихъ писать скучно, безтолково, длинно, утомительно. Авторъ все это исполнилъ въ высшей степени совершенно. Можно судить о его искусствѣ и по одному слѣдующему факту: цѣлыхъ два тома (2-й и 3-й) заключаютъ въ себѣ *одно* письмо Сары, наполненное нелѣпѣйшими и длиннѣйшими разсужденіями обо всемъ на свѣтѣ, отъ хаоса, который, по мнѣнію ея, кто-то считаетъ «родоначальникомъ вселенной», до достоинства сигаръ и ловкости юнкеровъ и пажей ... Отвѣты Маргариты на письма своей подруги также длинны въ соразмѣрности.

Характеристика этихъ двухъ подругъ представляетъ для насъ только одно затрудненіе: мы боимся слишкомъ рѣзко выразить негодованіе, возбужденное въ насъ противъ подобныхъ женщинъ романомъ графини Евдокіи Ростопчиной. До того онѣ проникнуты суетностью и чувственностью, до того безсмысленны въ своихъ притязаніяхъ, до того нагло-безцеремонны въ своихъ выраженіяхъ, грязносальны въ своихъ шуткахъ! Обѣ онѣ — широкія натуры. Одна изъ нихъ сожалѣетъ, отчего она не мужчина и не можетъ участвовать въ ихъ *бурныхъ* подвигахъ и въ не менѣе бурныхъ развлеченіяхъ. Другая безпрестанно толкуетъ о своей страсти къ разгулу и удали, — признается, что еще въ дѣтствѣ была влюблена въ Макса Пикколомини, и всегда питала особенное сочувствіе къ героямъ въ родѣ

Леоне Леони, Ускока и Манфреда. Она ругаетъ неприличными словами современныхъ *гуманистовъ* за то, что они не умѣютъ жить, какъ предки... А предки, говоритъ она, «пили, ѣли, лихо дрались, *лихо любили* (!) и слегли своевременно въ могилу, не клеветавши ни міра, ни жизни, не гнушаясь даромъ Божіимъ... А вы, — продолжаетъ она въ паоосѣ, — а вы, жалкіе недоноски будущихъ поколѣній, бездольные междуумки», — да и пошла... «Вы, говоритъ, и кутить-то не умѣете, какъ предки: ихъ разгулъ былъ размашистѣе и *разъемистѣе* (что она хочетъ этимъ сказать!?); ихъ развратъ кипѣлъ какимъ-то блистательнымъ увлеченіемъ, какимъ-то гордымъ безстрашіемъ и великодушіемъ, которыхъ въ васъ нѣтъ... Вы — пигмеи предъ Ловеласами и герцогами Ришелье прошлаго вѣка... Безсиліе и пустота, вотъ ваша сущность!..» (т. I, стр. 114). И послѣ такой грозной филиппики на гуманистовъ она прибавляетъ: «Это вопль моего сердца!..». Немудрено повѣрить, судя по ея исторіи... Всѣ письма этой резонерки Сары Егоровны полны подобныхъ выходокъ противъ *вялости* нынѣшняго поколѣнія, въ пользу кипучести и ухарскихъ замашекъ прежняго времени. Вообще удаль во всемъ ей нравится, и въ русской тройкѣ, и въ растрепанныхъ волосахъ, и въ пьяной оргіи, и въ дикой цыганской пѣснѣ: таковъ ужъ вкусъ у нея. Интересно разсказываетъ о ея любви къ цыганамъ князь Элимъ Суздальскій, тотъ самый шутъ, который, заботясь о просвѣщеніи крестьянъ, пугается грамотности. На святкахъ онъ вздумалъ сдѣлать елку для дѣтей Сары Егоровны, а ее собственно захотѣлъ потѣшить цыганами, которыхъ, по его словамъ, и выписалъ изъ Нижняго (и тутъ совралъ конечно.

какіе въ Нижнемъ цыгане, на святкахъ... Другое дѣло — въ ярмарку...). И вотъ какое впечатлѣніе произвели на нее цыгане, по разсказу князя Элима. «Вся жизнь ея, вся душа, кажется, перешла въ слухъ и въ какое-то нѣмѣющее ожиданье... Она ожила, она воскресла; душа ея рвалась, и кровь кипѣла въ ней, а я, безъ ея вѣдома, читалъ на лицѣ ея всѣ бѣглыя выраженья живыхъ ея ощущеній и волненій. Яркій румянецъ игралъ на ея щекахъ; глаза блистали, дыханье занималось... нѣсколько разъ обращалась она ко мнѣ, чтобы крѣпко пожать мою руку и горячо благодарить меня за сюрпризъ. Я былъ въ полномъ удовольствіи своего успѣха!..» (т. VI, стр. 188). Не по-русски, но сильно выразился князь Элимъ!.. — Здѣсь простой разсказъ доходитъ даже до поэтическаго паѳоса, который можетъ быть сравненъ только развѣ съ увлекательнымъ стихотвореніемъ самой же графини Ростопчиной: «Посѣщеніе цыганскаго табора...».

И такая-то удалая женщина безпрестанно впадаетъ въ проповѣдническій тонъ и толкуетъ о нравственности и о религіозности. По ея понятіямъ, впрочемъ, нравственность состоитъ въ ухарскомъ увлеченіи, а религіозность... Но вотъ какъ она разсуждаетъ объ этомъ предметѣ. Нынѣ, восклицаетъ она, науки не такъ преподаются; всѣ только и хлопочутъ о томъ, чтобы религію уничтожить... «Кто же виноватъ, если теперь всѣ высшія науки приводятъ къ этому ужасному исходу, если философія, геологія, отчасти исторія громко и безнаказанно (гдѣ же это?) преподаются такъ, что онѣ должны истреблять всѣ зачатки вѣры, всѣ стремленія духовности, если онѣ отрицаютъ идею высшаго начала и *восхваляютъ* (а надо *возбранять?*) вещество!.. Кто

виноватъ, если основныя понятія вѣка отвергаютъ все, чему человѣкъ привыкъ вѣрить и поклоняться, и показываютъ грубый хаосъ родоначальникомъ вселенной и первобытной стихіей, изъ которой долженъ былъ образоваться человѣкъ? (Вонъ оно, — куда метнула! .. взявшись не за свое дѣло, безтолковая резонерка зарапортовалась: она и позабыла, что сказаніе о хаосѣ читается въ Книгѣ Бытія, а не въ новѣйшей философіи.) Кто жъ виноватъ, что въ нашъ вѣкъ ученые и умные боятся прослыть невѣждами и суевѣрами (желаніе, кажется, довольно естественное!), если они не пытаются идти противъ доводовъ науки и раздѣляютъ мнѣніе высшихъ свѣтилъ, ее проповѣдующихъ и т. д. (т. III, стр. 63—64). Видите ли: она думаетъ, что для религіозности необходимо нужно идти противъ науки! .. Тогда, конечно, и религіозность хороша будетъ, — въ родѣ той, какую исповѣдуетъ сама Сара Егоровна. Не угодно ли посмотрѣть, какіе силлогизмы сочиняетъ она, напримѣръ, о Провидѣніи ... Разсуждаетъ она совершенно безцеремонно о томъ, кого мужчинѣ легче покорить — женщину или дѣвушку, и заключаетъ:

Да! всѣ мы, сколько насъ ни есть, всѣ мы прямыя, настоящія дочери Евы: всѣмъ намъ передала общая праматерь свое тревожное любознанье, свою страстную тоску по запретномъ... Всѣхъ насъ неодолимо тянетъ къ запрещенному плоду. Всѣ мы *должны* вкусить его, чтобъ удостовѣриться въ его горечи, познать наше заблужденіе и раскаяться въ нашей винѣ. Безъ того женщина словно не вполнѣ женщина, не достигаетъ своего совершеннаго развитія. Лучшія изъ насъ непремѣнно прошли эту школу. Пересмотри преданья первыхъ временъ христіанства, переберн исторію среднихъ вѣковъ, византійскія легенды, записки XVI, XVII и даже начала XVIII ст., ты увидишь, что всѣ строжайшія жилицы монастырей и обителей, все, что

убѣгало въ пустыни и спасалось въ уединеньи... было приведено къ мирной пристани только бурею житейской... Всѣ онѣ начали любовью, чтобы кончить покаяніемъ и молитвою. Стало быть, есть же какая то тайная сила, которая влечетъ насъ безъ нашего вѣдома и участья къ исполненію нашей участи... Стало быть, пути Провидѣнія неисповѣдимы (стало быть!!!), и оно заранѣе знаетъ цѣль, которой не видятъ наши близорукіе взоры! (стало быть!). Стало быть, нѣтъ силы и нѣтъ воли, которыя могли бы затаиться и укрыться отъ одного изъ первѣйшихъ условій жизни!... (Дѣло идетъ все о томъ же запретномъ плодѣ, который всѣ женщины наслѣдовали отъ праматери Евы!) (Т. IV, стр. 85.)

Такія безобразныя понятія, призывающія Провидѣніе въ оправданіе своей удали и чувственности, конечно, должны ужасаться движенія здравыхъ философскихъ идей... Помѣшала имъ, видите, геологія съ исторіей: зачѣмъ, дескать, безнаказанно преподаются? А какое наказаніе получили учителя, передавшіе вамъ, Сара Егоровна, скандалезную исторію дебошировъ всякаго рода и всѣхъ временъ, — которую вы такъ подробно и отчетливо знаете, какъ видно изъ вашихъ писемъ?

Та, къ которой обращаются воззванія Сары Егоровны, Маргарита Петровская, тоже — бой-баба, и, при размашистости своей натуры, не лишена нѣкоторой экзальтаціи. Она — дѣвушка, но это не налагаетъ на нее какой-нибудь особенной печати: ей уже 30 лѣтъ, она очень опытна, и, судя по ея письмамъ, конечно уже не укрылась отъ «одного изъ первѣйшихъ условій жизни». Съ рѣдкою беззастѣнчивостью разсказываетъ она мужчинѣ о томъ, какъ другой мужчина, незваный, ломился къ ней въ комнату и пр... Онъ хотѣлъ, говоритъ она, сдѣлать изъ меня свою Аспазію, свою Эгерію... Какъ будто мало на то лоретокъ? — съ гордостью

вопрошаетъ она въ заключеніе. Вообще, лоретки составляютъ любимый предметъ ея разсужденій, и она пишетъ о нихъ даже съ сильными претензіями на юморъ. О свойствѣ ея юмора можетъ дать понятіе слѣдующій примѣръ: «Я, конечно, всею душою уважаю и люблю Тихопадскаго, — *но вѣдь только душою* . . . А матушка и онъ имѣютъ виды и планы гораздо возмутительнѣе для моей независимости и *безопасности* . . .». Не правда ли, что для письма дѣвушки это каламбурецъ довольно игриваго содержанія? . .

Но пора намъ оставить характеристику героинь, и разсказать содержаніе романа, которое раздѣляется собственно на два содержанія — исторію Маргариты и исторію Сары, не имѣющія между собою ничего общаго, кромѣ того, что обѣ совершенно нелѣпы. Передадимъ сначала исторію Маргариты: она покороче.

Маргарита — дочь бѣднаго украинскаго помѣщика, воспитывается у княгини Г., своей крестной матери, вмѣстѣ съ дочерью ея Китти. Она получаетъ блестящее воспитаніе, наравнѣ съ княжной, и вводится въ большой свѣтъ. Тутъ на нее обращаютъ вниманіе, и княжна съ княгиней начинаютъ за то преслѣдовать воспитанницу. Преслѣдованье продолжается два года: она все живетъ у нихъ, очарованная, какъ сама говоритъ, своими свѣтскими успѣхами. Черезъ два года въ нее влюбляется графъ П. (дѣвица Маргарита Петровская чрезвычайно таинственна: она называетъ только буквами своихъ знакомыхъ князей и графовъ). Она тоже полюбила его . . . Онъ такъ искусно умѣлъ — говоритъ она — бросать мнѣ намеки о нашей будущности, о своихъ намѣреніяхъ! . . Я должна бы-

ла повѣрить, что эти намѣренія честны и прочны; я повѣрила, я почитала себя невѣстою любимаго и любящаго меня человѣка.

Далѣе слѣдуютъ точки... а еще далѣе графъ П. женится на княжнѣ Китти, извиняясь передъ Маргаритой тѣмъ, что его принудили... Графъ поселяется съ женой въ домѣ княгини Г., и Маргарита остается тутъ же, — хотя и могла бы удалиться къ матери. Черезъ полгода послѣ женитьбы графъ снова началъ за ней ухаживать, сталъ ожидать ее на лѣстницахъ, преслѣдовать по заламъ и явно, открыто говорить о своей страсти. Она была «глубоко уязвлена», какъ сама говоритъ, и рѣшилась обороняться... Легче всего было бы уѣхать, но тогда не было бы геройства. А ей непремѣнно хотѣлось сценъ, борьбы, страданій, Богъ вѣсть ужъ зачѣмъ ей всей этой дряни было надобно... Она осталась ждать, и дождалась, разумѣется, до того, что однажды, въ отсутствіе жены, графъ забрался въ комнату Маргариты и хотѣлъ сдѣлать изъ нея свою Аспазію... Она не согласилась; но и этотъ урокъ не проучилъ ее. Она все-таки осталась въ этомъ домѣ, да еще пожаловалась на графа дядѣ его — старику Симборскому, отъ котораго графъ ждалъ богатаго наслѣдства. Симборскій влюбился въ нее самъ и сталъ ей оказывать свое вниманіе, а княгиня Г. и Китти опять стали ее преслѣдовать. Она все ждала и дождалась формальнаго предложенія отъ Симборскаго, отъ котораго однакоже отказалась. Самъ графъ совѣтовалъ ей выйти за старика затѣмъ, что тогда, — объясняетъ она, — онъ надѣялся успѣшнѣе продолжать свое волокитство. Отказавши Симборскому, Маргарита потеряла послѣднюю защиту и подверглась сильнѣйшему

гоненію княгини и Китти и новымъ, ужаснѣйшимъ прежняго преслѣдованіямъ со стороны графа. Наконецъ ужъ тутъ рѣшилась она уѣхать домой, — къ матери... Пожила она съ матерью немножко и отправилась въ Одессу... Тамъ встрѣтила степеннаго помѣщика Тихопадскаго, котораго полюбила душою, — и молодого человѣка Краснодольскаго, котораго полюбила сердцемъ. Краснодольскій, какъ само собою разумѣется, былъ образецъ всѣхъ совершенствъ въ глазахъ Маргариты, но ей нельзя было выйти за него, потому что онъ состоялъ уже въ законномъ бракѣ, къ которому принудили его разстроенныя обстоятельства, послѣ слишкомъ сильныхъ кутежей. Онъ въ нее страстно влюбился и пишетъ къ ней письма, ругая въ нихъ жену свою. Она отвѣчаетъ ему въ томъ же родѣ. Между тѣмъ Тихопадскій къ ней сватается; она отказываетъ. Скоро послѣ того умираетъ мать ея, имѣнье идетъ въ раздѣлъ, и у Маргариты ничего почти не остается. Тихопадскій повторяетъ сватовство, Маргарита снова отказываетъ, чтобы не потерять своей независимости, и идетъ въ гувернантки къ Краснодольскому для воспитанія его дочери. Жена Краснодольскаго знаетъ, безъ всякаго сомнѣнія, ихъ прежнія сношенія и неохотно принимаетъ въ домъ свою соперницу, но не препятствуетъ. Маргарита съ своей воспитанницей поселяется въ отдѣльномъ флигелѣ, куда Краснодольскій каждый вечеръ приходитъ къ ней, и потомъ нерѣдко катаетъ ее по полю на лихой тройкѣ... Такъ проходитъ нѣсколько времени, въ продолженіе котораго Краснодольскій открываетъ связь своей жены съ какимъ-то пройдохою швейцарцемъ и хочетъ съ ней развестись. Маргарита очень рада; но

вдругъ Краснодольскаго подстрѣливаетъ на охотѣ собственный егерь, подкупленный его женою, и Маргарита идетъ въ монастырь . . .

Если бы всѣ эти безразсудства она дѣлала въ простотѣ души, то она была бы просто глупа, и слава Богу, разумѣется. Но она себя выставляетъ какою-то героинею, безпрестанно резонируетъ, толкуетъ о высшихъ стремленіяхъ и потребностяхъ, о непоколебимости на пути добра и т. п. А между тѣмъ на каждомъ шагу выказываетъ она жалкое невѣдѣніе самыхъ простыхъ законовъ мышленія и общественной жизни, самое кривое пониманіе добра и зла . . . Оттого она нелѣпа и каррикатурна до отвратительности во всѣхъ своихъ поступкахъ, которые она считаетъ подвигами добродѣтели и самоотверженія. Напримѣръ, она пренаивно разсказываетъ о своихъ ночныхъ прогулкахъ съ Краснодольскимъ и потомъ прибавляетъ: *«иногда, возвращаясь съ нашихъ прогулокъ,* мы видимъ яркій свѣтъ въ окнахъ боскетной (предполагается, что тамъ сидитъ жена Краснодольскаго и съ нею швейцарскій пройдоха-гувернеръ) и оба останавливаемся невольно, пораженные одною и тою же мыслью. Въ такія минуты я боюсь взглянуть на него . . . Мнѣ совѣстно и стыдно за этого человѣка, оскорбленнаго во всемъ, что наиболѣе затрагиваетъ самолюбіе и гордость мужчины». Видите ли: ей стыдно за него — не потому, что онъ дѣлаетъ глупости, а потому, что его оскорбляютъ... Да чѣмъ же запоздалая бесѣда въ боскетной, да еще при *яркомъ свѣтѣ,* предосудительнѣе уединенной прогулки въ темнотѣ ночной? . . Героическая Маргарита никакъ не хочетъ сообразить, что она произноситъ судъ сама надъ собою же . . . И подоб-

ныхъ выходокъ у ней безсчисленное множество... Нельзя не сознаться, что этотъ типъ чрезвычайно удался графинѣ Евдокіи Ростопчиной. Трудно представить поведеніе болѣе легкое при болѣе скучномъ и исполненномъ высокихъ претензіи резонерствѣ; трудно представить большее отсутствіе здраваго смысла и большую пошлость въ увлеченіяхъ... Типъ, еще болѣе исполненный всякихъ несообразностей въ мысляхъ и въ дѣлахъ, могло начертать только то же перо, которое создало образъ Маргариты Петровской. И графиня Евдокія Ростопчина дѣйствительно исполнила это: она изобразила Сару Волтынскую, и въ ея лицѣ, кажется, окончательно исчерпала свою задачу.

Сара получила, должно быть, довольно легкое воспитаніе, вышла очень молоденькая замужъ за Волтынскаго, черезъ нѣсколько лѣтъ овдовѣла и отправилась съ двоими дѣтьми въ свое имѣнье. Здѣсь познакомилась она съ сосѣдками — Фанной Якимовной и Аграфеной Тихоновной, у которыхъ есть родственничекъ, Александръ Орбиновичъ. Это — малый, способный только бить баклуши; одинъ изъ самыхъ несносныхъ коптителей неба. Онъ годами пятью моложе Сары, и она считаетъ его мальчишкой, на котораго не стоитъ обращать вниманія. Онъ же, при своемъ нравственномъ ничтожествѣ, не имѣетъ даже и внѣшняго лоска, который могъ бы примирить съ нимъ свѣтскую женщину. Онъ застѣнчивъ, неловокъ, необтесанъ, не умѣетъ поддержать самаго пустого разговора. Сара все это замѣчаетъ при первомъ же знакомствѣ, и потому цѣлый годъ они не сходятся другъ съ другомъ. Онъ спасаетъ ея утопавшаго сына, — она ему очень благодарна, обращаетъ на него вни-

маніе, ходитъ за нимъ, когда онъ дѣлается боленъ отъ простуды въ рѣкѣ; но онъ такъ глупо ведетъ себя, что и тутъ все дѣло оканчивается только усиленіемъ въ ней прежняго отвращенія къ дрянному мальчику. До сихъ поръ все шло хорошо; но тутъ начинаются удивительныя приключенія, которымъ никто не повѣрилъ бы, если бы ихъ не засвидѣтельствовала письменно сама Сара Егоровна. Она начинаетъ съ Александромъ сцены, въ которыхъ выходитъ изъ себя отъ негодованія, уязвленнаго самолюбія и т. п. Но сама она воображаетъ, что одерживаетъ побѣды надъ мальчикомъ въ своихъ спорахъ съ нимъ, и высокомѣрно утверждаетъ, что проучила его, дала ему урокъ и т. п. Тѣмъ не менѣе, по просьбѣ тетки, Фанны Якимовны, она соглашается сопровождать Александра въ его прогулкахъ на лихой тройкѣ. Александру, видите, докторъ велѣлъ непремѣнно ѣздить каждый день, а онъ не хочетъ ѣздить безъ Сары. Такъ говоритъ ей Фанна Якимовна, и, разумѣется, Сарѣ нужно много самодовольной глупости для того, чтобы согласиться сопровождать Александра послѣ такого объясненія... Она, однако, соглашается и даже отчасти мирится съ презираемымъ ею мальчикомъ, замѣтивши признаки ухарства въ его умѣньѣ править лошадьми. Вскорѣ затѣмъ пріѣзжаютъ въ сосѣдство двое офицеровъ и навѣщаютъ Сару. Въ одномъ изъ нихъ она по походкѣ узнала бывшаго пажа: у пажей есть что-то особенно ловкое и аристократическое въ пріемахъ, замѣчаетъ она съ обычной своей проницательностью. Черезъ день она уже называетъ его Гришей, катается съ нимъ, проводитъ длинные зимніе вечера. Орбиновичъ, какъ ни пустъ онъ, смекаетъ, однако, что не худо ему показать

опять свою удаль: онъ является къ Сарѣ во время ея вечерней бесѣды съ Гришей и съ его товарищемъ г. Лавровскимъ (который, впрочемъ, не имѣетъ ничего общаго ни съ однимъ изъ извѣстныхъ ученыхъ, братьевъ Лавровскихъ), ведетъ себя совершенно дико и производитъ впечатлѣніе. Впрочемъ, безтолковая во всемъ, Сара скоро забываетъ это впечатлѣніе и преводитъ время отъ Рождества и до поста въ танцахъ и катаньяхъ съ Гришей и другими. Орбиновичъ дѣлаетъ ей сцену въ домѣ своей тетушки; она клянется зато никогда не видать его, но потомъ встрѣчается съ нимъ случайно, замѣчаетъ, что онъ вынесъ какую-то борьбу, возмужалъ, то есть пріобрѣлъ болѣе ухарское выраженіе, и тутъ— «что-то и охнуло и забилось у ней въ груди . . .». Это было въ Прощальное воскресенье. Чистый понедѣльникъ провела Сара ровно въ какомъ-то оцѣпенѣніи, во вторникъ Гриша простился съ ней, отъѣзжая въ Петербургъ, и вслѣдъ за нимъ явился Александръ съ словами: «это я . . . тотъ уѣхалъ . . . Богъ съ нимъ . . .». За этимъ неприличнымъ вступленіемъ послѣдовало колѣнопреклоненіе. Сара «нагнулась къ нему, чтобы поднять его, и вмѣсто того обняла руками его шею и очутилась въ его объятіяхъ». Поведеніе Сары Егоровны, высокомудрой, опытной вдовы, было бы совершенно неизвинительно по своей ребяческой безтолковости, даже и тогда, когда бы этимъ все дѣло и оканчивалось. Но развязка ея похожденій еще далеко, и чѣмъ дальше, тѣмъ они страннѣе и нелѣпѣе. Кажется, молодая, независимая вдова въ двадцать семь лѣтъ, полюбивши молодого человѣка, котораго тетушка и бабушка давно уже и очень настойчиво намекали ей о свадьбѣ, должна была позаботиться о

порядочномъ концѣ своей любви. Но это было бы для нея очень пошло; такъ могутъ поступать обыкновенныя женщины, которыхъ она называетъ чѣмъ-то среднимъ между лоретками и возвышенными существами, и потому «слово бракъ не было между ними произнесено». Онъ былъ бѣднѣе ея, она была старше его, и «взаимная деликатность сковывала уста». Деликатность эта соблюдалась, однако, только относительно формы: на дѣлѣ было не то, и графиня Евдокія Ростопчина съ истинно-художническимъ тактомъ подмѣтила эту черту безтолковой щепетительности Сары на словахъ и цинической безцеремонности на дѣлѣ, заставивъ ее написать слѣдующее:

Когда Александръ видѣлъ себя любимымъ, когда онъ всякій день проводилъ со мною длинные часы, въ полной короткости и непринужденности, съ него мало было, и высшая отрада раздѣленнаго чувства не наполняла ужъ его мятежнаго сердца... Мужчина страстный и чувственный проснулся вдругъ къ капризномъ ребенкѣ: онъ захотѣлъ полнаго торжества себѣ, полнаго самопожертвованья съ моей стороны... Сердце говорило мнѣ, что одна страсть должна повергнуть женщину въ объятія ея любовника. Упорно и добросовѣстно боролась я, пока стало силъ моихъ. Кромѣ чувства долга у замужнихъ женщинъ, кромѣ отвращенья отъ лжи и предательства, я вѣрю, что у всякой женщины, если она не отродье (?) своего пола, есть еще защитникъ — святой стыдъ! Нѣтъ! не мечта и не заблужденье, не предразсудокъ, внушенный воспитаньемъ и страхомъ людей, это тайное, это всесильное чувство, которое изъ каждой изъ насъ дѣлаетъ весталку чистаго огня, хранительницу своей чести; это — чувство врожденное намъ, оно выражается въ насъ то боязнью, то отвращеньемъ, даже передъ любимымъ человѣкомъ. Чтобъ побѣдить его, нужно намъ высокое (!) самопожертвованье, нужно, чтобъ женщинѣ послѣднимъ доказательствомъ любви своей усвоить себѣ на вѣкъ осчастливленнаго ею и выкупить

его у всѣхъ соблазновъ жизни. И если часъ мой пробилъ, то это потому, что я съ самою собою думала отдать ему всю жизнь мою!... (Т. III, стр. 34—35.)

Не взыщите, что Сара Егоровна такъ нескладно выражается по-русски: лучше она не умѣетъ, несмотря на то, что часто толкуетъ вкривь и вкось о русской литературѣ. Оставимъ въ покоѣ ея языкъ; гораздо болѣе любопытны ея слова, какъ образецъ безстыдства, съ какимъ пустая женщина можетъ иногда говорить о стыдѣ. Это все оттого, что у нея вмѣсто сердца — чувственность, а вмѣсто нравственныхъ понятій — сентенціи, взятыя на прокатъ.

Жизни своей съ Александромъ послѣ того, когда «часъ ея пробилъ», Сара не описываетъ, потому что счастья нельзя описывать, говоритъ она, и затѣмъ философствуетъ слѣдующимъ образомъ:

Попытаюсь выразить мысль мою сравненіемъ. Объяснять свѣтъ труднѣе, чѣмъ объяснить мракъ, принимая въ соображеніе, что есть третье состояніе, которое собственно ни свѣтъ, ни мракъ, какъ бываетъ въ пасмурные дни, когда все въ природѣ тускло и безъ отблеска. Но блеснетъ солнце, и лучи его озолотятъ всѣ предметы, придавая имъ вдругъ и прозрачность, и яркость, и округлость, и сіянье — предметы въ сущности своей не измѣнились, но они озарены: это дѣйствіе свѣта!... (Т. III, стр. 39.)

Какъ вамъ нравится эта философія, для которой надо принять въ соображеніе, что «есть третье состояніе, которое не есть ни свѣтъ, ни мракъ»... Таковы всѣ разсужденія этой, немножко фривольной, резонерки: всѣ они начинаются съ какихъ-то среднихъ, неопредѣленныхъ отношеній и вращаются около золотой средины, совершенно безцѣльныя и пошлыя. Таковы же и поступки ея. Цѣлыхъ три года она наслаждается съ Александромъ, и попреж-

нему взаимная деликатность мѣшаетъ имъ заговорить о свадьбѣ. Онъ поступаетъ съ нею какъ мальчишка и ревнуетъ ее ко всѣмъ старикамъ и уродамъ, преслѣдуетъ своимъ гнѣвомъ за всякое неловкое движеніе; а она вдругъ дѣлается предъ нимъ кроткой овечкой, ни слова не смѣетъ сказать ему, мучится, страдаетъ и бѣгаетъ за этимъ мальчикомъ, котораго въ глубинѣ души все-таки презираетъ за его тунеядство, тупую апатію и безтолковость. Но однажды, послѣ сцены съ своимъ возлюбленнымъ, Сара вдругъ, проводивши его, около полуночи, позвонила, созвала весь домъ — дворецкаго, приказчика, няню, весь свой домашній штатъ, — и приказала тотчасъ же все готовить къ отъѣзду въ Москву. «Въ домѣ поднялась тревога», говоритъ она; конечно, старая няня сожалѣла о внезапномъ поврежденіи ея разсудка, а дворецкій увѣрялъ, что она ужъ «съ роду такова». Но Сара, не теряя присутствія духа, среди этой тревоги, сочинила два прощальныхъ письма — къ Александру и къ его теткѣ, которая, говоритъ она, «нетерпѣливо, но съ удивительной скромностью ожидала времени, когда ей будетъ, наконецъ, позволено назвать меня своею племянницею». Бѣдная старушка не знала оригинальной деликатности резонерки.

Изъ Москвы Сара отправилась въ имѣніе своего свекра Кирилла Захарыча, въ Саратовской губерніи. Она описываетъ характеръ свекра, главнѣйшимъ образомъ обращая вниманіе на интимныя отношенія его къ разнымъ дворовымъ «Лавальершамъ, Монтеспаншамъ и Помпадуршамъ», какъ она выражается. Боязнь ли потерять наслѣдство заставляетъ ее такъ подробно толковать о такихъ щекотливыхъ предметахъ, или просто сердечная склон-

ность, рѣшить трудно. Хорошо еще, если первое; но кажется, что въ ней сильны были обѣ эти причины. Такова ея натура, и таково, вѣроятно, было воспитаніе, заставившее ее изучить до малѣйшихъ подробностей скандалезную хронику временъ Людовика XIV и XV и всѣ дебоширства старинныхъ временъ. Въ старикѣ свекрѣ Сары, грубомъ самодурѣ, нравится ей болѣе всего «его феодальное уваженіе къ имени, семейству и роду», да еще то, что «онъ рѣшился лучше пожертвовать цѣлою жизнью, чѣмъ подвергнуться мгновеннымъ насмѣшкамъ общества и свѣта». А самопожертвованіе его состояло въ томъ, что, поскользнувшись какъ-то на балѣ, онъ отъ стыда удралъ въ деревню, и оттуда уже никогда въ свѣтъ не показывался, а прожилъ весь вѣкъ съ своими помпадуршами. Нечего сказать — высокая черта характера! Въ глазахъ такой женщины, какъ Сара Егоровна, Кириллъ Захарычъ, дѣйствительно долженъ казаться человѣкомъ съ великой энергіей и силой воли! . .

У этого-то слабодушнаго сумасброда знакомится Сара съ княземъ Элимомъ Суздальскимъ, тѣмъ самымъ шутомъ, который боится грамоты и выписываетъ, для удовольствія Сары, нижегородскихъ цыганъ на святкахъ. Она пишетъ къ своей подругѣ, что князь оказываетъ ей свое вниманіе, и это ее безпокоитъ. «Зачѣмъ? Что я ему? что онъ мнѣ? — спрашиваетъ она, и прибавляетъ: — онъ честный и благородный человѣкъ, онъ не имѣетъ какой-нибудь дурной, непозволительной цѣли. Онъ ничего не хочетъ отъ меня, кромѣ удовлетворенія какого-то страннаго, капризнаго любопытства на мой счетъ» . . . Это, не знаемъ почему, напомнило намъ восклицаніе Хлестакова: «Нѣтъ, вы этого не

думайте: я не беру совсѣмъ никакихъ взятокъ... Вотъ, если бы вы, напримѣръ, предложили мнѣ взаймы рублей триста, ну, тогда совсѣмъ другое дѣло...». Но это въ сторону. Съ Сарой случилось вотъ какое обстоятельство: въ село Кирилла Захарьича явился возлюбленный ея — Орбиновичъ, небритый, не приглаженный, съ измятымъ лицомъ, одѣтый неряхой. Она видитъ его въ первый разъ въ церкви и ужасается. Черезъ нѣсколько часовъ онъ проситъ позволенія видѣть ее, и она, — вы думаете отказывается отъ свиданія? — нѣтъ, она принимаетъ его въ своей комнатѣ, опасаясь, что «иначе онъ подниметъ шумъ въ домѣ». Шумъ, разумѣется, поднимаетъ онъ въ ея комнатѣ, узнавъ, что она его разлюбила и презираетъ. Въ порывѣ бѣшенства онъ грозитъ показать ея письма къ нему князю Элиму, котораго считаетъ своимъ счастливымъ преемникомъ. Сара страшно изумляется такому мнѣнію, потому что она до сихъ поръ и мысли не имѣла о князѣ Элимѣ, по ея собственному признанію. Она оправдывается передъ Александромъ и прогоняетъ его отъ себя, а потомъ ложится въ постель, сказавшись больною. Черезъ нѣсколько часовъ входитъ къ ней князь Элимъ и говоритъ: «Сара Егоровна! вы не больны, вы огорчены; удостойте меня вашего довѣрія». Она и удостаиваетъ, — такъ, ни съ того, ни съ сего. Въ письмѣ къ Маргаритѣ, она, потомъ, обругавъ прежняго возлюбленнаго «*подлецомъ*», увѣряетъ, что какой-то «добрый геній шепнулъ ей ему (Элиму) повѣрить все». И продолжаетъ: «Я заглушила въ себѣ голосъ приличій свѣтскихъ (да и всякихъ), — сопротивленіе женской скромности, ложный стыдъ за старые грѣхи... Я вылила всю душу, высказала

все сердце. Откуда что бралось!..». (Томъ VII, стр. 111.) Подлинно что такъ: откуда что бралось! Князь Элимъ, какъ настоящій шутъ, выслушавъ признаніе, ту же минуту самъ дѣлаетъ ей декларацію въ любви, — и она ту же минуту падаетъ къ нему въ объятія и говоритъ: «да»... Казалось бы, хоть тутъ могъ быть конецъ глупостямъ. Но нѣтъ: на другой день князь Элимъ письменно дѣлаетъ Сарѣ формальное предложеніе; она соглашается, но требуетъ, чтобы ея рѣшеніе оставалось до времени втайнѣ.

Князь Элимъ соглашается. Проходитъ два мѣсяца; свекра Сары разбиваетъ параличъ; она ухаживаетъ за старикомъ, и свадьбы быть не можетъ. Вдругъ, черезъ мѣсяцъ еще, получаетъ она отъ тетки Александра письмо съ извѣщеніемъ, что бабушка его умираетъ и что только пріѣздъ Сары можетъ спасти ее отъ смерти. Сара, все болѣе теряя употребленіе разсудка, бросаетъ все и ѣдетъ. Пріѣхавъ туда, находитъ, что старуха не умираетъ, а просто груститъ по внукѣ, и вызвала Сару за тѣмъ, чтобы отправить ее въ Москву, за Александромъ, который совсѣмъ отбился отъ рукъ и кутитъ тамъ напропалую. Вы думаете, что она разсердилась на это предложеніе, что человѣческое безуміе не можетъ простираться до согласія на такія вещи? Ошибаетесь: она поѣхала, вмѣстѣ съ теткой Александра, и «отправилась его отыскивать по Москвѣ, *въ полночь!*»... Нашли его гдѣ-то на Плющихѣ, въ домѣ, знакомства съ которымъ мы никакъ не рѣшились бы подозрѣвать въ сочинительницѣ писемъ, столь возвышенно резонирующихъ. Между тѣмъ описаніе этого дома, его обитателей и пьяной оргіи, въ немъ происходящей, принадлежитъ къ самымъ

живымъ и задушевнымъ мѣстамъ романа: несомнѣнно, что Сара Егоровна въ самомъ дѣлѣ хорошо знакома съ подобными жилищами и съ ихъ бытомъ. Въ комнатѣ, куда вошла Сара съ теткой Александра, нѣсколько пьяныхъ встрѣтили ихъ привѣтствіями такого рода: «Милости просимъ, красотки! Къ кому же вы? Все равно, пожалуйте! . . Мы добрые ребята, съ нами не соскучитесь . . . ». Наши искательницы приключеній доблестно отбились отъ всѣхъ нападеній и заставили, наконецъ, провести себя къ Александру, хотя имъ и говорили, что «наврядъ ли онъ можетъ видѣть васъ». Онѣ нашли его «въ крошечномъ альковѣ, гдѣ была кровать, на которой сидѣла женщина очень недурная, но съ наглою, дерзкою физіономіею, носящею отпечатокъ безнравственности и порока. Подъ ногами у нея была скамейка, на скамейкѣ сидѣлъ человѣкъ въ грязномъ халатѣ, небритый, немытый, нечесанный, и упирался головою на колѣни этой женщины; то былъ Александръ Орбиновичъ» . . . Онъ былъ пьянъ; но Сара начинаетъ ему проповѣдывать о любви къ теткѣ. Онъ говоритъ, что всѣ женщины равны, лишь бы были хорошенькія, и цѣлуется со своей Полей, приговаривая, что она — славная дѣвка, стоитъ всякой барыни . . . Кажется, ясно: Сарѣ надобно хоть сейчасъ отправляться къ Элиму. Не тутъ-то было: на другой день она опять является съ теткой къ Александру; Полю выталкиваютъ въ шею за двери, а его перевозятъ на другую квартиру и начинаютъ лѣчить. Сара за нимъ ухаживаетъ. Такое нелѣпое поведеніе наконецъ выводитъ изъ себя самого князя Элима: онъ пишетъ Сарѣ письмо, въ которомъ проситъ ее оставить Орбиновича. Она не слушается, потому что Фанна Якимовна проситъ

ее дождаться выздоровленія Орбиновича, а сама, къ довершенію нелѣпости, уѣзжаетъ въ деревню, гдѣ умираетъ бабушка Аграфена Тихоновна. Сара остается одна съ больнымъ, въ отдѣльномъ флигелѣ въ Москвѣ. Князь Элимъ какъ разъ въ это время проѣзжаетъ черезъ Москву въ Петербургъ, и побывши на дворѣ того дома, гдѣ живетъ Сара съ Александромъ, разспросилъ обо всемъ у дворника и уѣхалъ, чтобы не тревожить Сары, а потомъ прислалъ ей письмо, въ которомъ разсказалъ, что былъ у нея и что черезъ десять дней опять будетъ въ Москвѣ и возьметъ ее съ собой въ деревню. Для этого она должна оставить Орбиновича, ждать его въ гостиницѣ Дрезденъ или у Мореля. Она перебирается въ Дрезденъ. Александръ прибѣгаетъ туда къ ней, грозитъ застрѣлиться, дѣлаетъ страшный скандалъ и падаетъ въ безпамятствѣ. Его оставляютъ въ той же гостиницѣ. Между тѣмъ князь Элимъ, пробывши въ Петербургѣ дольше чѣмъ разсчитывалъ, предположилъ, что Сара уже уѣхала безъ него, и, не справившись о ней въ гостиницѣ, уѣхалъ изъ Москвы одинъ.. Она узнала объ отъѣздѣ его изъ газетъ и предположила, что онъ ее бросилъ за этотъ скандалъ, какой надѣлалъ съ нею Орбиновичъ. Вышло, видите, взаимное недоразумѣніе, достойное такихъ недоумковъ, какъ Сара и Элимъ. Вообразивши свое несчастье, Сара рѣшается уже остаться до конца съ Александромъ и проводить его въ деревню къ бабушкѣ. Но мелкая душонка ея и тутъ не выдерживаетъ: она начинаетъ мучить и дразнить больного, чтобы выместить на немъ свою досаду. Несмотря на то, черезъ мѣсяцъ бабушка, умирая, проситъ ее выйти замужъ за Александра, и она соглашается!.. На другой

день Элимъ, провѣдавъ, наконецъ, гдѣ она, является къ ней и разрѣшаетъ недоразумѣніе; но уже поздно... Она обручена съ другимъ, при постели умирающей Аграфены Тихоновны. У князя Элима достало столько смысла, чтобы сказать Сарѣ, что это вздоръ, что она можетъ избавиться отъ своего обязательства... Но она пишетъ ему мелодрамное объясненіе, въ которомъ говоритъ: нѣтъ, Элимъ, нѣтъ, князь!... Ужели я обману покойницу и пр., на двѣнадцати страницахъ. Впрочемъ, это не рѣшимость, а опять только малодушіе; она ищетъ лазейки, надѣется, ждетъ, и еще цѣлый годъ не вѣнчается съ Орбиновичемъ. Наконецъ она рѣшается на послѣдній шагъ, и то со злости: Орбиновичъ взбѣсился на нее, услыхавъ, что Элимъ ѣдетъ туда, гдѣ они живутъ, и попрекнулъ ее... Она взбѣсилась на Орбиновича и назавтра назначила день свадьбы... Элимъ отправляется путешествовать; Александръ на пятый годъ послѣ женитьбы умираетъ. Сара еще разъ видится съ Элимомъ на бастіонѣ Севастополя, гдѣ онъ былъ раненъ, а она была въ числѣ сестеръ милосердія. — Въ заключеніе авторъ говоритъ: стало быть названіе этой длинной повѣсти не солгано: всѣ дѣйствующія лица *у пристани,* каждый по-своему, кто уже въ томъ мірѣ, кто еще въ этомъ, но уже готовый къ тому...

Намъ утомительно было пересказывать эту длинную исторію, въ которой женщина, толкующая о нравственности, о возвышенныхъ чувствахъ и о разумныхъ требованіяхъ, ведетъ себя такъ пошло, безумно и безнравственно... Но тѣмъ сильнѣе наше удивленіе къ искусству автора, умѣвшаго представить такую невообразимую, чудовищную несообразность со здравымъ смысломъ въ поведеніи

женщины резонерки, сочиняющей письма въ два тома величиною... И что всего замѣчательнѣе, авторъ ни на минуту не выпустилъ изъ виду своей роли драматическаго писателя: онъ нигдѣ не высказываетъ своего личнаго воззрѣнія на своихъ героевъ... Напротивъ, онъ до того входитъ въ ихъ положеніе, до того проникается ихъ интересами, что излагаетъ ихъ чувства и убѣжденія совершенно такъ, какъ будто свои собственныя. Несмотря на весь комизмъ водевильныхъ положеній дѣйствующихъ лицъ, несмотря на баснословную глупость и анекдотическую пошлость героевъ, авторъ ни разу не поддался искушенію выставить ихъ искусственно въ комическомъ свѣтѣ... Напротивъ, герои превозносятъ другъ друга совершенно серьезно, безъ малѣйшаго юмора, и даже Сара Волтынская описывается какъ «единственная женщина съ душою свѣтлою и теплою, какъ солнце, твердою и непоколебимою, какъ гранитъ», и пр. Это умѣнье автора не высказывать своего взгляда на изображаемыя личности можетъ, пожалуй, опять ввести многихъ въ заблужденіе. Могутъ подумать судя по тону изложенія, что авторъ серьезно считаетъ свои лица людьми честными, благородными и неглупыми. Это было бы, безъ сомнѣнія, очень грустно для автора, и потому мы думаемъ, что, рѣшившись на такой подробный разборъ романа, оказываемъ автору услугу, ставя читателей на настоящую точку зрѣнія. И кто станетъ на эту точку, тотъ найдетъ въ романѣ графини Евдокіи Ростопчиной неисчерпаемый источникъ комическихъ сценъ, положеній и характеровъ... Забавнѣе Сары Егоровны, съ ея безконечными разглагольствованіями, двухтомными письмами, обличеніями со-

временныхъ идей, страстью къ ухарству и цыганамъ, мелочностью и чувственностью, цитатами изъ временъ регентства, противорѣчіями самыми дикими и безтолковыми, — забавнѣе ея мы не знаемъ ни одной женщины въ русской литературѣ. Нѣкоторое слабое ея подобіе представляетъ госпожа Каурова въ пьесѣ «Завтракъ у предводителя», но не болѣе какъ слабое. Совершенное же, полное и живое выраженіе этого типа представила намъ нынѣ графиня Евдокія Ростопчина.

Губернскіе очерки.

Изъ записокъ отставного надворнаго совѣтника *Щедрина*. Собралъ и издалъ *М. Е. Салтыковъ*. Томъ третій. Москва. 1857.

Прошелъ съ небольшимъ годъ съ тѣхъ поръ, какъ первые «Очерки» г. Щедрина появились въ «Русскомъ Вѣстникѣ» и встрѣчены были восторженнымъ одобреніемъ всей русской публики. До настоящей минуты г. Щедринъ не сходитъ съ своей арены и продолжаетъ свою благородную борьбу, не обнаруживая ни малѣйшаго истощенія силъ. Онъ печатаетъ разсказъ за разсказомъ, постоянно высказывая въ нихъ, какъ великъ запасъ его средствъ, какъ неистощимъ источникъ его наблюденій. Мало того: къ нему постоянно присоединяются новые бойцы, и даже тѣ, которые молчали до сихъ поръ и прятались въ толпѣ безпечныхъ зрителей, — и тѣ, смотря на него, «вящшимъ жаромъ возгоря», отважно ринулись на поле безкровной битвы со всемогущимъ оружіемъ слова. Публика все еще съ любопытствомъ слѣдитъ за зрѣлищемъ этихъ подвиговъ, и разсказы *въ щедринскомъ родѣ* прежде всего прочитываются въ журналахъ. Но нельзя не видѣть, что теперь нѣтъ уже, ни въ публикѣ, ни въ литературѣ, прежняго увлеченія, прежней горячно-

сти, и что многіе донашиваютъ теперь сочувствіе къ общественнымъ вопросамъ, какъ старомодное платье. Кто началъ читать русскіе журналы только съ нынѣшняго года и не имѣетъ понятія о томъ, что было у насъ два года тому назадъ, тотъ потерялъ нѣсколько прекраснѣйшихъ минутъ жизни. Странно говорить объ этомъ времени какъ о давно прошедшемъ, но тѣмъ не менѣе — нельзя сомнѣваться въ томъ, что оно прошло и что не скоро русская литература дождется опять такой же поры. Мы вообще какъ-то очень скоро и внезапно вырастаемъ, пресыщаемся, впадаемъ въ разочарованіе, не успѣвши даже хорошенько очароваться. Растемъ мы скоро, истинно по-богатырски, не по днямъ, а по часамъ, — но выросши — не знаемъ, что дѣлать съ своимъ ростомъ. Намъ внезапно дѣлается тѣсно и душно, потому что въ насъ образуются все широкія натуры, а міръ-то нашъ узокъ и низокъ, -- развернуться негдѣ, выпрямиться во весь ростъ невозможно. И сидимъ мы, съежившись и сгорбившись «подъ бременемъ познанія и сомнѣнія», въ совершенномъ бездѣйствіи, пока не расшевелитъ насъ что-нибудь уже слишкомъ чрезвычайное. Одинъ изъ ученыхъ профессоровъ нашихъ, разбирая народную русскую литературу, съ удивительной прозорливостью сравнилъ русскій народъ съ Ильей Муромцемъ, который сидѣлъ сиднемъ тридцать лѣтъ, и потомъ вдругъ, только выпивши чару пива крѣпкаго отъ каликъ перехожіихъ, ощутилъ въ себѣ силы богатырскія и пошелъ совершать дивные подвиги. Въ самомъ дѣлѣ, вся наша исторія отличается какой-то порывистостью: вдругъ образовалось у насъ государство, вдругъ водворилось христіанство, скоропостижно переверну-

ли мы вверхъ дномъ весь старый бытъ свой, мгновенно догнали Европу и даже перегнали ее; теперь начинаемъ ее побранивать, стараясь сочинить русское воззрѣніе . . . Такъ было въ большомъ, то же происходило и въ маломъ: рванемся мы вдругъ къ чему-нибудь, да потомъ и сядемъ опять, и сидимъ, точно Илья Муромецъ, съ полнымъ равнодушіемъ ко всему, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ. Два года тому назадъ насъ расшевелила война, заставивши убѣдиться въ могуществѣ европейскаго образованія и въ нашихъ слабостяхъ. Мы какъ будто послѣ сна очнулись, раскрыли глаза на свой домашній и общественный бытъ и догадались, что намъ кое-чего недостаетъ. Едва эта догадка озарила нашъ умъ, какъ мы, съ рѣдкою добросовѣстностью и искренностью, принялись раскрывать «наши общественныя раны». Теперь многіе уже начинаютъ смѣяться надъ этимъ, и скептики, увѣрявшіе съ самаго начала, что все это:

Тяжелый бредъ души больной,
Иль плѣнной мысли раздраженье,

теперь злобно торжествуютъ, иронически поглядывая на взрослыхъ дѣтей, всегда склонныхъ къ увлеченію и видящихъ все въ розовомъ свѣтѣ. Но какъ хотите, — а надъ ними нечего смѣяться; въ ихъ увлеченіи было такъ много прекраснаго, благороднаго, такъ много юности и свѣжести. Любо смотрѣть было, въ самомъ дѣлѣ, на общее одушевленіе: самый робкій, самый угрюмый человѣкъ не могъ, кажется, не увлечься, видя, какъ всѣ единодушно и неутомимо хлопотали о томъ, чтобы раскрыть «наши общественныя раны», показать наши недостатки во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ. Ка-

кихъ вопросовъ не подняли, до какихъ закоулковъ не добрались! .. «Отъ Перми до Тавриды» пронесся одинъ громкій, энергичный возгласъ: идите всѣ, кто можетъ, спасать Русь отъ внутренняго зла! И все поднялось, все заговорило — твердо, сильно, разумно. Старые люди стряхнули, повидимому, свою давнишнюю лѣнь, возникли молодые дѣятели и съ свѣжими силами принялись за общее дѣло. Литература, какъ всегда, послужила первою выразительницею общественныхъ стремленій, приводя ихъ въ ясность и умѣряя ихъ силу строгимъ и обдуманнымъ обслуживаніемъ всѣхъ затронутыхъ вопросовъ. И литература получила, повидимому, общественное значеніе; она почти исключительно обратилась къ тѣмъ вопросамъ, которыми занято было вниманіе публики. Публика говорила о путяхъ сообщенія, и въ журналахъ были десятки статей о желѣзныхъ дорогахъ и другихъ средствахъ сообщенія, съ искреннимъ сознаніемъ, что до сихъ поръ мы мало имѣли хорошихъ дорогъ и оттого не мало потеряли. Поднялся вопросъ о тарифѣ, и тотчасъ явился рядъ статей о свободной торговлѣ и запретительной системѣ. Обратили вниманіе на экономическія отношенія народа, и литература заговорила о состояніи земледѣльческаго класса, о свободномъ трудѣ и другихъ экономическихъ вопросахъ, выставляя преимущественно — чего у насъ нѣтъ и что нужно сдѣлать. Послышались въ обществѣ голоса о важности воспитанія и о неудовлетворительности того, что доселѣ у насъ было принято, — и тотчасъ о воспитаніи пишутся горькія статьи, предпринимаются педагогическіе журналы, и публика тѣмъ большими рукоплесканіями вознаграждаетъ статью, чѣмъ болѣе горька правда, въ

ней высказанная. Поднимается голосъ противъ злоупотребленія бюрократіи, — и «Губернскіе очерки» открываютъ рядъ блестящихъ статей, безпощадно карающихъ и выводящихъ на свѣжую воду всѣ темныя продѣлки мелкаго подъячества. Горькіе упреки слышались отовсюду, и никто не думалъ противорѣчить имъ. Поэты и прозаики, ученые и дилетанты, теоретики и практики — всѣ бросались самоотверженно въ мрачное болото невѣжества и злоупотребленій съ пламенникомъ обличенія. Въ душѣ ихъ кипѣла могучая сила, ихъ рѣчи горѣли огнемъ вдохновенія, сожигая плевелы родной нивы. Возстань, поэтъ, ободряли поэты самихъ себя, размышляя о своемъ призваніи,

Да звучитъ твой стихъ обронный,
Правды Божіей набатъ,
Въ пробужденье мысли сонной,
Въ кару жизни беззаконной,
На погибель всѣхъ неправдъ.

Борьба во имя высшей правды противъ мелкихъ интересовъ времени! — восклицали высокообразованные практики. «Съ первыхъ лѣтъ жизни, при самомъ начальномъ воспитаніи, должно пріучать къ этой борьбѣ, которая ожидаетъ въ нашемъ обществѣ каждаго порядочнаго человѣка! . .» — «Наука должна смѣло вступить въ борьбу противъ невѣжества и преразсудковъ», — говорили лучшіе изъ нашихъ ученыхъ. «Мы должны благодарить войну за то, что она открыла намъ многія темныя стороны нашей жизни, противъ которыхъ мы дружно должны идти теперь, отстаивая честь родины!. .» Эти мощные, благородные, безкорыстные призывы не могли не находить отзыва въ сердцахъ людей, сочувствую-

щихъ благу отечества; и точно — у многихъ сердце билось сильнѣе отъ этихъ вдохновенныхъ звуковъ. Многіе съ грустной улыбкой, даже со слезами на глазахъ выслушивали русскую всенародную исповѣдь, — но потомъ гордо поднимали голову, давая торжественный обѣтъ дѣятельности честной, неутомимой и безбоязненной. Были и такіе, силою обстоятельства и собственной слабостью увлеченные въ пошлость жизни, — которые съ ужасомъ смотрѣли на собственное поприще и съ горечью сознавались въ его гадости. И что имѣли въ виду всѣ эти люди? Что заставляло ихъ съ такимъ увлеченіемъ подвергать себя торжественному самообвиненію? Ничего особеннаго. Они просто повторяли слова одного изъ своихъ глашатаевъ:

Раскаянья слеза намъ будетъ въ облегченье
И къ новымъ подвигамъ насъ мощно воззоветъ, —

и добродушно вѣрили, что вслѣдъ за словомъ не замедлитъ явиться и дѣло. Самое пустозвонство приняло тогда характеръ серьезно-обличительный. Пустѣйшій изъ пустозвоновъ, г. Надимовъ смѣло кричалъ со сцены Александринскаго театра: «крикнемъ на всю Русь, что пришла пора вырвать зло съ корнями!», и публика приходила въ неистовый восторгъ и рукоплескала г. Надимову, какъ будто бы онъ въ самомъ дѣлѣ принялся вырывать зло съ корнями... «Что смѣетесь? надъ собой смѣетесь», — вслухъ припомнилъ слова Гоголя кто-то изъ скептиковъ во время одного изъ представленій «Чиновника». Но эти слова никого не смутили: на скептика сосѣди его посмотрѣли такъ гордо и прямо, какъ будто бы хотѣли отвѣтить ему словами того же комика: «да, надъ собой смѣемся; потому

что слышимъ благородную русскую нашу породу, потому что слышимъ приказаніе высшее быть лучшими другихъ».

Такъ все оживало, все одушевлялось желаніемъ идти впередъ по пути просвѣщенія и нравственнаго усовершенствованія. Два года тому назадъ человѣкъ сторонній, услышавшій эти клики, увидавшій это движеніе, непремѣнно подумалъ бы, что это — пробужденіе исполина, который, послѣ продолжительнаго сна, расправляетъ свои члены, приводитъ въ порядокъ свои мысли и готовится искупить свое долгое бездѣйствіе подвигами изумительнаго величія. И такое предположеніе было совершенно естественно: чистыя, возвышенныя стремленія общественныхъ и литературныхъ дѣятелей казались такъ мощны, быстры и кипучи, что они должны были идти впередъ неудержимо, разрушая всѣ преграды, поставляемыя невѣжествомъ, омывая всѣ нечистоты, произведенныя въ русской жизни силою эгоизма, корысти и лѣни общественной. Сердца бились тогда сильно и радостно, въ полномъ убѣжденіи, что сознаніе недостатковъ есть уже половина исправленія, и что русскій человѣкъ ничего не любитъ дѣлать въ половину. Святотатствомъ сочли бы тогда, если бы кто осмѣлился утверждать, что этотъ Илья Муромецъ, столько лѣтъ сидѣвшій сиднемъ, поднялся теперь только за тѣмъ, чтобы толочься на одномъ мѣстѣ. Напротивъ, онъ долженъ былъ безостановочно идти впередъ, наслаждаясь жизнью и совершая славныя дѣла. И всѣ ждали этихъ подвиговъ, всѣ были въ напряженномъ ожиданіи чего-то великаго, необычайнаго. Все принимало видъ какого-то торжественнаго приготовленія, точно наканунѣ великаго праздника.

И вились тогда толпою
Легкокрылые друзья:
Юность, легкая съ *мечтою,*
И живыхъ *надеждъ* семья...

Отрадно было то время, время всеобщаго увлеченія и горячности... Какъ-то открытѣе была душа каждаго ко всему доброму, какъ-то свѣтлѣе смотрѣло все окружающее. Точно теплымъ дыханіемъ весны повѣяло на мерзлую, окоченѣлую землю, и всякое живое существо съ радостью принялось вдыхать въ себя весенній воздухъ, всякая рѣчь понеслась звучно и плавно, точно рѣка, освобожденная ото льда. Славное было время! И какъ недавно было оно!

Но прошло два года, и хотя ничего особенно важнаго не случилось въ эти годы, но общественныя стремленія представляются теперь далеко уже не въ томъ видѣ, какъ прежде. Много разочарованій испытали уже мы на новой дорогѣ, многія надежды оказались пустыми мечтами, много видѣли мы явленій, способныхъ сбить съ толку самаго простодушнаго изъ оптимистовъ, вообще отличающихся простодушіемъ. И нѣтъ прежняго увлеченія, прежняго задушевно-гордаго тона...

Гдѣ дѣвалася
Рѣчь высокая,
Сила гордая...?

Разговоры и теперь, конечно, продолжаются, и мы вовсе не хотимъ сказать, что общественное вниманіе вовсе забыло о тѣхъ вопросахъ, которые недавно возбуждены были съ такой энергіей. Мы говоримъ только, что въ дѣятельности, въ жизни общества мало оказывается результатовъ отъ всѣхъ восторженныхъ разговоровъ, чѣмъ и дока-

зывается, что большинство нашихъ доморощенныхъ прогрессистовъ играло до сихъ поръ, по выраженію г. Щедрина, «не внутренностями, а кожей».

Литература продолжаетъ свое дѣло добросовѣстно, служеніе дѣлу общественнаго совершенствованія она считаетъ своимъ священнѣйшимъ назначеніемъ. Она уже навсегда теперь вышла изъ пеленокъ, и, чтобы ни случилось, не получатъ въ ней теперь права гражданства ни швейцарскія поздравленія съ высокоторжественнымъ праздникомъ, ни лакейскія оды на пожалованіе такого-то господина такимъ-то чиномъ, ни трактирные диѳирамбы въ честь какого-нибудь праздника съ фейерверкомъ и иллюминаціей. Литература дѣятельно продолжаетъ свои обличенія, свои отзывы на все хорошее и благородное; она попрежнему твердитъ обществу о честной и полезной дѣятельности, она все поетъ ту же пѣсню:

Встань, проснись, подымись,
На себя погляди!

Но уже нѣтъ прежнихъ восторженныхъ отзывовъ со стороны публики. Она уже утомилась, она уже едва ли не считаетъ свое дѣло конченнымъ, едва ли не считаетъ себя достойною вѣнка за участіе, оказанное общественнымъ вопросамъ и новымъ дѣятелямъ литературнаго обличенія. Только по временамъ вспыхиваетъ теперь кое-гдѣ, неровно и порывисто, огонь одушевленія, похожаго на прежнее. Но и эти вспышки скоро пропадаютъ безъ слѣда, не имѣя никакого вліянія на общественную дѣятельность. Оказывается, что увлеченія и надежды были преждевременны, и что многіе изъ людей, горячо

привѣтствовавшихъ зарю новой жизни, вдругъ захотѣли ждать полудня и рѣшились спать до тѣхъ поръ, — что еще большая часть людей, благословлявшихъ подвиги, вдругъ присмирѣла и спряталась, когда увидѣла, что подвиги нужно совершать не на однихъ словахъ, что тутъ нужны дѣйствительные труды и пожертвованія. Всѣ нетерпѣливо ждали, желали, просили улучшеній, озлобленно кричали противъ злоупотребленій, проклинали чужую лѣнь и апатію, — но рѣдко-рѣдко кто принимался за настоящее дѣло. Испуганные воображаемыми трудностями и препятствіями, многіе изъ тѣхъ, кто даже могъ дѣлать истинно-полезное, —

Въ началѣ поприща увяли безъ борьбы.

Произошло явленіе не слишкомъ возвышенное и даже довольно непредвидѣнное: русское общество разыграло въ нѣкоторомъ родѣ талантливую натуру. Читатели, конечно, прочли уже «Губернскіе очерки» и потому, вѣрно, знакомы съ нѣкоторыми изъ талантливыхъ натуръ, очерченными г. Щедринымъ. Но не всѣ, можетъ быть, размышляли о сущности этого типа и о значеніи его въ нашемъ обществѣ. Потому мы рѣшаемся подробнѣе разсмотрѣть эти натуры, въ которыхъ, по нашему мнѣнію, довольно ярко выражается господствующій характеръ нашего общества. Виды талантливыхъ натуръ чрезвычайно разнообразны, но есть у нихъ и нѣчто общее, состоящее именно въ ихъ *талантливости*, которая можетъ иногда вызвать истинное сожалѣніе и навести на очень грустныя думы. Положеніи ихъ, конечно, смѣшно, даже отвратительно, но насмѣшку надъ положеніемъ этихъ господъ не нужно переносить на самую натуру ихъ, вовсе не лишеную доб-

рыхъ качествъ. Занятія и свойства ихъ г. Щедринъ изображаетъ такимъ образомъ:

Одни изъ нихъ занимаются тѣмъ, что ходятъ въ халатѣ по комнатѣ и отъ нечего дѣлать посвистываютъ; другіе проникаются желчью и дѣлаются губернскими мефистофелями; третьи барышничаютъ лошадьми или передергиваютъ въ карты; четвертые выпиваютъ огромное количество водки; пятые переваривають на досугѣ свое прошедшее и съ горя протестуютъ противъ настоящаго... Общее у всѣхъ этихъ господъ, во-первыхъ, „червякъ", во-вторыхъ, то, что „на жизненномъ пиру" для нихъ не случилось мѣста, и въ-третьихъ необыкновенная размашистость натуры. Но главное — червякъ. Этотъ глупый червякъ причиною тому, что наши Печорины слоняются изъ угла въ уголъ, не зная, куда преклонить голову; онъ познакомилъ ихъ ближайшимъ образомъ съ помѣщиками Полежаевымъ, Сониковымъ и Храповицкимъ. Къ сожалѣнію, я долженъ сказать, что Печорины водятся исключительно между молодыми людьми. Старый, заплесневѣвшій чиновникъ или помѣщикъ не можетъ сдѣлаться Печоринымъ; онъ на жизнь смотритъ съ практической стороны, а на тернія или неудобства ея какъ на неизбѣжныя и неисправимыя. Это блохи и клопы, которые до того часто и много его кусали, что сдѣлались не врагами, а скорѣе добрыми знакомыми его. Онъ не вникаетъ въ причины вещей, а принимаетъ ихъ такъ, какъ онѣ есть, не задаваясь мыслью о томъ, какими бы онѣ могли быть, если бы ... и т. д. Молодой человѣкъ, напротивъ того, начинаетъ уже смутно понимать, что вокругъ него есть что-то неладное, разрозненное, неклеящееся; онъ видитъ себя въ странномъ противорѣчіи со всѣмъ окружающимъ, онъ хочетъ протестовать противъ этого, но, не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примиренія, остается при одномъ зубоскальствѣ или псевдотрагическомъ негодованіи" („Губернскіе очерки", т. III, стр. 69 и слѣд.).

Видите ли, — при всей насмѣшливости отношеній г. Щедрина къ талантливымъ натурамъ, онъ самъ не можетъ не обнаружить, что въ основаніи ихъ лежитъ нѣчто хорошее. Ихъ стрем-

ленія не заключаютъ въ себѣ ничего предосудительнаго, напротивъ — стремленія эти ставятъ ихъ дѣйствительно выше тѣхъ апатическихъ безличностей, которыя, смотря на жизнь съ практической стороны, находятъ блаженное успокоеніе отъ всѣхъ сомнѣній и вопросовъ въ учительской указкѣ или въ подписи того, кто повыше ихъ чиномъ. Вся бѣда пропавшихъ талантливыхъ натуръ состоитъ въ томъ, что у нихъ нѣтъ никакихъ живыхъ началъ. Стоитъ дать имъ во-время эти начала, и изъ нихъ можетъ выйти что-нибудь положительное доброе. Давно уже кто-то замѣтилъ, что на свѣтѣ нѣтъ собственно неспособныхъ людей, а есть только *неумѣстные;* что плохой извозчикъ и вываленный имъ изъ саней плохой чиновникъ, выгнанный изъ службы за неспособность, — оба, быть можетъ, не были бы плохими, если бы помѣнялись своими мѣстами: чиновникъ, можетъ быть, имѣетъ отъ природы склонность къ управленію лошадьми, а извозчикъ въ состояніи отлично разсуждать о судебныхъ дѣлахъ... Все горе происходитъ отъ ихъ неумѣстности, въ которой опять не виноваты ни чиновникъ, ни извозчикъ, а виновата ихъ судьба, эта «глупая индѣйка», по залихватскому русскому выраженію. То же самое происходитъ со всѣми талантливыми натурами: онѣ получаютъ одностороннее развитіе, несоотвѣтственное ихъ потребностямъ, и, уступая силѣ враждебныхъ обстоятельствъ, попадаютъ на ложную дорогу. Онѣ не настолько животны, слабодушны и слѣпы, чтобы уступить безъ всякаго усилія, въ простодушной увѣренности, что такъ должно быть: это ихъ достоинство. Но онѣ не имѣютъ и настолько внутренней силы, ума и благородства, чтобы выдержать до конца, чтобы не

измѣнить своимъ добрымъ влеченіямъ и не впасть въ апатію, фразерство и даже мошенничество: вотъ ихъ существенный, странный недостатокъ. Но этотъ недостатокъ, очевидно, не природный. Онъ происходитъ отъ слабости характера, соединенной съ пылкостью стремленій. Пылкость стремленій сама по себѣ — вещь весьма похвальная, и притомъ составляетъ въ человѣкѣ не что иное какъ простой признакъ живой молодости, — а характеръ, какъ всѣ согласны, не родится съ человѣкомъ, а пріобрѣтается имъ во время воспитанія, установляясь окончательно въ послѣдующихъ треволненіяхъ жизни. Слѣдовательно, по строгомъ разсужденіи, на сторонѣ самой личности остается только живая воспріимчивость натуры, признакъ вовсе не дурной; а все остальное ложится на отвѣтственность окружающей ее среды. Намъ скажутъ: отчего же эта среда не оказываетъ такого же вліянія на другихъ, отчего же именно на талантливыя натуры она дѣйствуетъ такъ гибельно? Отвѣтъ простъ: эти натуры, по своей впечатлительности, забѣгаютъ дальше другихъ, часто захватываютъ больше, чѣмъ сколько могутъ вынести, и при этомъ чаще, чѣмъ другіе, встрѣчаютъ противодѣйствія, которымъ онѣ не въ силахъ противиться. Между тѣмъ какъ дѣти милыя и благонравныя наслаждаются спокойствіемъ блаженнаго невѣдѣнія, помня, что они дѣти и слѣдовательно должны составлять свой маленькій міръ, не вступая въ дѣла большихъ, — дѣти воспріимчивыя и пылкія суются безпрестанно туда, гдѣ ихъ не спрашиваютъ, рано знакомятся съ житейскими дрязгами и рано получаютъ отъ большихъ практическія опроверженія своихъ дѣтскихъ разсужденій. Въ иныхъ естественная логика и при-

вычка къ дѣятельности беретъ верхъ: они разсматриваютъ практическіе взгляды со всѣхъ сторонъ и оцѣниваютъ ихъ очень вѣрно; они не падаютъ предъ силою обстоятельствъ, не опускаются до злобнаго фразерства и цинической лѣни — съ досады, что ничего великаго сдѣлать нельзя, — а до конца идутъ противъ враждебной силы, и если не успѣваютъ ее покорить, то падаютъ, звукомъ самого паденія созывая на трупъ свой новыхъ самоотверженныхъ дѣятелей. Но такихъ крѣпкихъ людей немного. Большая часть не выдерживаетъ враждебнаго напора и гибнетъ нравственно, безъ пользы, а часто даже съ вредомъ и для другихъ. Въ общественномъ отношеніи, разумѣется, хвалить ихъ нечего: они всегда являются въ обществѣ или тунеядцами, или мошенниками. Отъ этого мы и не думаемъ ихъ оправдывать, равно какъ и не думаемъ возвеличить ихъ бездѣйствіе на счетъ незамѣтной дѣятельности скромныхъ тружениковъ. Мы только хотимъ сказать, что въ сущности своей талантливыя натуры даютъ больше задатковъ хорошаго развитія, нежели благопріятныя, милыя, послушныя и т. д. дѣти — и что при благопріятныхъ обстоятельствахъ ихъ развитіе принесло бы хорошіе плоды. Мы можемъ сравнить ихъ пожалуй съ плодородной землей. Засѣйте гдѣ-нибудь въ окрестностяхъ Петербурга хорошую почву (если таковая найдется) маисомъ, рожью и крапивой. Маисъ, разумѣется, не примется по причинѣ разныхъ прелестей петербургскаго климата, а рожь заглушена будетъ крапивою. Вотъ поле и не годится никуда. Какъ же можно сравнить его по плодамъ съ другимъ, довольно, правда, скуднымъ полемъ, которое, однакоже, выростило рожь, хотя и очень тощень-

кую. А все-таки нельзя не сказать, что въ первомъ полѣ земля лучше. Брошенное и запущенное, да еще закрытое отъ солнышка какими-нибудь заборами да постройками, заваленное всякимъ мусоромъ, оно и все порастетъ крапивой. Но попадись оно въ руки хорошему хозяину, такъ тотъ не только его отъ мусора очиститъ и крапиву выполетъ, не только хорошую жатву соберетъ, а еще цѣлую оранжерею на немъ разведетъ и самыя южныя растенія воспитаетъ, оградивши ихъ отъ разныхъ неблагопріятныхъ петербургскихъ вліяній.

Если нужно доказать наши слова примѣрами, то за ними ходить недалеко. У г. Щедрина представлены талантливыя натуры трехъ разрядовъ: мефистофельская, спившаяся съ кругу и пустившаяся въ мошенничество. Нельзя не сознаться, что выборъ этихъ трехъ категорій самъ по себѣ весьма удаченъ. Неудавшаяся дѣятельность талантливыхъ натуръ обыкновенно имѣетъ одинъ изъ этихъ исходовъ. Всѣ они гадки и вредны, или, по крайней мѣрѣ, безполезны; но посмотрите на начало жизненнаго поприща этихъ господъ, вникните въ сущность ихъ натуры, и вы увидите, что всѣ ихъ увлеченія имѣютъ доброе начало, а паденіе происходитъ просто отъ безсилія противиться внѣшнимъ вліяніямъ. Отчего такое безсиліе происходитъ, мы уже отчасти объяснили. Прибавимъ только, что, завися отъ естественной, каждому предмету въ мірѣ присущей инерціи, — качество это усиливается отъ постоянной привычки къ пассивному воспріятію чужихъ идей и дѣлается тѣмъ отвратительнѣе, чѣмъ больше ума и свѣжихъ силъ въ такой пассивной натурѣ. На человѣка, не умѣющаго пяти словъ сказать со смысломъ, не досадно, если онъ цѣлый вѣкъ

сидитъ за переписываньемъ. Да его и не замѣтишь: онъ доволенъ своею судьбой и высоко не заносится, зная, что безъ крыльевъ опасно подниматься на воздухъ... Но человѣкъ, легко и быстро понимающій предметы, имѣющій живыя и высокія стремленія, знающій очень хорошо степень собственныхъ силъ, — такой человѣкъ вдругъ, поддаваясь лѣни, отстаетъ отъ всякаго дѣла и употребляетъ свои способности только на пересыпанье изъ пустого въ порожнее или на различныя непохвальныя продѣлки: — это уже досадно и горько. Такого человѣка сейчасъ всѣ замѣтятъ, потому что онъ всѣмъ надоѣдаетъ своими жалобами на несправедливость судьбы, ко всѣмъ навязывается съ пересмѣиваньемъ своихъ ближнихъ, всѣмъ кидается въ глаза своимъ сознательнымъ, преднамѣреннымъ бездѣльничествомъ. Вотъ, напримѣръ, передъ вами г. Корепановъ. Онъ не потому замѣченъ крутогорскимъ обществомъ, что тунеядствуетъ и въ пустякахъ всю свою жизнь проводитъ. Онъ пустъ не больше другихъ; какъ другіе, онъ служитъ, — какъ другіе, является на дѣтскіе балы княжны Анны Львовны, — какъ другіе, ничѣмъ особенно не занимается. Словомъ, въ немъ ничего нѣтъ замѣчательнаго, и вы проходите мимо его, бросая на него разсѣянный взглядъ и думая: «вотъ еще одинъ изъ множества тѣхъ, которые прозябаютъ въ Крутогорскѣ, серьезно занимаясь дѣланьемъ ничего и не имѣя понятія о другихъ, лучшихъ сферахъ дѣятельности...» Но г. Корепановъ вдругъ останавливаетъ васъ восклицаніемъ: «прошу не смѣшивать меня съ этой толпой; я увѣряю васъ, что я гораздо лучше всѣхъ ихъ. Не смотрите на то, что я толкусь между ними, и такъ же, какъ они, ничего не дѣ-

лаю... Повѣрьте, что я могъ бы сдѣлать многое, очень многое, если бы только захотѣлъ... Но я не хочу...» — «Тѣмъ хуже, отвѣчаете вы; значитъ вы, мсье Корепановъ, сами виноваты въ своемъ ничтожествѣ. На этихъ людяхъ нечего спрашивать: они дѣлаютъ то, что могутъ; виноваты ли они, что у нихъ не хватаетъ силъ на большее? А вы гораздо хуже ихъ, потому что не дѣлаете и того, что можете. Вы просто дрянь, мсье Корепановъ». — И что же бы вы думали? Корепановъ мгновенно съ вами соглашается и начинаетъ ругать себя. «Да, — говоритъ онъ, впрочемъ не безъ оттѣнка тонкой ироніи, — я глупъ, я слабъ, у меня мелкая, ничтожная душонка. Я завидую даже этому пошлому довольству и безмятежію, которое написано на лицахъ моихъ сослуживцевъ: все-таки, значитъ, ихъ жизнь прошла не даромъ... А я только все сомнѣвался да метался безъ толку изъ стороны въ сторону... А къ чему?... Гораздо было бы спокойнѣе — добыть себѣ тепленькое мѣстечко, какъ Николай Ѳедорычъ, жениться на Анфисѣ Ивановнѣ, которая изъ старыхъ панталонъ шаль устраиваетъ, да считать себѣ денежки, какъ Семенъ Семенычъ...» Вы соглашаетесь, что это, дѣйствительно, было бы спокойнѣе, чѣмъ безъ толку цѣлый вѣкъ маяться, но Корепановъ обнаруживаетъ полное омерзѣніе къ дѣятельности Николая Ѳедорыча, Семена Семеныча и подобныхъ. Онъ даже дѣтямъ Семена Семеныча и Николая Ѳедорыча внушаетъ отвращеніе къ воровству и скаредной жизни родителей, и гордится своими заслугами въ этомъ отношеніи. Онъ называетъ Крутогорскъ помойной ямой и очень недоволенъ тѣмъ, что здѣсь всякій долженъ безсмѣнно носить однажды накинутую на

себя ливрею. По выходкамъ Корепанова вы видите, что онъ былъ въ хорошей школѣ, умѣетъ зло отъ добра отличить и имѣетъ понятіе о настоящей нравственности. Онъ и самъ признается, что въ молодости своей умныхъ людей съ каѳедры слушалъ, но только ученье не пошло ему въ прокъ. Онъ, видите, не хотѣлъ корпѣть надъ книжкой и клевать по крупицѣ, а ждалъ все, что ему кто-нибудь «вольетъ знаніе ковшомъ въ голову, и сдѣлается онъ послѣ того мудръ, какъ Минерва». Вотъ вамъ и первое паденіе передъ трудностями, первое торжество лѣни. Далѣе, Корепановъ затѣмъ не остался служить тамъ, гдѣ бы лучше могли развернуться его таланты, что «онъ желаетъ кушать, а въ Петербургѣ или Москвѣ этого добра не найдешь сразу». А ему — видите — лѣнь добиваться чего-нибудь трудомъ, понемножку; все сразу хотѣлось бы. Вотъ онъ и ѣдетъ въ Крутогорскъ, гдѣ у него есть родные, «которыми, слѣдовательно, ужъ насижено мѣсто и для него . . . » Здѣсь онъ кое-какъ служитъ, какъ и всѣ, но главнымъ образомъ злобствуетъ противъ всѣхъ, стараясь выставить собственное превосходство и несправедливость судьбы. Если хотите, судьба точно несправедлива къ нему, но несправедлива тѣмъ, что дала ему родныхъ, которые, съ грѣхомъ пополамъ насидѣвши тунеяду мѣсто, освободили его отъ необходимости работать самому для пріобрѣтенія мѣста и хлѣба. Не будь этого, Корепановъ былъ бы славнымъ работникомъ и не погибъ бы для честной и полезной дѣятельности, обратившись въ мефистофеля средней руки.

Теперь посмотримъ на Лузгина, тоже талантливую натуру, только другого разбора. Положительно дурного въ этой натурѣ ничего нѣтъ. Припо-

миная прежніе годы Лузгина, г. Щедринъ говоритъ, что онъ былъ тогда безразсчетно добръ и великодушенъ, что въ немъ сильно кипѣла кровь, обильна и неистощима была животворная струя молодости. Самъ Лузгинъ въ откровенномъ разговорѣ высказываетъ, что у него и въ пожилыхъ лѣтахъ сохранилось еще много любви, горячности, жару. Онъ сожалѣетъ, что погано провелъ свою молодость и не столько лекціями, сколько ухарствомъ занимался. Въ жизни его есть прекрасныя явленія. Онъ женился на бѣдной гувернанткѣ своего сосѣда, которую притѣсняли сладострастный хозяинъ и капризная хозяйка. Онъ не хотѣлъ служить въ Петербургѣ затѣмъ, что тамъ «выморозки, что-то холодное, ослизлое», бѣгаютъ цѣлый день, чтобъ имѣть счастье искривить ротъ въ улыбку при видѣ нужнаго лица. Онъ пересталъ ѣздить къ школьному товарищу, когда тотъ вздумалъ пустить ему въ глаза пыль въ видѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Стрекозы, княгини Оболдуй-Таракановой, и такъ далѣе. Все это, нельзя не сознаться, обнаруживаетъ натуру добрую, симпатичную, съ наклонностями истинно благородными. Можно бы почесть его просто прекраснымъ мирнымъ помѣщикомъ, нашедшимъ наконецъ въ кругу семейномъ успокоеніе отъ житейскихъ треволненій. Но такое заключеніе было бы неудачно. Лузгинъ хоть и не занимался лекціями, по его собственному признанію, но все же кое-что изъ высшихъ наукъ запало ему въ голову, — и онъ уже не можетъ довольствоваться своей тѣсной сферой. «Размѣры насъ душатъ, — говоритъ онъ: — природа у насъ широкая, желалъ бы захватить и вдоль и поперекъ, а размѣры маленькіе. Жару и теперь еще пропасть осталось,

только некуда его дѣвать, сфера-то у насъ узка, разгуляться негдѣ . . . » Да кто же вамъ не велѣлъ, г. Лузгинъ, захватывать именно столько, сколько ваши силы позволяютъ? Зачѣмъ вы киснете въ деревнѣ и даже не служите, хоть бы по выборамъ? — А вотъ видите, — когда Лузгинъ воротился изъ ученья, то мать стала его упрашивать: «около меня посиди», да и сосѣди лихіе нашлись, — онъ и остался, тѣмъ болѣе, что къ лѣности съ юныхъ лѣтъ сердечное влеченье чувствовалъ . . . Но въ деревнѣ его томитъ скука, образованіе его не настолько полно, чтобъ онъ могъ довольствоваться самимъ собою и семейнымъ кругомъ; онъ ищетъ другихъ развлеченій и находитъ ихъ, разумѣется, безъ особенныхъ затрудненій: онъ начинаетъ каждый день напиваться допьяна, приводя въ отчаяніе свою жену и разстраивая собственное здоровье .. . Ну, скажите на милость, природа ли тутъ виновата? Лузгинъ всячески старается всю вину сложить на природу, хотя онъ, собственно говоря, и не думаетъ себя оправдывать. Напротивъ, онъ, какъ и всѣ талантливыя натуры, безбоязненно и безстыдно распространяется о своихъ недостаткахъ, увѣряя, что онъ свинья, что онъ опустился, что онъ гнусенъ съ верхняго волоска головы до ногтей ногъ. Но все это самообвиненіе мало помогаетъ. Подняться онъ уже не въ силахъ: я, говоритъ, до такой степени привыкъ къ праздности, такъ въѣлся въ нее, что даже ужъ и думать ни о чемъ не хочется. При всемъ томъ онъ не хочетъ принять на себя отвѣтственности за все. Чувствуя, что не въ силахъ подняться, онъ старается увѣриться, что такъ уже судьбой рѣшено, что иначе и быть не можетъ, что такъ, видно, «и суждено этому огню перегорѣть въ

груди, не высказавшись ни въ чемъ». И въ этой увѣренности принимается съ отчаянія за чарочку, чтобъ утопить въ винѣ свои досадные порывы. А потомъ жалуется на природу весьма комическимъ образомъ. «Для чего, говоритъ, она не сдѣлала меня Зенономъ, а наградила наклонностями сибарита? Для чего она не закалила мое сердце для борьбы съ терніями суровой дѣйствительности, а, напротивъ того, размягчила его и сдѣлала способнымъ откликаться только на доброе и прекрасное? . . Природа-то вѣдь дура, выходитъ . . . » Какая же тутъ природа, г. Лузгинъ? Природа всѣхъ людей рѣшительно выпускаетъ на Божій свѣтъ слабыми и безпомощными, никого она не калитъ и не мягчитъ нарочно, въ томъ соображеніи, что вотъ этотъ господинъ долженъ будетъ бороться, а тотъ нѣтъ, — такъ, въ видахъ предусмотрительности, надобно дать имъ такія-то и такія-то свойства. Это вы все для оправданія своей лѣни выдумываете, что природа какъ-то непріязненно къ вамъ расположена и по какимъ-то интригамъ вздумала васъ размягчить. Ничего подобнаго не бывало: закаляются люди не на лонѣ природы, а въ горнилѣ житейской опытности. А этой-то закалки и нѣтъ у васъ, потому что вамъ не случилось надобности съ самаго начала преодолѣвать вашу лѣнь, и вы позволили другимъ за васъ думать и дѣйствовать. Въ результатѣ и вышло, что хоть у васъ сердце доброе, хоть оно и откликается на все прекрасное, а сами-то вы вышли человѣкъ не только плохой, но и пошлый, даже грязный. Такъ скажемъ мы Лузгину, не желая поощрять его лѣни и цинизма. Но обращаясь къ читателямъ, мы, разумѣется, не можемъ не прибавить, что дѣйствительно судьба была довольно жестока къ Лузгину. Его

вывели изъ непосредственной простоты и патріархальности деревенскихъ отношеній, дали нѣкоторое понятіе о предметахъ высшихъ, но не дали основательныхъ и твердыхъ началъ, не заинтересовали даже наукой хоть бы до такой степени, чтобы предпочитать ее разнымъ ухарскимъ развлеченіямъ. При первыхъ попыткахъ что-нибудь дѣлать, ему встрѣчаются препятствія, — тамъ мать и родимое гнѣздо отвлекаютъ отъ службы, тамъ *лихіе* сосѣди увлекаютъ въ отъѣзжее поле да въ буйную оргію, тамъ надменныя выскочки и мягкотѣлые низкопоклонники отталкиваютъ его отъ петербургской жизни. Для него это уже слишкомъ много: его наклонность къ лѣни, привычка подчинять себя требованіямъ чужой воли и слишкомъ поверхностное образованіе не могутъ устоять противъ безпрестанныхъ искушеній. А тамъ судьба позаботилась приготовить родимое гнѣздо, въ которомъ можно жить на чужой счетъ . . . Вотъ и погибъ человѣкъ, изъ котораго, при другихъ обстоятельствахъ, могло бы и выдти что-нибудь.

Есть еще особаго рода талантливыя натуры, повидимому совершенно не похожія на два образца, которые нами разсмотрѣны, но въ сущности чрезвычайно къ нимъ близкія. Образчикъ такихъ натуръ представляетъ Горехвастовъ, описанный г. Щедринымъ. Этотъ съ перваго раза можетъ показаться, пожалуй, очень дѣятельнымъ. Онъ прожектеръ, мошенникъ, шулеръ; онъ и въ офиціальное платье переодѣвался, и казенныя деньги кралъ, и заставлялъ кое-кого въ окно прыгать, и самъ изъ онаго прыгивалъ, и фортуну себѣ умѣлъ составить, и потерять оную. Кажется, чего больше дѣятельности, энергической, постоянной, только дурно на-

правленной. Это ужъ, кажется, не слабая натура, носившая въ себѣ задатки добра, но погибшая только вслѣдствіе своей лѣни и слабости; это сильная, злодѣйская душа, талантливая только на мерзости всякаго рода. Онъ совсѣмъ не похожъ на двухъ малодушныхъ, только что нами видѣнныхъ у г. Щедрина. Такъ кажется съ перваго взгляда. Но если всмотрѣться пристальнѣе, то найдется, что и Горехвастовъ въ сущности рѣшительно то же самое, что Корепановъ и Лузгинъ. Разница между ними только въ томъ, что тѣ двое все-таки учились чему-нибудь и при всей поверхностности своего образованія усвоили нѣкоторыя, наиболѣе простыя внушенія, какъ, напримѣръ, что кража постыдна, шулерство гнусно, и т. п.; Горехвастову же и этого не внушили, а учили его имѣть только пріятныя манеры и *causer* обо всемъ. Какъ натура талантливая, онъ поддался этому направленію, и манеры его, дѣйствительно, оказались хороши, и *causeur* вышелъ изъ него отличный. Товарищи его ѣздили къ француженкамъ по воскресеньямъ, и онъ ѣздилъ, потому что не въ силахъ былъ противиться искушенію, не имѣя никакой внутренней опоры, точно такъ, какъ и Лузгинъ съ Корепановымъ. Петръ Бурковъ сводитъ его съ людьми, которыхъ карьера и назначеніе жизни ограничивается не совсѣмъ честными подвигами на зеленомъ полѣ, и онъ подвизается вмѣстѣ съ ними; затѣваютъ эти люди штуку en grand, чтобы купца надуть, и онъ является ревностнымъ исполнителемъ проекта; говоритъ ему Петръ Бурковъ о жизни en artistes, — онъ и en artistes жить соглашается, — зоветъ его по ярмаркамъ ѣздить, онъ и на это готовъ. Иногда какъ будто добрые инстинкты въ немъ просыпаются: ему, напримѣръ,

неловко становится продать себя безобразной барынѣ, которая задумала воспользоваться его атлетическими формами. Но Бурковъ сказалъ ему, что это вздоръ, *велѣлъ* ему рѣшиться, во имя правъ дружбы, — и Горехвастовъ рѣшился. Скажите, на что же еще слабодушнѣе человѣка? Онъ гораздо слабѣе Лузгина и Корепанова, потому что еще менѣе, чѣмъ они, имѣетъ внутреннихъ убѣжденій; онъ рѣшительно не можетъ противиться окружающимъ вліяніямъ, не можетъ даже уклониться отъ нихъ въ бездѣйствіе, а прямо имъ подчиняется . . . А тамъ ужъ онъ идетъ дальше, по силѣ инерціи, и даже нерѣдко выказываетъ наружную твердость и храбрость, приличную обстоятельствамъ. Только эта энергія и твердость походятъ на храбрость лакея, который громогласно кричитъ съ крыльца: «подавай!», а потомъ тотчасъ же подобострастно усаживаетъ барина въ карету и смиренно стоитъ передъ нимъ, если тому вздумается намылить ему шею. Храбрость Горехвастова мгновенно исчезаетъ, онъ трясется и блѣднѣетъ, какъ только увидитъ гдѣ-нибудь около себя *кавалера* или другую полицейскую власть, или даже просто въ чужомъ обществѣ получитъ «подлеца» съ любезнымъ обѣщаніемъ выбросить его изъ окна. Безсиліе противиться внѣшнимъ вліяніямъ обнаруживается въ немъ на каждомъ шагу, еще болѣе, чѣмъ въ Корепановѣ и Лузгинѣ.

Лѣнь, отвращеніе отъ труда тоже составляетъ одну изъ существенныхъ сторонъ его характера, несмотря на видимую неутомимую дѣятельность. Онъ не хотѣлъ служить и сдѣлался мошенникомъ именно потому, что не хотѣлъ «сидѣть каждый день семь часовъ въ какой-то душной конурѣ, облизы-

ваясь на мѣсто помощника столоначальника». Онъ чувствуетъ, что «стоитъ выше общаго уровня», что можетъ быть и поэтомъ, и литераторомъ, и прожектеромъ, и капиталистомъ. Но ему непремѣнно хочется получить какъ можно больше безъ всякаго труда, и онъ избираетъ шулерство, какъ легчайшее средство обогащенія. Разорившись, онъ живетъ въ четвертомъ этажѣ, на манеръ артиста, и тутъ всего болѣе нравится ему полная безпечность, которой онъ можетъ предаваться. Ему тошно смотрѣть даже на своего сосѣда Дремилова, только потому, что этотъ сидитъ все за книжкой. Негодованіе разыгрывается въ немъ при одномъ воспоминаніи о такомъ труженичествѣ. «Ну, что это за жизнь, спрашиваю я васъ, восклицаетъ онъ, и можетъ ли, имѣетъ ли человѣкъ право отдавать себя въ жертву геморрою? И чего, наконецъ, онъ достигнетъ?» и т. д. Горехвастову мало быть практическимъ лѣнтяемъ; онъ старается свою лѣнь возвести въ теорію. Онъ даже положительно выражается, что «геніальная натура науки не требуетъ, потому что до всего собственнымъ умомъ доходитъ. Спросите, напримѣръ, меня . . . Ну, о чемъ хотите! . . на все отвѣтъ дамъ, потому что это у меня русское, врожденное». Какъ видите, и этотъ господинъ, подобно Лузгину, не прочь бы свалить свою пустоту на природу, на врожденность. Но въ его словахъ и разсказахъ нельзя не видѣть крайняго развитія лѣности, далеко превосходящей естественное и всякому человѣку дозволительное влеченіе къ покою.

«Однако онъ играетъ, мошенничаетъ, прожектируетъ, — могутъ возразить намъ. — Для этого тоже нужно много дѣятельности. Горехвастовъ ра-

боталъ и умомъ, и руками, и ногами, и всѣми членами тѣла для пріобрѣтенія фортуны. Онъ цѣлыя ночи проводилъ безъ сна, опасностямъ подвергался, странствовалъ по ярмаркамъ, путешествовалъ черезъ окна изъ второго этажа на улицу. Какъ хотите, а къ этому не способна натура пассивная, лѣнивая, находящая высшее блаженство въ апатическомъ бездѣйствіи.» Все это кажется очень справедливымъ при первомъ взглядѣ. Но при нѣкоторомъ вниманіи не трудно сообразить, что дѣятельность Горехвастова — совершенно пассивная, вынуждаемая обстоятельствами чисто внѣшними. Почти всегда онъ дѣйствуетъ по чужой указкѣ, ведомый другими мошенниками, почти всегда слѣдуетъ неуклонно тому направленію, на которое его толкнули. Пожалуй, если хотите, и онъ не совсѣмъ безъ дѣла. Но развѣ тогда можно найти на свѣтѣ хоть одного человѣка бездѣльнаго? Тотъ бѣгаетъ цѣлый день около билльярда, другой сидитъ за шахматами, третій глубокомысленно куритъ сигару. Иной половину дня гуляетъ для моціона, а другой половину употребляетъ на то, чтобы задавать работу своему желудку, который едва въ цѣлыя сутки ее выполнитъ . . . Иной всю жизнь свою вѣсти разноситъ, другой каждый вечеръ въ театрѣ томится. И т. д., и т. д. Все это вѣдь тоже дѣло, если хотите, и ни одинъ человѣкъ безъ дѣлъ подобнаго рода обойтись въ своей жизни не можетъ, потому что законъ самой природы непремѣнно какое-нибудь движеніе предписываетъ. Но что это за движеніе, къ чему оно стремится, какая сила его производитъ, — вотъ на что нужно обращать вниманіе при оцѣнкѣ человѣческой дѣятельности. И камень бросить, такъ онъ полетитъ, и даже если его

искусно направить на воду, то кружки на ней произведетъ. И если воду вскипятить, то она такъ разбушуется, что и черезъ край пойдетъ; но затѣмъ разольется по полу и простынетъ тотчасъ, — только лужа останется. Подобными вспышками ограничивается и дѣятельность пропавшихъ талантливыхъ натуръ. Внутреннее влеченіе къ дѣятельности имъ уже сдѣлалось непонятно; сознательно и постоянно преслѣдовать свою цѣль — у нихъ не хватаетъ терпѣнія и твердости. На одинъ порывъ, и даже сильный, — ихъ еще станетъ, потому что они вообще, по слабости своихъ внутреннихъ силъ, склонны увлекаться внѣшними впечатлѣніями; но одна неудача, одно препятствіе, котораго нельзя удалить сразу, — и энергія оставляетъ ихъ, и природная лѣнь беретъ свое. Всѣ они являются дѣятельными представителями того взгляда на вещи, который высказываетъ Горехвастовъ такимъ образомъ:

Я, Николай Иванычъ, патріотъ, я люблю русскаго человѣка за то, что онъ не задумывается долго. Другой вотъ, нѣмецъ и французъ, надъ всякою вещью остановится, даже смотрѣть на него тошно, точно родить желаетъ, а нашъ братъ только подошелъ, глазами вскинулъ, руками развелъ: „этого-то не одолѣть? — говоритъ: — да съ нами крестная сила! да мы только глазомъ мигнемъ!“ И дѣйствительно — какъ почнетъ топоромъ рубить, — только щепки летятъ; геніальная, можно сказать, натура! безъ науки всѣ науки прошелъ!.. Люблю я, знаете, иногда посмотрѣть на нашего мужичка, какъ онъ тамъ дѣйствуетъ: лежитъ, кажется, цѣлый день на боку, да зато ужь какъ примется, такъ у него словно горитъ въ рукахъ дѣло, откуда что берется!

Вмѣстѣ съ слабодушіемъ и лѣностью, Горехвастовъ имѣетъ и другіе второстепенные признаки талантливыхъ натуръ. Онъ съ удивительною от-

кровенностью разсказываетъ свои подвиги и при этомъ энергически ругаетъ себя, превосходя въ этомъ случаѣ Корепанова и Лузгина на столько, на сколько натура его размашистѣе ихъ натуръ. «Я подлецъ,— восклицаетъ онъ и рветъ при этомъ свои волосы: — я не стою быть въ обществѣ порядочныхъ людей! я подлецъ, я погубилъ свою молодость! я долженъ просить прощенія у васъ, что осмѣлился осквернить вашъ домъ своимъ присутствіемъ.» Какое сильное раскаяніе! — можете вы подумать. Не безпокойтесь: это такъ, вспышка, для успокоенія собственной совѣсти. «Мы, дескать, не такіе пошляки, какъ другіе-прочіе; мы чуемъ нашу высшую русскую породу и знаемъ, что если бы захотѣли, такъ могли бы быть очень хорошими людьми.» На дѣятельность же Горехвастова всѣ подобныя вспышки не оказываютъ ни малѣйшаго вліянія. Въ то самое время, какъ онъ декламируетъ о своемъ недостоинствѣ, его арестуютъ за кражу казенныхъ денегъ женщиною, съ которой онъ находился въ «непозволительной» связи. Проживъ свою молодость, этотъ господинъ до того излѣнился, что уже и украсть самъ не хочетъ, а заставляетъ свою любовницу.

Оставимъ теперь въ сторонѣ талантливыхъ пріятелей г. Щедрина и поставимъ вопросъ въ болѣе отвлеченномъ видѣ, чтобы не задѣвать никакихъ личностей. По нашему мнѣнію, въ обществѣ молодомъ, не успѣвшемъ еще основательно переработать всѣхъ своихъ взглядовъ и мнѣній, не успѣвшемъ, по причинѣ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, развить въ себѣ самоопредѣляемости къ дѣйствію (говоря по-ученому), непремѣнно являются два главные разряда членовъ. Одни — вполнѣ

пассивные, безличные и крайне ограниченные какъ въ своихъ способностяхъ, такъ и въ потребностяхъ. Эти — смирны; они не волнуются, не сомнѣваются и не только не выходятъ изъ своей колеи, но даже не подозрѣваютъ, что можно изъ нея выйти. Въ ученьѣ, въ службѣ, въ жизни — они всегда *исправны;* что имъ скажутъ, то они сдѣлаютъ, что дадутъ выучить, выучатъ, до какихъ границъ позволятъ дойти, до тѣхъ и дойдутъ. Это уже люди убитые, безнадежные; нечего ждать отъ нихъ, нечего стараться направить въ хорошую сторону. Какъ ихъ ни направьте, они не выйдутъ изъ своего ничтожества, не разовьютъ вашихъ идей, не будутъ вашими помощниками. Они, какъ балластъ на кораблѣ, даютъ только устойчивость кораблю общества противъ бурныхъ вѣтровъ и толчковъ взволнованнаго моря. Они тяжелы на подъемъ, неподвижны и тупо вѣрны одному, разъ навсегда заученному правилу, разъ навсегда принятому авторитету. Отступленія дѣлаются ими только на практикѣ, и всегда безсознательно. Они могутъ похвалить романъ Жоржъ-Занда, пока не знаютъ, что онъ написанъ Жоржъ-Зандомъ, могутъ даже посмѣяться надъ нелѣпостью, если вы имъ не скажете, что взяли эту нелѣпость изъ уважаемой ими книги, могутъ осудить гнусный поступокъ, не зная, что онъ учиненъ генераломъ. Но какъ скоро авторитетъ является наружу, сознаніе ихъ просвѣтляется, и тутъ ужъ никакія убѣжденія не помогутъ... Убѣжденій и принциповъ нѣтъ для этихъ людей; для нихъ существуютъ только правила и формы. Въ дѣятельности ихъ есть что-то похожее на медвѣжью пляску для выгоды хозяина и для потѣхи празднаго народа, въ разговорахъ же своихъ они напоминаютъ попу-

гая, который на всѣ ваши вопросы отвѣчаетъ одно заученное слово и часто совершенно невпопадъ говоритъ вамъ «дуракъ», за всѣ ваши ласки. Нѣкоторые, впрочемъ, и этимъ утѣшаются: интересно, дескать, что птица говоритъ точно человѣкъ.

Другую половину молодого общества составляютъ именно тѣ люди, которыхъ называютъ современными героями, «провинціальными Печориными», «уѣздными Гамлетами», наконецъ, «талантливыми натурами». Послѣднее названіе, можетъ быть, менѣе другихъ соотвѣтствуетъ мысли, которую мы хотимъ высказать; но дѣло не въ названіи. Натуры тутъ, конечно, немного; а болѣе дѣйствуютъ обстоятельства житейскія, состоящія, во-первыхъ, въ отношеніяхъ времени. Печоринскія замашки и претензіи на талантливость натуры являются всегда, какъ уже замѣтилъ г. Щедринъ, въ молодомъ поколѣніи, обладающемъ сравнительно большею свѣжестью силъ, болѣе живою воспріимчивостью чувствъ. Подвергаясь разнообразнымъ вліяніямъ, молодые люди находятся въ необходимости сдѣлать наконецъ выборъ между ними. Начинается внутренняя работа, которая въ иныхъ исключительныхъ личностяхъ продолжается безостановочно, идетъ живо и самостоятельно, съ строгимъ разграниченіемъ внутреннихъ органически-естественныхъ побужденій отъ внѣшнихъ вліяній, дѣйствующихъ болѣе или менѣе насильственно. Но подобныя личности представляютъ исключеніе, тѣмъ болѣе рѣдкое, чѣмъ ниже стоитъ образованность всего общества. Самая же большая часть людей, начинающихъ работать мыслью въ обществѣ мало образованномъ, оказывается слабою и негодною, чтобы устоять противъ ожидающихъ ихъ препятствій. Съ

самаго появленія своего на бѣлый свѣтъ, въ самые первые впечатлительные годы жизни, — люди новаго поколѣнія окружены все-таки средою, которая не мыслитъ, не движется нравственно, о мысли всякаго рода думаетъ какъ о дьявольскомъ навожденіи и безсознательно-практически гнетъ и ломаетъ волю ребенка. Это второе обстоятельство, — противодѣйствіе начальнаго воспитанія и всей окружающей среды идеямъ времени, которому уже принадлежитъ новое поколѣніе, — и приводитъ въ паденію большую часть талантливыхъ натуръ. Возникли у нихъ кое-какія требованія, которымъ прежняя среда и прежняя жизнь не удовлетворяютъ: надобно искать удовлетворенія въ другомъ мѣстѣ. Но для этого надо много продолжительныхъ усилій, надо долго плыть противъ теченія. Между тѣмъ корабль давно уже стоитъ на мели, и балластъ грузно лежитъ внизу. Талантливыя натуры, замѣтивъ, что все около нихъ движется, — и волны бѣгутъ, и суда плывутъ мимо, рвутся и сами куда-нибудь; но снять корабль съ мели и повернуть по-своему они не въ силахъ, уплыть одни далеко отъ своихъ — боятся: море невѣдомое, а пловцы они плохіе. Напрасно кто-нибудь, болѣе ихъ искусный и неустрашимый, переплывшій на противный берегъ, кричитъ имъ оттуда, указывая путь спасенія: плохіе пловцы боятся броситься въ волны и ораничиваются тѣмъ, что проклинаютъ свое малодушіе, свое положеніе, и иногда, заглядѣвшись на бѣгущую мимо струю или ободренные крикомъ, вылетѣвшимъ изъ капитанскаго рупора, вдругъ воображаютъ, что корабль ихъ бѣжитъ, и восторженно восклицаютъ: «пошелъ, пошелъ, двинулся!». Но скоро они сами убѣждаются въ оптическомъ обманѣ и опять начинаютъ про-

клинать или погружаться въ апатичное бездѣйствіе, забывая простую истину, что имъ придется умереть на мели, если они сами не позаботятся снять съ нея корабль и прежде всего — хоть помочь капитану и его матросамъ выбросить балластъ, мѣшающій кораблю подняться.

Какой изъ этихъ двухъ разрядовъ лучше, — конечно, не затруднится сказать никто. Въ настоящемъ они *оба хуже,* и горе тому обществу, которое долго остановится на этихъ двухъ категоріяхъ и въ которомъ не будетъ съ года на годъ увеличиваться число спасительныхъ исключеній. Отсутствіе всякой самостоятельности, лѣнивая апатія и увлеченіе внѣшностью составляетъ существенные признаки какъ талантливыхъ натуръ, такъ и людей, принадлежащихъ къ общественному балласту, хотя и не во всѣхъ находятся эти качества въ одинаковой степени. Слѣдовательно, и тотъ и другой сортъ людей — не большая находка для общества, которое хочетъ жизни и дѣятельности, сознательной и самобытной. Лучшая изъ талантливыхъ натуръ не пойдетъ дальше теоретическаго пониманія того что нужно и громкаго крика, когда онъ не слишкомъ опасенъ. Въ случаѣ же обстоятельствъ неблагопріятныхъ, они или заговорятъ двусмысленно, или и совсѣмъ противно своимъ убѣжденіямъ. Самые отважные — замолчатъ, и свое молчаніе будутъ считать геройствомъ. «Мы, дескать, мученики своихъ убѣжденій: всѣ говорятъ противъ совѣсти и получаютъ отъ этого выгоду; и мы могли бы тоже получить выгоду, проповѣдуя чужія мысли, которыхъ не раздѣляемъ; но мы не хотимъ кривить душой и молчимъ, затаивъ въ себѣ собственное, самобытно-сочиненное воззрѣніе до того времени, когда можно

будетъ его высказать безъ опасеній.» Такимъ образомъ и водворяется въ обществѣ невозмутимѣйшая тишина, полнѣйшая неподвижность, возмущаемая только развѣ дебоширствами талантливыхъ натуръ, посягающихъ на безопасность смиренныхъ гражданъ.

Но у молодого, еще не совсѣмъ развитаго общества есть будущее. И для этого будущаго второй разрядъ людей, т. е. люди съ размашистыми натурами, даетъ все-таки несравненно больше хорошихъ надеждъ, чѣмъ убитыя существа безъ всякихъ стремленій. Они, по крайней мѣрѣ, не будутъ имѣть такого парализующаго вліянія на дѣятельность слѣдующихъ за ними поколѣній, потому что въ нихъ есть уже хоть смутное предчувствіе истины, хоть робкое, слабое оправданіе молодыхъ порывовъ. Лузгинъ уже не смѣетъ высѣчь своихъ дѣтей за то, что они уличаютъ его во лжи; Корепановъ безбоязненно внушаетъ крутогорскому молодому поколѣнію «отвращеніе къ тѣмъ мерзостямъ, въ которыхъ закоренѣли ихъ милые родители». Рудинъ (тоже талантливая натура) имѣлъ болѣе благотворное вліяніе на молодого студента Басистова, чѣмъ всѣ его профессора вмѣстѣ. Въ талантливыхъ натурахъ есть хоть слабые зачатки дѣятельности, хоть желаніе перевертывать на разныя манеры то, что имъ передано другими; въ натурахъ безталанныхъ, безличныхъ, нѣтъ даже мысли о томъ, что нужно и можно дѣйствовать самому; пассивное воспріятіе внѣшнихъ внушеній не только не возбуждаетъ ихъ къ дѣятельности, но даже еще болѣе усыпляетъ и успокаиваетъ въ томъ процессѣ механическаго передвиженія, который они называютъ жизнью и дѣятельностью... Винить этихъ не-

счастныхъ тружениковъ было бы несправедливо уже и потому, что у нихъ нѣтъ своей воли, нѣтъ своей мысли, слѣдовательно, имъ и отвѣчать не за что. Но нельзя не жалѣть объ ихъ положеніи, нельзя не желать, чтобы все уменьшалось въ человѣчествѣ число подобныхъ людей, напрасно носящихъ образъ человѣческій.

Обращаясь теперь къ началу нашей статьи, мы намѣрены предложить читателямъ вопросъ: не состоитъ ли и большинство нашего общества изъ членовъ двухъ названныхъ нами категорій? Не составляютъ ли у насъ исключенія люди, соединяющіе съ правдивостью и возвышенностью стремленій честную и неутомимую дѣятельность? Вѣроятно, каждый изъ читателей можетъ насчитать въ числѣ своихъ знакомыхъ десятки людей, которымъ, кажется, сроду не приходило въ голову ни одного вопроса, не касавшагося ихъ собственной кожи, и десятки другихъ, безплодно тратящихъ всю жизнь въ вопросахъ и сомнѣніяхъ, не пытаясь разрѣшить своей дѣятельностью ни одного изъ нихъ, и измѣняющихъ на дѣлѣ даже тѣмъ рѣшеніямъ, которыя ими сдѣланы въ теоріи. Сколько мы видимъ людей, унижающихся передъ тѣми, кого они внутренно презираютъ, смѣющихся надъ тѣмъ, чего боятся дѣлающихъ то, чего гадость они очень хорошо знаютъ, говорящихъ то, чему сами не вѣрятъ, и т. п. Отчего происходитъ все это? Оттого же, отчего погибаютъ талантливыя натуры, — отъ недостаточнаго развитія внутренней силы, необходимой, чтобы устоять противъ внѣшнихъ вліяній. Теперь мы, слава Богу, всѣ уже знаемъ кое-что, потому что всѣ учились понемногу. Но бѣда въ томъ, что ученье это рѣдкимъ изъ насъ впрокъ идетъ: рѣдкіе рѣ-

шаются собственнымъ умомъ провѣрить чужія внушенія, внести въ чужія системы свѣтъ собственной мысли и ступить на дорогу безпощаднаго отрицанія для отысканія чистой истины; большая часть принимаетъ ученье только памятью, и если дѣйствуетъ иногда разсудкомъ, то не потому, чтобы внутренняя, живая потребность была, а потому только, что въ голову заброшено такое ученіе, въ которомъ именно приказывается мыслить. И начинается мышленіе на заказъ, безъ всякаго участія сердца, съ соблюденіемъ только діалектическихъ тонкостей. И то хорошо, конечно: все-таки лучше, чѣмъ совершенное, мертвое безмысліе. Но жизнь не уловляется діалектикой, и кто не вникалъ въ разнообразіе ея вліяній самъ, не стѣсняясь теоріями, навязанными въ лѣта невѣдѣнія, — тотъ не пойметъ ея хода. Въ томъ же обществѣ, гдѣ сильно еще дѣйствуютъ въ отдѣльныхъ личностяхъ чужія, безсмысленно взятыя на вѣру формы и формулы, долго нельзя ожидать плодотворной и послѣдовательной дѣятельности. Во многихъ умахъ могутъ появляться прекрасные порывы, произведенные присталыми убѣжденіями; но всѣ они — и порывы, и самыя убѣжденія — безполезно погибаютъ и разсыпаются въ прахъ, не въ силахъ будучи противиться давленію темной и тяжелой массы, со всѣхъ сторонъ заграждающей имъ путь. Оттого-то и бываетъ такъ медленъ переходъ народовъ изъ состоянія пассивнаго воспріятія въ состояніе самобытной дѣятельности. Медленно, чуть замѣтно увеличивается, изъ поколѣнія въ поколѣніе, число людей самобытно мыслящихъ, и еще медленнѣе получается возможность приложить мысль къ дѣлу. Идеала лично-самостоятельной дѣятельности не достигъ еще ни

одинъ народъ, и не много есть народовъ, въ которыхъ сознательно развитыя личности не составляютъ исключенія.

Наше общество еще очень молодо въ отношеніи къ европейской цивилизаціи, и потому нечего удивляться, что огромное большинство его относится къ наукѣ и мысли чисто страдательно. Между этимъ большинствомъ есть мирные люди, отличающіеся изумительной способностью легко переваривать всѣ противорѣчія, проистекающія изъ смѣшенія новыхъ понятій, вносимыхъ жизнью, съ старыми привычками, пріобрѣтенными въ дѣтствѣ. Есть и талантливыя натуры разныхъ сортовъ, шумно дающія знать о своемъ бездѣйствіи и переваривающія на досугѣ свое прошедшее, протестуя противъ настоящаго. Они-то обыкновенно и толкуютъ о высшей своей русской породѣ, которой достоинства опредѣляютъ на манеръ Горехвастова: «Геніальная, дескать, натура у русскаго человѣка: безъ науки всѣ науки прошелъ!..». И дѣйствительно, — продолжимъ мы рѣчь Горехвастова, соображая нѣкоторыя явленія нашей общественной жизни, — «какъ почнетъ топоромъ рубить — только щепки летятъ... Лежитъ, кажется, цѣлый день на боку, да зато ужъ какъ примется...» — Въ полтора вѣка Европу мы догнали, да и перегнали, — восклицаютъ у насъ, вторя Горехвастову, многія талантливыя натуры. «Да помилуйте, мы уже восемь вѣковъ назадъ были далеко впереди отъ Европы, — возражаютъ другіе, — мы всегда были не то, что прочіе люди; мы давно уже безъ науки всѣ науки прошли, потому что геніальная натура науки не требуетъ: это ужъ у насъ у всѣхъ русское, врожденное.»

Къ сожалѣнію, все это — слова, слова, не имѣю-

щія внутренняго смысла. Самые толки о необыкновенно быстромъ ростѣ нашемъ оказываются краснорѣчивымъ тропомъ. Отъ древней Руси довольно осталось намъ наивно разсказанныхъ фактовъ кормленій и продѣлокъ подьячества. Сто лѣтъ тому назадъ Сумароковъ пріобрѣлъ благодарность современниковъ за успѣшное преслѣдованіе «крапивнаго сѣмени». За шестьдесятъ лѣтъ до нашего времени, по поводу комедіи Капниста, журналы предсказывали искорененіе взяточничества. Не дальше какъ въ прошломъ году самъ господинъ Щедринъ похоронилъ прошлыя времена. Но вотъ опять всѣ покойники оказались живехоньки и зычнымъ голосомъ отозвались въ третьей части «Очерковъ» и въ другихъ литературныхъ произведеніяхъ послѣдняго времени. Доказываетъ ли это, что мы очень выросли въ нравственномъ и умственномъ отношеніи? Не напоминаетъ ли это, напротивъ, Горехвастова, трагически декламирующаго о своей гадости и подлости, съ вырываніемъ собственныхъ волосъ приносящаго раскаяніе и въ то же время затѣвающаго новое воровство?..

«До чего жъ вы наконецъ договорились, — возражаютъ намъ практическіе люди, — вы сами сознаетесь наконецъ въ безсиліи вашего хваленаго рода литературы? Къ чему же привели всѣ эти отвратительныя картины, грязныя сцены, пошлые и подлые характеры? Къ чему привело все это раскрытіе общественныхъ ранъ, которое вы всегда такъ превозносили? Выходитъ, что отъ вашихъ литературныхъ обличеній никакого толку нѣтъ, да и быть не можетъ. Повѣрьте, что исправники и становые вашихъ разсужденій и очерковъ читать не станутъ, а если и прочтутъ, такъ только васъ же

ругнуть: хорошо, молъ, имъ сочинять-то у безделья, а тутъ на шеѣ столько обязанностей виситъ, что только дай Богъ вынести. И повѣрьте, что сознаніе своихъ обязанностей въ отношеніи къ желудку, семейству, начальству и пр. будетъ въ человѣкѣ гораздо сильнѣе, чѣмъ убѣжденія всѣхъ вашихъ книжекъ. Напрасно только литература унижаетъ себя, опускаясь изъ свѣтлыхъ высотъ фантазіи въ омутъ грязной дѣйствительности. Она должна приносить чистыя жертвы на алтарь музъ, а вмѣсто того жрецы ея берутся за метлу. Вы рождены для вдохновенья, для звуковъ *сладкихъ* и молитвъ; зачѣмъ же вы преслѣдуете какія-то цѣли, достиженіе которыхъ васъ, кажется, очень интересуетъ? Искусство цѣлей внѣ себя допускать не должно. Иначе оно искажается, профанируется, низводится на степень ремесла, и все это безъ малѣйшей пользы для общества, единственно затѣмъ, чтобы дать исходъ желчи какого-нибудь господина. Оставьте лучше этотъ родъ: онъ не приводитъ ни къ чему хорошему. Вѣковой опытъ долженъ убѣдить васъ въ этой непреложной истинѣ. Изображайте намъ лучше чувства возвышенныя, натуры благородныя, лица идеальныя. Дайте намъ образцы добраго и изящнаго, которыми мы могли бы восхищаться, на которыхъ душа наша могла бы отдохнуть и успокоиться отъ треволненій и сердечныхъ зрѣлищъ жизненнаго поприща. Пишите объ искусствѣ, о предметахъ, повергающихъ сердце въ сладостное умиленіе или благоговѣйный восторгъ, — описывайте, наконецъ, красы природы, неба . . . Тогда ваша литература будетъ исполнять свое прямое назначеніе — служеніе искусству, и слѣдовательно, будетъ полезна, пріятна и, главное, художественна.»

Въ словахъ практическихъ людей звучитъ ожесточеніе безпощадное. Они давно уже косятся на это направленіе, которое насолило ихъ теоріи, да не оставило-таки задѣть немножко и практику. Всѣ ихъ возраженія, конечно, не новы и составляютъ варіаціи стихотворенія Пушкина «Чернь», съ прибавленіемъ, можетъ быть, чувствительныхъ стишковъ изъ Ильи Муромца:

Ахъ, не все намъ слезы горькія
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ...
На минуту позабудемся
Въ чародѣйствѣ красныхъ вымысловъ.

Отчего же и не позабыться, если хотите, — особенно если это только на минуту. Но при врожденной талантливымъ натурамъ лѣни онѣ любятъ забываться надолго, даже навсегда, если можно. Онѣ готовы въ своей дремотѣ отъ всего сердца проклясть «правды гласъ», если онъ вдругъ разрушитъ ихъ сладостныя мечтанія. Многія, эстетически обученныя, талантливыя натуры сильно желаютъ этого забытья, чтобы блаженствовать въ покоѣ. Но признаемся, мы никогда не понимали «блаженства безумія», и еще менѣе понимаемъ, зачѣмъ люди хотятъ сдѣлать искусство служителемъ этого безумія. Вамъ не хочется смотрѣть на гадость и пошлость жизни; да литература-то что же за штопальщица, что вы хотите заставить ее зашивать кое-какъ прорѣхи вашего изношеннаго наряда? Вы знаете, что человѣкъ не въ состояніи самъ отъ себя ни одной песчинки выдумать, которой бы не существовало на свѣтѣ; хорошее или дурное — все равно берется изъ природы и дѣйствительной жизни. Когда же художникъ болѣе подчиняется заранѣе предно-

ложенной цѣли, — тогда ли, когда въ своихъ произведеніяхъ выражаетъ истину окружающихъ его явленій, безъ утайки и безъ прикрасъ, или тогда, когда нарочно старается выбрать одно возвышенное, идеальное, согласное съ опрятными инстинктами эстетической теоріи? И чѣмъ же искусство болѣе возвышается, — описаніемъ ли журчанья ручейковъ и изложеніемъ отношеній дола къ пригорку, или представленіемъ теченія жизни человѣческой и столкновенія различныхъ началъ, различныхъ интересовъ общественныхъ? Вамъ угодно называть служителей общественнаго направленія подметателями всякаго сора. Пусть такъ; мы противъ этого не станемъ спорить; мы даже выскажемъ вамъ нашу искреннюю благодарность и удивленіе къ вашей эстетической мудрости, уподобивъ васъ тому нѣмецкому профессору (подумайте — профессору! нѣмецкому!), который у Гейне

Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen
Stopft die Lücken des Weltbaues.

А что литературныя обличенія не производятъ практически-благотворныхъ результатовъ или производятъ ихъ весьма мало, — такъ кто же опять виноватъ въ этомъ? Неужели опять вы скажете, что литература? Да на нее и безъ того вы же сами взводите обвиненія въ излишней рѣзкости, вмѣшательствѣ не въ свои дѣла и пр. Она дѣйствуетъ такъ сильно, какъ только можетъ, а вы недовольны ея дѣйствіями и хотите ихъ прекратить, потому что они слабы! Гораздо послѣдовательнѣе было бы съ вашей стороны, если бы вы сказали, что надобно, поэтому, усилить тонъ литературныхъ обличеній, для легчайшаго достиженія практическихъ резуль-

татовъ. Тогда бы мы съ вами и спорить не стали, хотя все-таки не рѣшились бы обѣщать слишкомъ замѣтнаго успѣха въ улучшеніи нравовъ посредствомъ литературы. Литература въ нашей жизни не составляетъ такой преобладающей силы, которой бы все подчинялось: она служитъ выраженіемъ понятій и стремленій образованнаго меньшинства и доступна только меньшинству; вліяніе ея на остальную массу — только посредственное, и оно распространяется весьма медленно. Да и по самому существу своему литература не составляетъ понудительной силы, отнимающей физическую или нравственную возможность поступать противозаконно. Она не любитъ насилія и принужденія, а любитъ спокойное, безпристрастное и безпрепятственное разсужденіе. Она поставляетъ вопросы, со всѣхъ сторонъ ихъ разсматриваетъ, сообщаетъ факты, возбуждаетъ мысль и чувство въ человѣкѣ; но не присваиваетъ себѣ какой-то исполнительной власти, которой вы отъ нея требуете. Намъ приходитъ теперь на мысль начало одного знаменитаго въ свое время французскаго сочиненія объ одномъ важномъ вопросѣ. «Меня спросятъ, говоритъ авторъ, что я за правитель или законодатель, что смѣю писать о политикѣ? Я отвѣчу на это: оттого-то я и пишу, что я ни правитель, ни законодатель. Если бы я былъ тѣмъ или другимъ, то не сталъ бы напрасно тратить время въ разговорахъ о томъ, что нужно сдѣлать: я сдѣлалъ бы, или бы молчалъ . . . » Нужно же понять наконецъ значеніе писателя, нужно понять, что его оружіе — слово, убѣжденіе, а не матеріальная сила. Если вы признаете справедливость его убѣжденій и все-таки не исправляете по нимъ своей дѣятельности, — въ этомъ вы сами ужъ виноваты: въ васъ,

значитъ, нѣтъ характера, нѣтъ умѣнья бороться съ трудностями, не развито понятіе о честномъ согласованіи поступковъ съ мыслями. Если же самыя убѣжденія вамъ не нравятся, — тогда другое дѣло. Тогда выскажите намъ всенародно ваши собственныя убѣжденія, докажите, что г. Щедринъ говоритъ неправду, что онъ изобрѣтаетъ небывалыя вещи. Публика послушаетъ и васъ, разберетъ тогда, на чьей сторонѣ правда. Въ такомъ случаѣ литература, разумѣется, и значенія больше получитъ, хотя, конечно, и тогда чудесъ дѣлать не будетъ и не остановитъ хода исторіи. Для примѣра укажемъ хоть на древнюю исторію, чтобы не вмѣшивать сюда новыхъ народовъ. Ужъ на что, кажется, литературный народъ были аѳиняне. Судебныя дѣла рѣшались умиленіемъ судей отъ чтенія хорошей трагедіи, краснорѣчіе судьбою государства правило, но ничто не отвратило упадка аѳинской силы, когда народная доблесть пропала. Аристофанъ, не чета нашимъ комикамъ, не въ бровь, а въ самый глазъ кололъ Клеона, и бѣдные граждане рады были его колкимъ выходкамъ; а Клеонъ, какъ богатый человѣкъ, все-таки управлялъ Аѳинами съ помощью нѣсколькихъ богатыхъ людей. Демосѳенъ цѣлому народу громогласно проповѣдывалъ свои филиппики. Филиппъ зналъ силу оратора, говорилъ, что боится его больше, чѣмъ цѣлой арміи, и, понимая, что борьбу надобно производить равнымъ оружіемъ, подкупилъ Эсхина, который могъ помѣряться съ Демосѳеномъ. Борьба продолжалась долго, наконецъ, самый ходъ событій оправдалъ Демосѳена: аѳиняне послушались его, собрали наконецъ войско и пошли на Филиппа. Но все краснорѣчіе Демосѳена было не въ силахъ возвратить времена Мильтіадовъ и Ѳемистокловъ.

Аѳины покорились Филиппу. Неужто и тутъ Демосѳенъ виноватъ: зачѣмъ, дескать, онъ говорилъ? Какъ бы не говорилъ, такъ, можетъ, было бы и лучше.

Впрочемъ, подумавши хорошенько, мы убѣждаемся, что серьезно защищать г. Щедрина и его направленіе совершенно не стоитъ. Все отрицаніе г. Щедрина относится къ ничтожному меньшинству нашего народа, которое будетъ все ничтожнѣе съ распространеніемъ народной образованности. А упреки, дѣлаемые г. Щедрину, раздаются только въ отдаленныхъ, едва замѣтныхъ кружкахъ этого меньшинства. Въ массѣ же народа имя г. Щедрина, когда оно сдѣлается тамъ извѣстнымъ, будетъ всегда произносимо съ уваженіемъ и благодарностью: онъ любитъ этотъ народъ, онъ видитъ много добрыхъ, благородныхъ, хотя и неразвитыхъ или невѣрно направленныхъ инстинктовъ въ этихъ смиренныхъ, простодушныхъ труженикахъ. Ихъ-то защищаетъ онъ отъ разнаго рода талантливыхъ натуръ и безталанныхъ скромниковъ, къ нимъ-то относится онъ безъ всякаго отрицанія. Въ «Богомольцахъ» его великолѣпенъ контрастъ между простодушной вѣрой, живыми, свѣжими чувствами простолюдиновъ и надменной пустотой генеральши Дарьи Михайловны или гадостнымъ фанфаронствомъ откупщика Хрептюгина. И неужели это будетъ отрицаніе народнаго достоинства, нелюбовь къ родинѣ, если благородный человѣкъ разскажетъ, какъ благочестивый народъ разгоняютъ отъ святыхъ иконъ, которымъ онъ искренно вѣруетъ и поклоняется, для того, чтобы очистить мѣсто для генеральши Дарьи Михайловны, небрежно говорящей, что c'est joli, или какъ полуграмотный писарь глу-

мится надъ простодушной вѣрой старика, увѣряя, что «простой человѣкъ, окромѣ какъ своего невѣжества, натуральнаго естества ни въ жизнь произойти не въ силахъ», — или какъ у истомленныхъ, умирающихъ отъ жажды странницъ отнимаютъ ото рта воду, чтобы поставить серебряный самоваръ Ивана Онуфрича Хрептюгина. Нѣтъ, отрицательное направленіе принадлежитъ именно тѣмъ людямъ, которые обижаются подобными разсказами и безумно отрекаются отъ своей родины, ставя себя на мѣсто народа. Они — гнилыя части, сухія вѣтви дерева, которыя отмѣчаются знатокомъ для того, чтобы садовникъ обрѣзалъ ихъ, и они-то подымаютъ вопль о томъ, что рѣжутъ дерево, что гибнетъ дерево. Да, дерево можетъ погибнуть именно отъ этихъ гнилыхъ и засохшихъ вѣтвей, если онѣ не будутъ отсѣчены. Безъ нихъ же дерево ничего не потеряетъ: оно свѣжо и молодо, его можно воспитать и выпрямить; его растительная сила такова, что на мѣстѣ обрѣзанныхъ у него скоро вырастутъ новыя, здоровыя вѣтви. А о сухихъ вѣтвяхъ и жалѣть нечего: пусть ихъ пригодятся кому-нибудь хоть на растопку печки.

Сочувствіе къ неиспорченному, простому классу народа, какъ ко всему свѣжему, здоровому въ Россіи, выражается у г. Щедрина чрезвычайно живо. Мы думаемъ, что самый эстетическій, самый восторженный человѣкъ можетъ отдохнуть на общей картинѣ богомольцевъ и странниковъ, ожидающихъ на соборной площади появленія святыхъ иконъ. Тутъ нѣтъ сантиментальничанья и ложной идеализаціи; народъ является какъ есть, съ своими недостатками, грубостью, неразвитостью. Тутъ и горе, и бѣдность, и лохмотья, и голодъ являются на сцену,

тутъ и пѣсни о томъ, что пришло время антихристово, потому что

Власы, бороды стали брити,
Латынскую одежду носити...

Но эти бѣдные, невѣжественные странники, эти суевѣрныя крестьянки возбуждаютъ въ насъ не насмѣшку, не отвращеніе, а жалость и сочувствіе. Становится грустно, какъ послушаешь толки женщинъ о предстоящемъ имъ переселеніи по-за Пермь, въ Сибирскія страны. Жалко стараго мѣста, жалко родительскія могилки оставить, но что дѣлать? Житье-то плохое на старомъ мѣстѣ: земля — тундра да болотина, семья большая, кормиться нечѣмъ и подати взять неоткуда. А въ сибирской сторонѣ, говорятъ, и хлѣбъ родится, и скотина живетъ... Вздыхаютъ собесѣдницы, и разговоръ, повидимому, стихаетъ. Но, продолжаетъ г. Щедринъ,

Этой боли сердечной, этой нуждѣ сосущей, которую мы равнодушно называемъ именемъ ежедневныхъ будничныхъ явленій, никогда нѣтъ скончанія. Они безконечно зрѣютъ въ сердцѣ бѣднаго труженика, выражаясь въ жалобахъ, всегда однообразныхъ и всегда безплодныхъ, но тѣмъ не менѣе повторяющихся безпрерывно, потому что человѣку невозможно не стонать, если стонъ, совершенно созрѣвшій безъ всякихъ съ его стороны усилій, вылетаетъ изъ груди.

— Такъ-то вотъ, братъ, — говоритъ пожилой и очень смирный съ виду мужичокъ, встрѣтившись на площади съ своимъ односельчаниномъ, — такъ-то вотъ, и Матюшу въ некруты сдали!

Въ загорѣлыхъ и огрубѣвшихъ чертахъ лица его является почти незамѣтное судорожное движеніе, въ голосѣ слышится дрожаніе, и обыкновенный сдержанный вздохъ вырывается изъ груди.

— А добрый парень былъ, — продолжаетъ мужичокъ, — какъ есть на свѣтѣ муха, и той не обидѣлъ, ро-

билъ непрекословно, да и въ некруты непрекословно пошелъ, даже голосу не подалъ, какъ „лобъ“ сказали!

Воображенію моему вдругъ представляется этотъ славный, смирный парень Матюша, не то чтобъ веселый, а скорѣе боязный, трудолюбивый и честный. Я вижу его за сохой, бодраго и сильнаго, несмотря на капли пота, струящіяся съ его загорѣлаго лица; вижу его дома, безропотно исполняющаго всякую домашнюю нужду; вижу въ церкви Божіей, стоящаго скромно и истово знаменающагося крестнымъ знаменіемъ; вижу его позднимъ вечеромъ, засыпающаго сномъ невиннымъ послѣ тяжкой дневной работы, для него никогда не кончающейся. Вижу я старика отца и старуху мать, которые радуются не нарадуются на ненаглядное дѣтище; вижу урну съ свернутыми въ ней жеребьями, слышу слова: „лобъ“, „лобъ“, „лобъ“!...

— Что жъ, помолиться что ли ты пришелъ, дядя Иванъ? спрашиваетъ у мужичка его собесѣдникъ.

— Да, вотъ къ угоднику... Помиловалъ бы онъ его, нашъ батюшка! — отвѣчаетъ старикъ прерывающимся голосомъ; — никакого, то есть, даже изъяну въ немъ не нашли, въ Матюшѣ-то; тѣло-то, слышь, бѣлое-разбѣлое, да крѣпко таково...

И вся эта толпа пришла сюда съ чистымъ сердцемъ, храня, во всей ея непорочности, душевную лепту, которую она обѣщала повергнуть къ пречестному и достохвальному образу Божьяго угодника. Прислушиваясь къ ея говору, я самъ начинаю сознавать возможность и законность этого стремленія къ душевному подвигу, которое такъ просто и такъ естественно объясняется всѣми жизненными обстоятельствами, оцѣпляющими незатѣйливое существованіе простого человѣка. (Т. III, стр. 152—154.)

Мы остановимся здѣсь, подъ вліяніемъ этого трогательнаго чувства. Замѣтимъ только, въ заключеніе, какъ ровно, безпорывно, но зато какъ беззавѣтно, просто и открыто выражается глубокое чувство, глубокая вѣра этого народа, и выражается не въ восклицаніяхъ, а на дѣлѣ. Это не то, что фразеры, о которыхъ говорили мы въ началѣ статьи. Толками тѣхъ господъ нечего увлекаться,

на нихъ нечего надѣяться: ихъ станетъ только на фразу, а внутри существа ихъ господствуетъ лѣнь и апатія. Не такова эта живая, свѣжая масса: она не любитъ много говорить, не щеголяетъ своими страданьями и печалями, и часто даже сама ихъ не понимаетъ хорошенько. Но ужъ зато если пойметъ что-нибудь этотъ «міръ», толковый и дѣльный, если скажетъ свое простое, изъ жизни вышедшее слово, то крѣпко будетъ его слово, и сдѣлаетъ онъ, что обѣщалъ. На него можно надѣяться.

1858.

Новыя стихотворенія В. Бенедиктова.

Спб. 1857.

Много смѣялись надъ господиномъ Бенедиктовымъ, много разъ повторяли о немъ давно извѣстныя всему міру истины, но только все не впрокъ. Г. Бенедиктовъ издаетъ новыя стихотворенія, пріобрѣтаетъ новыхъ хвалителей, принимаетъ новое направленіе, — но въ сущности все не измѣняетъ себѣ, все фигурируетъ попрежнему. Нельзя иначе: такъ онъ привыкъ, привычка вторая природа. Слѣдовательно критика должна наконецъ убѣдиться, что ей не остановить г. Бенедиктова, неудержимаго «какъ бурныя силы природы», по его собственному сравненію. Критика должна оставить гордыя притязанія на улучшеніе *манеры* г. Бенедиктова. Остается ей смиренная лѣтописная роль: отмѣтить фактъ появленія «Новыхъ стихотвореній» г. Бенедиктова и сказать, что въ нихъ онъ остался вѣренъ своему прежнему характеру, какъ въ содержаніи, такъ и въ формѣ.

«Но какъ же это можно? Это несправедливо, это недобросовѣстно», возопіютъ противъ насъ многочисленные почитатели г. Бенедиктова, пріобрѣтенные имъ послѣ того, какъ онъ обнаружилъ свое новое направленіе. «Помилуйте, — то ли те-

перь г. Бенедиктовъ, что онъ былъ прежде? Прежде онъ воспѣвалъ только аппетитныхъ дѣвъ, съ грудями въ цѣлый океанъ, бурно кидающихся на пышный диванъ и вонзающихъ въ уста сердечный поцѣлуй. Прежде онъ только и дѣлалъ, что утоплялъ въ эфирномъ станѣ таковыхъ красавицъ пылающую ладонь свою и припекалъ поцѣлуями ихъ кудри-кольца, кудри-змѣйки. Прежде горы представлялись ему побѣгами праха въ небеса, рванувшимися въ высь и повиснувшими отъ ужаса между небомъ и землею; пожаръ казался ему младымъ красавцемъ, прильнувшимъ сладострастно къ груди дѣвы и разметавшимъ кудри свои въ воздушныхъ кругахъ. Вотъ какъ выражалась и вотъ на что обращена была прежняя дѣятельность г. Бенедиктова. А теперь есть ли что подобное? Г. Бенедиктовъ сталъ простъ, естественъ, остроуменъ въ выраженіи; а содержаніе его нынѣшнихъ стихотвореній дѣлаетъ честь не только ему, но и всей русской литературѣ. Онъ затрогиваетъ важнѣйшіе современные вопросы, преслѣдуетъ общественные пороки, онъ проникнутъ глубокимъ сочувствіемъ къ добру и правдѣ, горячею любовью къ человѣчеству, стремленіемъ къ прогрессу, и проч. Сказать, что г. Бенедиктовъ и теперь то же самое, что былъ прежде, значитъ обнаружить самое грубое пристрастіе или непростительное равнодушіе къ благороднымъ порывамъ поэта.»

Такіе голоса раздаются отвсюду. Одинъ фельетонистъ увѣряетъ даже, что вся русская публика въ одинъ голосъ вопіетъ такимъ образомъ. Нечего дѣлать, приходится остановить лѣтописную, безыскусственную правду нагляднаго впечатлѣнія и вооружиться критическимъ разсмотрѣніемъ. Разсмотрѣ-

ніе наше все будетъ направлено противъ новыхъ почитателей г. Бенедиктова, которые за нынѣшними его заслугами не видятъ ни нынѣшнихъ его недостатковъ, ни прежнихъ достатковъ. Въ разборѣ нашемъ мы будемъ серьезны, потому что старыя насмѣшки надъ г. Бенедиктовымъ не нуждаются въ повтореніи, а новыми поражать его мы не хотимъ, изъ уваженія къ тому направленію, котораго онъ сталъ все болѣе придерживаться въ послѣднее время.

Увѣряютъ, что г. Бенедиктовъ сталъ простъ и естественъ въ своихъ новѣйшихъ стихотвореніяхъ; а мы, напротивъ, утверждаемъ, что онъ до сихъ поръ сохранилъ свою прежнюю манеру и что гиперболическая изысканность фразъ и нынѣ отличаетъ его стихъ попрежнему. Представляемъ примѣры. Поэтъ говоритъ, что Шекспиръ своими созданіями *бьетъ его* и ударомъ *съ плеча* возводитъ въ рыцари, и обвивши его молніей, *благородитъ просторожденна*. Неужели это простое и естественное выраженіе мысли? Неужели это не можетъ стать рядомъ съ сладострастнымъ красавцемъ-пожаромъ и съ побѣгами праха въ небеса? Да вы, можетъ быть, думаете, что мы нарочно выдумали, будто Шекспиръ прибилъ г. Бенедиктова и такимъ образомъ возвелъ въ рыцари? Вотъ вамъ собственные стихи вашего поэта («Нов. стих.», стр. 80):

Онъ *бьетъ*, и я, принявъ ударъ,
Ударомъ тѣмъ не опозоренъ,
Зане ударъ тотъ — Божій даръ.
. . . .
Когда предъ вѣщимъ на колѣни
Я становлюсь, чело склоня,
Онъ, ставъ на горнія ступени
И молніей обвивъ меня,
Просторожденца благородитъ,

Раба подъемлетъ и *съ плеча*
Плебея въ рыцари возводитъ
Ударомъ божьяго меча.

А хороша ли вотъ эта гипербола: во «Встрѣчномъ голосѣ», описывая торжества, бывшія въ Москвѣ лѣтомъ 1856 г., г. Бенедиктовъ замѣчаетъ, что глаза у собравшагося на иллюминацію народа такъ ярко горѣли, что помрачали даже огни фонарей, пламень шкаликовъ и фейерверковъ; сердца бились такъ громко, что заглушали звонъ всѣхъ колоколовъ московскихъ. Вотъ его стихи (стр. 2):

Но огней потѣшныхъ пиршественной ночи
Ярче тамъ горѣли радостныя очи
Русскаго народа; бой сердецъ довольныхъ
Тамъ гудѣлъ слышнѣе звоновъ колокольныхъ.

А каково уподобленіе сѣнокоса цирульнѣ? (стр. 141):

Гдѣ твои волосы, шелковый лугъ?
Гдѣ твои косы? — Все сбрито вокругъ.

Хорошо ли также, что деревья въ лѣсу «стоятъ на постелѣ мховъ (стоятъ на постелѣ) и посылаютъ свои вершины на поискъ бурныхъ облаковъ?» Это находится въ недавно напечатанномъ стихотвореніи г. Бенедиктова «Къ лѣсу» («Нов. стих.», стр. 101).

Твои стволы, какъ исполины,
Поправъ пятой постелю мховъ,
Стоятъ, пославъ свои вершины
На поискъ бурныхъ облаковъ.

Просто ли также желаніе поэта, чтобы сердце его взвѣсило число лѣтъ (?), превратилось въ камень и поросло мхомъ? (стр. 27):

Лучше бъ вымеръ этотъ пламень!
Лучше бъ, взвѣсивъ лѣтъ число,

Обратилось сердце въ камень
Да и мохомъ поросло!

Намъ кажется, что все это напоминаетъ довольно сильно прежняго г. Бенедиктова и нимало не подтверждаетъ той мысли, что онъ дошелъ теперь до художественной простоты выраженія. Мы привели немного примѣровъ, но внимательное чтеніе стихотвореній г. Бенедиктова покажетъ, что эти приведенныя нами мѣста не составляютъ исключенія: въ стихотвореніяхъ безпрестанно то поэтъ желаетъ, чтобы ему кто-нибудь дружбу бросилъ въ окошко (стр. 134), то онъ яркимъ взглядомъ брызнетъ (стр. 109), то небо къ нему нагнулось, подошло и просится въ окно (стр. 139), и т. п. Изобразительность великолѣпная! Если нѣтъ въ ней прежней размашистой, можно сказать, азартной живости, это ужъ происходитъ единственно отъ преклонныхъ лѣтъ поэта. Онъ самъ съ сожалѣніемъ отзывается объ этомъ въ одномъ стихотвореніи:

Будь-ко ты еще со мною,
Вихорь-молодость моя,
Какъ съ тобой, моей родною,
Погулялъ бы нынче я,
Этимъ юношамъ степеннымъ
Далъ бы я какой урокъ.

Желанія поэта остались, какъ видите, тѣ же, «пылъ чувства я сохранилъ», признается онъ самъ. Но силы ужъ не тѣ, нельзя дѣлать того, что прежде, и поневолѣ дѣлаешься скромнѣе, хотя въ душѣ все остаешься тѣмъ же:

Еле ходишь, сухопарый,
Ломитъ поясницу,
Кашель душитъ, — а и старый
Любишь молодицу.

Только ужъ молодица не отвѣчаетъ на селадонство старика, и онъ, понимая это, ограничивается грустнымъ сожалѣніемъ:

Во многомъ доживъ до изъяна,
Теперь не могу не тужить:
Зачѣмъ я родился такъ рано,
Зачѣмъ торопился я жить.

Вотъ вамъ и объясненіе, — кажется, весьма простое, — почему поэтъ менѣе выказываетъ теперь азарта въ своихъ стихотвореніяхъ и почему онъ пересталъ описывать аппетитныхъ красавицъ. Это совсѣмъ не означаетъ какой-нибудь особенности въ развитіи таланта, а просто показываетъ, что есть время всякой вещи на свѣтѣ. Поэтъ вспоминаетъ въ одномъ мѣстѣ (стр. 51) о томъ, какъ онъ бывало ударялъ кулакомъ по столу, читая свои стихотворенія: въ молодости, разумѣется, и это ничего не значило, когда кровь кипѣла сильнѣе, да и руки были крѣпче, — еще не обломались; а въ старости слишкомъ сильно ударять кулакомъ по столу, пожалуй, и опасно для тѣлеснаго благосостоянія. Тутъ опять нѣтъ особенности въ развитіи поэтическаго таланта, а просто неизбѣжное по чину естества ослабленіе физическихъ силъ. Зато г. Бенедиктовъ съ удовольствіемъ вспоминаетъ свою молодость, что, конечно, нисколько не предосудительно, — и даже соблазняетъ собственное воображеніе намеками нескромнаго характера, — что, по нашему откровенному мнѣнію, уже излишне. Конечно, мы понимаемъ, что и старости позволительно увлекаться, подобно молодости, и что увлеченія г. Бенедиктова минутны и даже, можетъ быть, совершенно безотчетны. Мы не имѣемъ права обвинять поэта въ беззубомъ цинизмѣ, которому предаются иные ста-

рички, пожуировавшіе въ своей жизни и непремѣнно желающіе сыграть до конца роль шалуновъ и повѣсъ. Но все-таки намъ показались не слишкомъ опрятными слѣдующіе стихи, находящіеся въ юмористическомъ стихотвореніи: «Плачъ остающагося въ городѣ при видѣ отъѣзжающихъ на дачи» (стр. 49). Описывается возъ, на которомъ перевозится на дачу мебель, и, между прочимъ, стулья:

И — что за дерзкій видъ! И стулья, и столы
Предъ всею публикой — *у нихъ стыда ни крошки* —
Сцѣпились, ножки вверхъ, и ножки черезъ ножки
Продѣты такъ и сякъ, — трясутся, дребезжатъ...

Въ числѣ прекрасныхъ изображеній, представленныхъ въ разныхъ стихотвореніяхъ г. Бенедиктовымъ и «такъ много говорящимъ уму и сердцу», — эти стихи займутъ вѣроятно не послѣднее мѣсто. Со временемъ на нихъ могутъ указывать въ литературныхъ характеристикахъ на ряду съ извѣстными стихами о «нагломъ сукѣ» изъ «Душеньки». Впрочемъ, тамъ — фривольное изображеніе совершенно естественно и понятно: рѣчь идетъ прямо о женщинѣ. А здѣсь — помилосердуйте, о поэтъ! — здѣсь вѣдь столы и стулья. Слѣдовательно, ваше замѣчаніе объ ихъ безстыдствѣ (о, если бъ не было этого несчастнаго замѣчанія!) совершенно неестественно, натянуто и можетъ быть объяснено только нечистой игрой вашего старческаго воображенія.

Справедливость требуетъ, однакоже, замѣтить, что эротическія стремленія не составляютъ главнаго элемента поэзіи г. Бенедиктова. Она попрежнему слагается изъ вычурности и эффектовъ, для которыхъ канвою служатъ нынѣ нерѣдко общественные вопросы, такъ какъ прежде служили заоблачныя мечты, выспреннія чувства, величествен-

ныя картины природы и т. п. Мы совсѣмъ не думаемъ унижать этимъ современныхъ стихотвореній г. Бенедиктова и вовсе не хотимъ сказать, чтобы его нынѣшнее направленіе не вытекало изъ самой глубины его сердца. Напротивъ, мы имѣемъ въ виду доказать, что его сочувствія давно уже влекли его къ нынѣшнему его поприщу, и что только недостатокъ таланта удерживалъ его до послѣдняго времени отъ выраженія своихъ истинныхъ стремленій. Въ самомъ дѣлѣ, г. Бенедиктовъ давно уже, и очень громозвучно, очень рѣшительно провозгласилъ міру свое призваніе:

Я въ мірѣ боецъ! Да, я биться хочу...
Смотрите — я бросилъ ужъ лиру;
Я мечъ захватилъ и открыто лечу
Навстрѣчу нечистому міру.
И Богъ да поможетъ мнѣ зло поразить,
И въ битвѣ, глубоко, глубоко,
Могучей рукою сталь правды вонзить
Въ шипучее сердце порока.
Не бойтесь, друзья, не изгеть вашъ пѣвецъ!
Пусть грозно враговъ ополченье, —
Какъ левъ я дерусь, какъ разумный боецъ,
Упрочилъ себѣ отступленье.

Какъ видите, стремленіе содѣлаться дней новѣйшихъ Ювеналомъ и провозвѣстникомъ добра и правды — давно уже сознано было г. Бенедиктовымъ очень ясно. Онъ давно уже чуялъ, что въ противорѣчіяхъ современной общественной жизни, въ уклоненіяхъ человѣчества отъ естественнаго пути можно найти неизсякаемый источникъ потрясающихъ эффектовъ; а это ему было нужнѣе всего, по самой сущности его дарованія. Но что же помѣшало ему исполнить свое намѣреніе въ то же время, какъ оно было высказано? Почему онъ такъ долго не являл-

ся въ роли бойца, которую принялъ на себя такъ рѣшительно? Причину этого надобно искать въ недостаткѣ таланта. Въ то время, когда желаніе биться было впервые сознано г. Бенедиктовымъ, общественное мнѣніе въ Россіи еще не созрѣло для того, чтобы вызвать открытую борьбу съ порокомъ. Въ литературѣ тогда уже проявлялось вліяніе Гоголя и Бѣлинскаго, но читающая масса находилась еще въ пушкинскомъ періодѣ, за весьма немногими исключеніями. Чтобы дать побѣду новому направленію, нуженъ былъ — или новый сильный талантъ, который увлекъ бы за собою публику, или обстоятельства, постороннія литературѣ, житейскія, которыя бы доказали истинность новыхъ стремленій къ литературѣ. Дарованію дюжинному нельзя было идти противъ господствующихъ мнѣній; оно должно было увлечься общимъ теченіемъ. Такъ вообще бываетъ съ второстепенными литературными талантами. Они могутъ предупредить современное имъ направленіе или остаться въ сторонѣ отъ него только въ двухъ случаяхъ. Первый бываетъ тогда, когда человѣкъ, не имѣя замѣчательнаго таланта поэтическаго, обладаетъ, однакоже, очень свѣтлымъ умомъ и, при помощи теоретическаго изученія или живой наблюдательности, угадываетъ тѣ потребности, которыя общество должно сильнѣе почувствовать уже спустя нѣкоторое время. Такіе писатели пользуются большимъ успѣхомъ въ избранныхъ кружкахъ, но не увлекаютъ за собою массы, именно потому, что до ихъ воззрѣній она еще не доросла, а художественная сторона ихъ произведеній не столько совершенна, чтобы ясно говорить душѣ каждаго читателя. Другой случай бываетъ тогда, когда писатель настолько ограниченъ умственно, что уже

рѣшительно ничего не въ состояніи видѣть внѣ той тѣсной сферы, которая нашла сочувствіе въ его душѣ и въ которой онъ можетъ создавать иногда вещи дѣйствительно недурныя. Такою сферой для поэта могутъ особенно сдѣлаться изображенія и впечатлѣнія природы, и второстепенный талантъ, не одаренный особенною умственной проницательностью, можетъ преспокойно воспѣвать солнце и луну, зимніе вечера и майскія ночи, хотя бы міры рушились предъ его глазами. По счастью, или по несчастью, — г. Бенедиктовъ не принадлежалъ ни къ тому, ни къ другому сорту людей: онъ шелъ за вѣкомъ. А идя за вѣкомъ, онъ долженъ былъ поневолѣ искать для своихъ эффектовъ чего-нибудь другого, а не общественныхъ пороковъ. Тогда въ модѣ были, благодаря отчасти Марлинскому, вулканическія страсти и грандіозныя картины. Г. Бенедиктовъ радъ былъ и этому, хотя, вѣроятно, и самъ чувствовалъ, что здѣсь для трескучихъ фразъ недостаетъ порядочнаго содержанія; чувствуя это, онъ, можетъ быть безсознательно, можетъ быть и намѣренно, рѣшился прикрыть недостатокъ содержанія, — напропалую, отчаянно увеличивая трескучесть своихъ фразъ. Такимъ образомъ и произошли великолѣпныя созданія, возбуждавшія столько насмѣшекъ лѣтъ 15 тому назадъ. Между тѣмъ въ литературѣ нашей явился Лермонтовъ, Бѣлинскій продолжалъ дѣйствовать на сознаніе публики, событія смѣнялись одно другимъ, война пробудила общество и литературу отъ недавней апатіи, публика наша выросла въ три-четыре послѣдніе года, битва, которую замышлялъ когда-то г. Бенедиктовъ, поднялась со всѣхъ сторонъ: чего же лучше? — онъ и воспользовался общимъ движеніемъ, изыскивая наи-

болѣе эффектные предметы для своихъ звучныхъ фразъ. И, дѣйствительно, избранные имъ предметы были способны возбудить эффектъ, хотя мысли о нихъ, изложенныя г. Бенедиктовымъ, уже и не были новостью послѣ «Губернскихъ очерковъ», нѣкоторыхъ статей «Морского Сборника», «Русскаго Вѣстника» и другихъ журналовъ. Поэзіи въ нихъ, признаемся, мы находимъ не больше, какъ и въ грандіозныхъ описаніяхъ и огнедышащихъ страстяхъ того же поэта. Напримѣръ, длинное аллегорическое повѣствованіе (стиховъ въ 400) о «Посѣщеніи правды» не оживлено ни однимъ поэтическимъ мотивомъ. Однакоже, это стихотвореніе, при своемъ появленіи, возбудило сильный восторгъ въ публикѣ — за нѣсколько здравыхъ мыслей, въ немъ высказанныхъ. Другія стихотворенія того же рода всѣ полны мыслей самыхъ благонамѣренныхъ и полезныхъ, и потому тоже обращали на себя вниманіе публики. И разумѣется, мысли эти сами по себѣ стоили общаго вниманія, кѣмъ бы и какъ бы онѣ ни были изложены. Напримѣръ, во «Встрѣчномъ голосѣ» поэтъ обращается къ русскому царю съ такими словами:

> Пусть, отецъ нашъ, тѣми, кто къ тебѣ приближенъ,
> Не глушится голосъ, что идетъ изъ хижинъ.
> Родственно-живая связь царя съ народомъ
> Пусть урокомъ будетъ алчнымъ воеводамъ.
> Ты бъ насъ вѣрно не далъ никому обидѣть,
> Да вѣдь гдѣ жъ, родимый, одному все видѣть?
> Пусть же смотрятъ зорко верхніе-то мужи,
> Чтобъ внутри все было чисто и снаружи. — И пр.

Въ «Современной молитвѣ» поэтъ говоритъ:

> Гнѣздо нечестья было свито
> Отъ давнихъ лѣтъ въ родномъ краю.

Средь обновившагося быта —
Ты видишь, Господи, открыто
Несемъ мы исповѣдь свою.
  Публично наше покаянье
Въ давно-таившихся грѣхахъ:
Текущихъ дней книгописанье
Есть нашей плоти истязанье —
Верига въ прозѣ и стихахъ.
  Себя мы письменно бичуемъ,
Да болью новою своей
Болѣзни духа уврачуемъ,
И тихо, мирно завоюемъ
Свѣтъ человѣческихъ идей.

Въ стихотвореніи «Что шумишь?» иронически изложены возраженія нѣкоторыхъ практическихъ людей противъ гласности литературныхъ обличеній. Что намъ за дѣло до какихъ-то вашихъ истинъ, говорятъ практическіе люди,

Что намъ въ нихъ, когда и съ ложью,
Благъ земныхъ имѣя часть,
Можно славить правду Божью,
И, чтобъ духомъ не упасть
Да и плоти не ослабить,
Иногда немножко грабить,
Иногда немножко красть?
Не смущая нашу совѣсть,
Не ворочая души,
Дай намъ пѣсню, сказку, повѣсть,
Позабавь насъ, посмѣши, —
Такъ, чтобъ было все пустенько,
Непридирчиво, легко,
И попрыгало маленько
Въ смѣхѣ круглое брюшко
Посреди отдохновенья
Въ важный часъ пищеваренья!
Не ломись въ число судей,
Не вноси къ намъ ни уроковъ,
Ни обидныхъ намъ намековъ,
Ни мучительныхъ идей.

И не будь бичомъ пороковъ,
Чтобъ не быть бичомъ людей!
Если жъ дико и сурово
Заревешь ты свысока, —
Эко диво! Намъ не ново:
Мы какъ разъ уймемъ дружка...

Въ стихотвореніи «На Новый 1857 годъ» Бенедиктовъ тоже представляетъ подобныхъ господъ, и на ихъ возгласы, что «тѣхъ, что мысль колышутъ, надо бы связать», отвѣчаетъ:

Но друзья ль тутъ Руси
Съ гласностью въ борьбѣ?
Нѣтъ, — вѣдь это гуси
На умѣ себѣ!
Въ маскѣ патріотовъ
Мраколюбцы тутъ
Изъ своихъ разсчетовъ
Голосъ подаютъ... И пр.

Повторяемъ: тутъ поэзіи нѣтъ и слѣда (что, впрочемъ, читатель и самъ видитъ); но мысли — превосходны. Кто бы и какъ бы ихъ ни высказалъ въ Россіи въ настоящее время, — всякій заслуживаетъ привѣта и благодарности. И шлются эти благодарные привѣты г. Бенедиктову со всѣхъ сторонъ; и мы сами готовы отъ всей души уважить въ поэтѣ благородство его чувствованій, возвышенность стремленій (совершенно не кстати вспомнились тутъ намъ нескромные стулья; но вы, читатели, постарайтесь забыть о нихъ). Только все же общественныя заслуги г. Бенедиктова не ослѣпятъ насъ насчетъ степени его поэтическаго таланта. Мы знаемъ, что если бъ его дарованіе имѣло хоть сколько-нибудь внутренней силы, а не было чисто внѣшнимъ, то онъ бы выступилъ на то поприще, но

которомъ теперь подвизается съ такимъ успѣхомъ, гораздо раньше, — по крайней мѣрѣ немедленно послѣ того, какъ провозгласилъ, что онъ въ мірѣ боецъ. Что дарованіе г. Бенедиктова внутренней силы не имѣетъ, это видно даже изъ современныхъ его стихотвореній. Онъ въ своихъ стихотвореніяхъ не только не ставитъ новыхъ вопросовъ, не изыскиваетъ новыхъ предметовъ, но даже и въ предметахъ давно уже вызванныхъ на Божій свѣтъ, не отыскиваетъ новыхъ сторонъ, не составляетъ новыхъ комбинацій. Характеръ его новѣйшей литературной дѣятельности можно объяснить въ немногихъ словахъ: то зло, которое повержено или по крайней мѣрѣ заклеймено общественнымъ мнѣніемъ, — онъ караетъ; то добро, которое сдѣлано, прославляетъ; предъ зломъ еще не тронутымъ обнаруживаетъ полное безсиліе, о добрѣ еще не сдѣланномъ или вовсе не заводитъ рѣчи, ни говоритъ общія фразы, давно сдѣлавшіяся ходячими въ обществѣ. Правда, что это не есть недостатокъ, свойственный одному только г. Бенедиктову: такова почти вся наша литература послѣдняго времени. Характеръ ея очень напоминаетъ намъ школьный анекдотъ, читанный нами когда-то въ одной дѣтской книжкѣ. «Въ одной школѣ, между многими благонравными мальчиками, были два негодяя. Они были старше другихъ и потому и справляли въ классѣ какую-то должность. Пользуясь этимъ, они всячески притѣсняли маленькихъ мальчиковъ, — били ихъ, отнимали у нихъ разныя вещи, несправедливо жаловались на нихъ учителю. Добрые мальчики очень страдали и много плакали, но все терпѣли. Наконецъ учитель самъ замѣтилъ въ чемъ-то старшихъ негодяевъ, пребольно высѣкъ ихъ и лишилъ должности въ классѣ.

Тогда добрые мальчики очень обрадовались и желая исправить негодяевъ, начали упрекать ихъ въ прежнихъ поступкахъ, говоря: что взяли, гордецы, воры, забіяки, ябедники, мошенники, — что взяли? Скверно вы дѣлали? Признайтесь, вѣдь скверно? Хорошо, что добрый нашъ учитель наказалъ васъ, право, хорошо; давно пора бы . . . Негодные мальчики, слушая эти упреки, не знали что отвѣчать, и имъ было очень стыдно.»

Возвращаясь отъ дѣтской сказочки къ г. Бенедиктову, мы должны замѣтить у него одну мысль, которая не имъ, конечно, выдумана, но имъ развивается съ особенной любовью въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ. Это — мысль о благѣ мира и о противоестественности войны. Въ представленіи этой мысли г. Бенедиктовъ возвышается даже до поэтическихъ образовъ, которые вообще ему такъ рѣдко удаются. Стихотворенія «Война и миръ», «И туда», «Ваня и няня», по нашему мнѣнію — рѣшительно лучшія изъ современныхъ стихотвореній г. Бенедиктова. Между прочимъ эти самыя произведенія могутъ служить яснымъ доказательствомъ того, до какой степени сильно бываетъ подчиненіе рутинѣ у второстепенныхъ литературныхъ дарованій. Личное отвращеніе отъ дикихъ ужасовъ войны выразилъ г. Бенедиктовъ въ давнишнемъ, чуть ли не одномъ изъ первыхъ своихъ стихотвореній—«Золотой вѣкъ». Тамъ говоритъ онъ, между прочимъ, довольно недурными стихами:

Вы были ль когда-то златые года,
Какъ праздно лежало въ недвижномъ покоѣ,
Въ родномъ подземельѣ, желѣзо тупое,
И имъ не играла пустая вражда;
И хищная сила по лику земному

Границъ не чертила кровавой чертой,
Но тихо катилось отъ рода къ другому
Святое наслѣдье любви родовой

Но въ то время, какъ это было писано, у насъ сильно было бранное направленіе поэзіи. Привычка восхищаться пространствомъ Россіи и силой несмѣтныхъ ея штыковъ со временъ Ломоносова или даже Симеона Полоцкаго господствовала въ нашей литературѣ. Около 1830 г. Пушкинъ подновилъ воинственность нашей поэзіи нѣсколькими бранными стихотвореніями (лишенными, впрочемъ, поэтическаго достоинства), и могъ ли г. Бенедиктовъ противиться общему направленію? Онъ, и въ самомъ дѣлѣ, не только не противился, а даже ревностно послѣдовалъ ему, оставивъ свою мысль о безчеловѣчности войны, — до болѣе удобнаго времени. Онъ воспѣлъ громозвучными стихами «Ватерлоо», съ большимъ одушевленіемъ описывалъ сраженія въ разныхъ мелкихъ стихотвореніяхъ, говорилъ, что во время пира онъ «ждалъ втайнѣ праздника мечей», и что

Юной жизни пламя
Сладко несть отчизнѣ въ дань.
Ей да служитъ въ охраненье
Этотъ мечъ-головосѣкъ!

Въ томъ же самомъ стихотвореніи, желая прославить Русь, онъ не находитъ ей другихъ похвалъ кромѣ обширности и крѣпости бранной —

Широка она, родная,
Ростомъ міру по плечо,
Вся одежда ледяная,
Только сердце горячо.
Чуть зазнала пиръ кровавый,
И разсыпались враги,
Высоко шумитъ двуглавый,

Землю топчутъ русской славы
Семимильные шаги!..

Совершенно противно своему убѣжденію поэтъ восхищается здѣсь ложнымъ блескомъ, потому, что имъ тогда восхищались. Онъ не въ силахъ былъ сказать что-нибудь свое, не въ силахъ былъ развить той мысли, которую мимоходомъ выразилъ, въ родѣ мечты, въ одномъ изъ своихъ же стихотвореній. Мало того, онъ отрекся отъ своей мысли, принявшись воспѣвать предметъ, который, по его собственному признанію, былъ ему ненавистенъ. Зато, посмотрите, какъ смѣло и рѣшительно говоритъ онъ объ этомъ теперь, когда гуманныя идеи созрѣли, когда война всѣми признается тяжкимъ зломъ которое становится все менѣе и менѣе неизбѣжнымъ въ человѣчествѣ. Теперь г. Бенедиктовъ не увлекается уже бранной славой русскаго народа, а прямо и рѣшительно говоритъ, что

Онъ упивался ложнымъ блескомъ,
Величья въ прахѣ онъ искалъ,
И въ вихрѣ браней, съ шумомъ, съ трескомъ,
Непобѣдимый — общимъ плескомъ
Себѣ онъ самъ рукоплескалъ.

Даже о своей собственной дѣятельности и о трудахъ подобныхъ ему воспѣвателей брани г. Бенедиктовъ отзывается теперь съ похвальнымъ негодованіемъ. Во время войны, говоритъ онъ,

Злобствуетъ даже поэтъ, сынъ слезы и молитвы:
Музу свою окуривъ испареньями битвы,
Опіумъ ей онъ подноситъ, не нектаръ; святыню
Хлещетъ бичомъ; стервенитъ своихъ пѣсенъ богиню:
Судорогъ полныя, бьютъ по струнамъ его руки,
Лира его издаетъ барабанные звуки.
„Бейтесь", кричатъ сорванцы, притаясь подъ заборомъ,
И поражаютъ любителей мира укоромъ.

Вообще, о войнѣ г. Бенедиктовъ говоритъ теперь съ явнымъ пренебреженіемъ. Еще во время войны извѣстно было его стихотвореніе «Молитва», въ которомъ онъ съ благороднымъ отвращеніемъ говорилъ о тѣхъ, которые смѣютъ молить у Бога успѣха въ убійствахъ, и заключалъ, что единственно приличная христіанину молитва во время войны есть молитва о мирѣ. Почти тѣ же мысли повторяются имъ и въ стихотвореніи «Война и миръ». Тутъ, говоритъ онъ,

Брошены въ прахъ всѣ идеи, въ почетѣ гремучки;
Проповѣдь мудрыхъ молчитъ, проповѣдуютъ пушки,
И опьянѣлые въ оргіи дикой народы
Цѣпи куютъ себѣ сами во имя свободы;
Чувствуя въ злобѣ своей сатану душегубца,
Распри заводятъ во имя Христа-миролюбца!..

Все стихотвореніе заключается грустнымъ восклицаніемъ: «жаль мнѣ, тебя, человѣчество, бѣдное стадо!».

Въ приведенныхъ нами стихахъ опять-таки нѣтъ поэзіи; главное ихъ достоинство — смѣлость и твердость мысли. На ту же тему написаны г. Бенедиктовымъ еще два стихотворенія, въ которыхъ мы не можемъ не признать нѣсколькихъ искръ поэзіи. Одно изъ нихъ, «И туда», испорчено вычурностью представленія предмета и желаніемъ во что бы то ни стало произвести эффектъ. Дѣло въ томъ, что англійскіе корабли подплыли къ берегамъ Камчатки и начали ихъ обстрѣливать. Камчадалы съ изумленіемъ встрѣчаютъ незваныхъ гостей и не знаютъ, что бы могло значить ихъ враждебное посѣщеніе. Съ виду пришельцы, кажется, похожи на людей, но поступки ихъ вовсе не человѣческіе. Странно, «а вѣдь все же это люди», говорятъ кам-

чадалы. Вдругъ самимъ камчадаламъ дается приказаніе защищаться:

„Камчадалъ! Пускай въ нихъ стрѣлы!
Ну, прицѣливайся! Бей!
Не зѣвай! Въ твои предѣлы,
Видишь, вторгнулся злодѣй“.
И дикарь въ недоумѣньѣ
Слышитъ странное велѣнье:
„Какъ? Стрѣлять? Въ кого? Въ людей?“
И, ушамъ своимъ не вѣря,
„Нѣтъ“, сказалъ, „стрѣлу мою
Я пускаю только въ звѣря;
Человѣка я не бью!“

Содержаніе нѣсколько аффектировано, особенно если мы вспомнимъ, что камчадалы хоть и не любятъ сражаться по своей трусости, но убійство человѣка не считаютъ неслыханнымъ дѣломъ, по крайней мѣрѣ съ того времени, какъ они дрались съ русскими въ началѣ прошедшаго столѣтія. Поэтому поэтическій образъ, выбранный г. Бенедиктовымъ, не совсѣмъ удаченъ. Но уже одно то, что для выраженія своей мысли поэтъ обратился къ образу, а не къ голословнымъ фразамъ, — одно это уже заслуживаетъ большую похвалу въ такомъ поэтѣ, какъ г. Бенедиктовъ.

Другое стихотвореніе, «Ваня и няня», проще и лучше. Мальчикъ спрашиваетъ няню про войну. Та ему начинаетъ разсказывать. «Такъ они дерутся?» прерываетъ мальчикъ. — «Да», говоритъ няня. — «Да вѣдь драться стыдно», снова возражаетъ Ваня:

„Мнѣ сказалъ папаша самъ:
Заниматься этимъ
Только пьянымъ мужикамъ,
А не умнымъ дѣтямъ“.

«Разъ мы съ Мишей поссорились за игрушки, такъ папаша высѣкъ насъ обоихъ».

„„Стыдно драться, говоритъ,
Ссорятся лишь злые“.
Ишь, и маленькимъ-то стыдъ!
А вѣдь тамъ большіе.
Самъ я видѣлъ сколько разъ:
Мимо шли солдаты.
У! большущіе! Я глазъ
Не спускалъ: все хваты!
Шапки мѣдныя, съ хвостомъ!
Ружей много, много!
Барабаны тромъ-томъ-томъ,
Вся гремитъ дорога.
Тромъ-томъ-томъ! „И весь горитъ
Отъ восторга Ваня
Но, подумавъ, говоритъ:
„А вѣдь вѣрно, няня,
На войну шло столько ихъ,
Гдѣ палятъ изъ пушки:
Вѣрно вышла и у нихъ
Ссора за игрушки“.

Если судить слишкомъ строго, то, конечно, и это стихотвореніе можно уподобить «разговору въ царствѣ мертвыхъ». Но г. Бенедиктову и такіе разговоры рѣдко удаются. Его «Посѣщеніе» тоже «разговоръ въ царствѣ мертвыхъ», но тотъ разговоръ крайне вялъ и утомителенъ, а здѣсь въ представленіи чувствъ и мыслей мальчика есть даже какъ будто немножко поэтическаго воодушевленія. Поэтому стихотвореніе «Ваня и няня» мы причисляемъ къ наиболѣе удачнымъ стихотвореніямъ г. Бенедиктова не только по мысли, но даже и по исполненію.

Недурныя мѣста попадаются у г. Бенедиктова во многихъ стихотвореніяхъ, но цѣлаго стихо-

творенія, вполнѣ выдержаннаго, мы не можемъ указать ни одного. То какой-нибудь нелѣпый тропъ испортитъ картину, то странное изображеніе ослабитъ мысль, то сравненіе какое-нибудь затемнитъ дѣло, то безчеловѣчныя фразы нарушаютъ впечатлѣніе. И это прилагается не только къ созданіямъ собственной музы г. Бенедиктова, но даже къ его переводамъ, которыхъ помѣщено въ новой книжкѣ его до двѣнадцати. Все это вообще приводитъ насъ къ тому, чтобы повторить наше заключеніе, которымъ мы начали рецензію стихотвореній г. Бенедиктова. Онъ остался тѣмъ же, что и былъ, не измѣнивши себѣ ни въ формѣ, ни въ содержаніи своей поэзіи. Эффектъ и вычурность попрежнему остались ея элементами, только канва перемѣнилась сообразно съ обстоятельствами времени. Въ зародышѣ, въ предчувствіи г. Бенедиктова давно являлись тѣ прекрасныя мысли (да и у кого же изъ мыслящихъ людей онѣ не являлись?), которыя онъ излагаетъ нынѣ; но какъ дарованіе очень слабое, второстепенное, г. Бенедиктовъ не рѣшался высказывать своихъ мыслей, пока справедливость ихъ не была наконецъ признана лучшею частью общества. И общество встрѣтило рукоплесканіями его въ томъ, въ чемъ оно само давно уже убѣждено было. (Тѣ, которые не были убѣждены, не убѣдились и стихами г. Бенедиктова и не рукоплескали ему.) Въ этомъ фактѣ мы видимъ, между прочимъ, доказательство того, что публика наша все еще не совсѣмъ твердо стоитъ на почвѣ современныхъ идей: ей нужна еще поддержка, нуженъ лишній голосъ для ея ободренія; открытыхъ приверженцевъ и постоянныхъ дѣятелей новаго направленія еще мало. Но все же ихъ ужъ несравненно

больше, чѣмъ сколько было два-три года тому назадъ. Можно надѣяться, что если все пойдетъ такъ, какъ идетъ теперь, то чрезъ нѣсколько лѣтъ новыя идеи перейдутъ изъ области общихъ фразъ къ настоящимъ, живымъ примѣненіямъ, и проповѣдывать, что свѣтъ лучше тьмы, и что надо открыто идти противъ зла, будетъ столько же безполезно и странно, какъ странно теперь серьезно доказывать, что, напримѣръ, убить человѣка дурно, или что напиться пьянымъ непохвально. Тогда-то можно ожидать и истинно-поэтическихъ произведеній въ нынѣшнемъ общественномъ направленіи. А пока оно входитъ въ поэзію только какъ общая фраза, какъ отвлеченная теорія, до тѣхъ поръ, разумѣется, публика можетъ довольствоваться и стихами г. Бенедиктова, у котораго все-таки, надобно отдать ему справедливость, есть много мыслей, изложенныхъ очень звучно и весьма поучительныхъ.

О степени участія народности въ развитіи русской литературы.

(Очеркъ исторіи русской поэзіи, *А. Милюкова.* Второе дополненное изданіе. Спб. 1858 г.)

Книжка г. Милюкова — наша старая знакомая. Первое изданіе ея было въ 1847 г., и тогда же она была оцѣнена по достоинству въ нашихъ журналахъ. Новое изданіе этой книги пріятно напомнило намъ время перваго ея появленія и заставило подумать о томъ, что произошло въ нашей литературѣ въ последнее десятилѣтіе. Повидимому, ничего не произошло особеннаго: въ 1847 г. высказывались идеи и стремленія, совершенно близкія къ тѣмъ, какія высказываются въ 1858 г. Книжка г. Милюкова можетъ служить лучшимъ тому доказательствомъ. Слѣдуя мнѣніямъ Бѣлинскаго о русскихъ литературныхъ явленіяхъ, г. Милюковъ составилъ тогда очеркъ развитія русской поэзіи, — и этотъ очеркъ до сихъ поръ не теряетъ своей правды и значенія. Тогда находилъ онъ хорошими только тѣ явленія русской поэзіи, въ которыхъ выражалось сатирическое направленіе; и теперь не нашелъ онъ ничего, что можно было бы похвалить у насъ внѣ сатирическаго направленія. Тогда заключилъ онъ свой очеркъ словами Лермонтова: «Россія вся въ

будущемъ» — и теперь заключаетъ его тѣми же словами... Ожидаемое будущее еще не настало для русской литературы; продолжается все то же настоящее, какое было десять лѣтъ тому назадъ... Мы еще въ томъ же гоголевскомъ періодѣ, и напрасно ждемъ такъ давно новаго слова: для него еще, вѣрно, не выработалось содержаніе жизни.

Но если незамѣтно ничего особеннаго во внутреннемъ содержаніи и характерѣ литературы, зато нельзя не видѣть, что внѣшнимъ образомъ она развилась довольно значительно. Вспомнимъ, какіе люди дѣйствовали у насъ на литературномъ поприщѣ въ сороковыхъ годахъ и до 1847 г. включительно. Хотя въ этомъ году Гоголь уже издалъ «Переписку», но все же онъ былъ живъ, и надежды на него не покидали его почитателей. За Гоголемъ возвышался геніальный критикъ его, энергически, громко и откровенно объяснившій Россіи великое значеніе ея національнаго писателя. За Бѣлинскимъ высились еще два-три человѣка, возбуждавшіе вниманіе публики къ вопросамъ философскимъ и общественнымъ. Подъ ихъ знаменемъ ратовала тогда литература противъ неправды и застоя; отъ нихъ заимствовала она свою энергію и жизнь.

Теперь тоже литература призываетъ общество къ правдѣ и дѣятельности, тоже возстаетъ противъ злоупотребленій, — но кто несетъ наше знамя? Вокругъ кого собрались литературные дѣятели? Изъ тѣхъ, кто одушевлялъ литературу въ сороковыхъ годахъ,

Иныхъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече.

Изъ новыхъ же дѣятелей нѣтъ никого, кто бы по своему таланту и вліянію равнялся Гоголю или Бѣ-

линскому. Теперь нѣтъ литературныхъ вождей, подобныхъ прежнимъ; они исчезли одинъ за другимъ, русская литература утратила ихъ въ самый годъ смерти Бѣлинскаго или недолго спустя. Нѣкоторые изъ нихъ продолжали дѣйствовать и послѣ, даже еще въ большихъ размѣрахъ, чѣмъ прежде; но для большинства русской публики труды ихъ оставались неизвѣстными въ эти года. Такъ, Гоголь до конца жизни не переставалъ работать надъ своимъ созданіемъ; но только немногіе, близкіе къ нему, люди знали, какое произведеніе готовитъ онъ. До прочихъ едва доходили темные, неопредѣленные слухи о продолженіи «Мертвыхъ душъ». Такъ было и съ нѣкоторыми изъ другихъ литературныхъ дѣятелей. Такъ и до сихъ поръ, послѣ смерти Гоголя и прекращенія дѣятельности Бѣлинскаго и нѣкоторыхъ его сподвижниковъ, продолжается у насъ отсутствіе громкаго имени, отъ котораго приходила бы въ движеніе литература, которымъ бы направлялась извѣстнымъ образомъ ея дѣятельность.

А между тѣмъ кто не видитъ, что литература, при всѣхъ своихъ утратахъ и неудачахъ, осталась вѣрною своимъ благороднымъ преданіямъ, не измѣнила чистому знамени правды и гуманности, за которымъ она шла въ то время, когда она была въ сильныхъ рукахъ могучихъ вождей ея. Теперь никого нѣтъ во главѣ дѣла, но всѣ дружно и ровно идутъ къ одной цѣли, каждый писатель проникнутъ тѣми идеями, за которыя лѣтъ десять тому назадъ ратовали немногіе, лучшіе люди; каждый, по мѣрѣ силъ, преслѣдуетъ то зло, противъ котораго прежде возвышалось два-три энергическихъ голоса. То, что было тогда достояніемъ немногихъ, передовыхъ людей, перешло теперь во всю массу людей образо-

ванныхъ и пишущихъ. Кто не умѣлъ или не хотѣлъ усвоить себѣ этихъ живыхъ уроковъ недавняго прошедшаго, тотъ уже считается отсталымъ, отчужденнымъ отъ общаго дѣла, мертвецомъ между живыми, и его хоронятъ за-живо, несмотря ни на ученость, ни на талантъ. Да что же иначе и дѣлать съ человѣкомъ, который самъ зарываетъ талантъ свой въ землю и мертвой буквой убиваетъ жизнь духа? Богъ съ ними; пусть сочиняютъ себѣ надгробныя надписи, долженствующія нѣкогда напомнить объ ихъ безсмертіи. Живой о живомъ думаетъ, и нынѣшняя литература стремится извѣдать жизнь и на практикѣ приложить и повѣрить истины, привитыя общему сознанію достопамятными дѣятелями прежнихъ лѣтъ. Все проникнуто этимъ духомъ, и — повторимъ еще разъ — хотя во внутреннемъ содержаніи литература не подвинулась впередъ, кругъ идей ея не расширился, но кругъ приверженцевъ этихъ идей значительно увеличился, усвоеніе ихъ стало тверже и полнѣе. Въ этомъ видимъ мы внѣшнее развитіе литературы, составляющее прогрессъ ея въ послѣднія десять лѣтъ, и несомнѣнную, дѣйствительную ея заслугу. Она собственною силою сохранила еще свое достоинство отъ мелкихъ продѣлокъ и жалкихъ поползновеній, унижавшихъ въ другія времена званіе писателя. Она собственною силою завоевала себѣ этотъ кружокъ людей, со всею энергіей правды и молодости отдавшихъ себя на служеніе правому дѣлу, при первой возможности честно и правдиво послужить ему. Въ этомъ уже не малая заслуга, и она можетъ сдѣлаться громадною, если распространеніе идей добра и правды будетъ продолжаться такимъ же образомъ и если интересы, возбужденные литературою, проникнутъ

наконецъ въ массы народа. Тогда-то нельзя будетъ не признать великаго значенія литературы.

Но это все будущее и, безъ сомнѣнія, довольно отдаленное. Книга же г. Милюкова даетъ намъ поводъ прослѣдить значеніе русской литературы въ прошедшемъ. Кстати здѣсь же мы можемъ объясниться съ нѣкоторыми книжниками, которые взводятъ на «Современникъ» обвиненіе, будто онъ совершенно отвергаетъ всякое значеніе литературы для общества.

Книжные приверженцы литературы очень горячатся за нее, считая прекрасныя литературныя произведенія началомъ всякаго добра. Они готовы думать, что литература заправляетъ исторіей, что она измѣняетъ государства, волнуетъ или укрощаетъ народъ, передѣлываетъ даже нравы и характеръ народный; особенно поэзія, — о, поэзія, по ихъ мнѣнію, вноситъ въ жизнь новые элементы, творитъ все изъ ничего. Въ подтвержденіе своихъ взглядовъ они указываютъ на великія поэмы первыхъ вѣковъ человѣчества, на поэзію индійскую, еврейскую, греческую и на продолженіе ихъ въ твореніяхъ величайшихъ геніевъ новыхъ временъ. «Сколько великихъ тайнъ,—говорятъ они,—повѣдано міру въ великолѣпныхъ созданіяхъ фантазіи юнаго человѣчества! Безъ индійской и персидской поэзіи не было бы въ человѣчествѣ сознанія о бореніи двухъ началъ, добра и зла, во всемъ мірѣ, безъ Гомера не было бы Троянской войны, безъ Виргилія Эней не странствовалъ бы въ Италію, безъ Мильтона не было бы «Потеряннаго рая», безъ Данте — живыхъ представленій ада, чистилища и рая». Не было бы, — это въ высшей степени справедливо; всѣ эти прекрасныя созданія принадлежатъ творческой фанта-

зіи младенчествующаго народа или увлеченнаго вдохновеніемъ поэта. Но знаете ли что? — созданія фантазіи такъ вѣдь и остаются въ области фантастическихъ призраковъ и не переходятъ въ дѣйствительность. Несмотря на все величіе гомерическихъ рапсодій, героическій вѣкъ съ своими богами и богинями не явился въ Греціи во времена Перикла, равно какъ и въ Италіи Виргилій, при всемъ своемъ краснорѣчіи, не могъ уже возвратить римлянъ имперіи къ простой, но доблестной жизни ихъ предковъ и не могъ превратить Тиберія въ Энея. Мало того — явленія, изображенныя во всѣхъ названныхъ нами поэмахъ, и сами по себѣ-то не имѣютъ дѣйствительности и съ каждымъ годомъ все далѣе отодвигаются въ туманный міръ призраковъ... Увы!

. . . . Мечты поэта!
Историкъ строгій гонитъ васъ!

Юнона не обольщала Зевса, Афродита не спасала Париса на полѣ битвы, Аѳина не обманывала Гектора, Эней не видался съ Дидоной, Шива не боролся ст Брамой, и т. д. Если во всѣхъ этихъ преданіяхъ и есть что-нибудь достойное нашего вниманія, то именно тѣ части ихъ, въ которыхъ отразилась живая дѣйствительность. Самыя заблужденія, какія мы въ нихъ находимъ, интересны для насъ потому, что нѣкогда они не были заблужденіями, нѣкогда цѣлые народы вѣрили имъ и по нимъ располагали жизнь свою. Оттого-то и нравится намъ доселѣ поэзія древняго міра и нѣкоторыя фантастическія произведенія поэтовъ новаго времени, тогда какъ ничего, кромѣ отвращенія, не возбуждаютъ въ насъ нелѣпыя сказки, сочиняемыя разными молодцами на потѣху взрослыхъ дѣтей и выдаваемыя нерѣдко за

романы, были, драмы и пр. Тамъ видна жизнь своего времени и рисуется міръ души человѣческой, съ тѣми особенностями, какія производитъ въ немъ жизнь народа въ извѣстную эпоху; а здѣсь — ничего нѣтъ, кромѣ праздныхъ выдумокъ, стоящихъ въ разладѣ съ жизнью и происходящихъ отъ фантастическаго, произвольнаго смѣшенія понятій и вѣрованій разныхъ временъ и народовъ. Такъ, въ музыкѣ нравятся намъ нерѣдко дикіе аккорды, уклоняющіеся отъ правилъ музыкальной гармоніи, но удачно выражающіе какой-нибудь дѣйствительно существующій диссонансъ въ природѣ; между тѣмъ намъ деретъ уши, а вовсе не производитъ пріятнаго впечатлѣнія нечаянно сдѣланная ошибка, когда артистъ возьметъ одну ноту вмѣсто другой. Дѣлая это сравненіе, мы хотимъ сказать, что поэзія и вообще искусства, науки слагаются по жизни, а не жизнь зависитъ отъ поэзіи, и что все, что въ поэзіи является лишнимъ противъ жизни, т. е. не вытекающимъ изъ нея прямо и естественно, все это уродливо и безсмысленно. Что отжило свой вѣкъ, то уже не имѣетъ смысла, и напрасно мы будемъ стараться возбудить въ душѣ восхищеніе красотою лица, отъ котораго имѣемъ только голый черепъ. Боги грековъ могли быть прекрасны въ древней Греціи, но они гадки во французскихъ трагедіяхъ и въ нашихъ одахъ прошлаго столѣтія. Рыцарскія воззванія среднихъ вѣковъ могли увлекать сотни тысячъ людей на брань съ невѣрными для освобожденія св. мѣстъ, но тѣ же воззванія, повторенныя въ Европѣ XIX вѣка, не произвели бы ничего, кромѣ смѣха. Пиндаръ воспѣвалъ олимпійскія игры, и вся Греція благоговѣйно внимала ему; въ наше время никто уже серьезно не воспѣваетъ церемоніальныхъ

процессій и торжествъ всякаго рода; а если и находились господа, воспѣвавшіе излеровскіе фейерверки и иллюминаціи на разные случаи, то они всѣмъ показались до того пошлы, что даже не возбудили смѣха. Конечно, не поэзія произвела всѣ эти явленія въ жизни, а жизнь заставила иначе смотрѣть на поэзію. Пора намъ освободить жизнь отъ тяжелой опеки, налагаемой на нее идеологами. Начиная съ Платона, возстаютъ они противъ реализма и, еще не понявши хорошенько, перепутываютъ его ученіе. Непремѣнно хотятъ дуализма, — хотятъ дѣлить міръ на *мыслимое* и *являемое*, увѣряя, что только чистыя идеи имѣютъ настоящую дѣйствительность, а все являемое, т. е. видимое, составляетъ только отраженіе этихъ высшихъ идей. Пора бы ужъ бросить такія платоническія мечтанія и понять, что хлѣбъ не есть пустой значокъ, отраженіе высшей, отвлеченной идеи жизненной силы, а просто хлѣбъ, объектъ, который можно съѣсть. Пора бы отстать и отъ отвлеченныхъ идей, по которымъ будто бы образуется жизнь, точно такъ какъ отстали, наконецъ, отъ теологическихъ мечтаній, бывшихъ въ такой модѣ во времена схоластики. Бывало вѣдь добрые люди пренаивно разсуждали, какъ это удивительно глазъ приноровила природа къ тому, чтобы видѣть; и зрачки, и сѣточки, и оболочка, все, точно нарочно, такъ ужъ и придѣлано, чтобы видѣть; и никакъ вѣдь не хотѣли сообразить добрые люди, что не потому глазъ такъ устроенъ, что намъ такая крайняя есть необходимость видѣть, и видѣть именно вверхъ ногами и въ миніатюрѣ; а просто видимъ мы, и видимъ такъ, а не иначе, именно потому, что глазъ нашъ такъ ужъ устроенъ. Или удивлялись, какъ рѣки текутъ: водѣ,

видите, надо всегда внизъ бѣжать и, — непостижимая предусмотрительность природы! — въ каждомъ мѣстѣ, гдѣ рѣка течетъ, непремѣнно въ руслѣ есть склонъ; ну, вода-то и течетъ себѣ свободно ... Добрые люди и того не хотѣли подумать, что рѣка по склону-то именно и течетъ: не будь его вправо, такъ она пойдетъ влѣво, а не станетъ дожидаться, покуда подъ нею склонъ образуется. Нѣтъ, по мнѣнію добрыхъ людей, если Волга течетъ въ Каспійское море, такъ это потому единственно, что она питаетъ особенное, невещественное, идеальное сочувствіе къ Каспію, и въ силу такой идеи она должна была непремѣнно дойти именно до Каспія, хотя бы цѣлыя Альпы встрѣтились ей на дорогѣ.

Въ естественныхъ наукахъ всѣ подобныя аллегоріи давнымъ давно оставлены; пора бы покончить съ ними и въ области литературы и искусства. Не жизнь идетъ по литературнымъ теоріямъ, а литература измѣняется сообразно съ направленіемъ жизни; по крайней мѣрѣ такъ было до сихъ поръ, не только у насъ, а повсюду. Когда человѣчество, еще не сознавая своихъ внутреннихъ силъ, находилось совершенно подъ вліяніемъ внѣшняго міра и, подъ вліяніемъ неопытнаго воображенія, во всемъ видѣло какія-то таинственныя силы, добрыя и злыя, и олицетворяло ихъ въ чудовищныхъ размѣрахъ, тогда и въ поэзіи являлись тѣ же чудовищныя формы и та же подавленность человѣка страшными силами природы. Когда же человѣкъ немножко попривыкъ къ этимъ силамъ и сознатъ отчасти свое собственное значеніе, тогда и силы природы стали онъ представлять антропоморфически, приближая ихъ къ себѣ. Такимъ образомъ развивалась поэзія

греческая, съ своими божествами. Въ себѣ человѣкъ созналъ прежде всего внѣшнія, физическія качества — и на первой ступени развитія каждаго народа являются героическія сказанія. Сила доставляетъ однимъ преимущества, которыхъ лишаются другіе; въ элементъ поэзіи входитъ воспѣваніе того, какъ одинъ побѣдилъ другого и какія получилъ трофеи. Трофеи доставляютъ побѣдителямъ возможность давить побѣжденныхъ своимъ великолѣпіемъ, а побѣжденныхъ заставляютъ склониться предъ силою побѣдителя и признать надъ собою ея права: въ поэзіи въ это время является восторженная ода, воспѣвающая покорность рабовъ и вассаловъ. Но побѣдители забываются и начинаютъ ужъ слишкомъ тѣснить побѣжденныхъ; является ропотъ, негодованіе, и въ литературѣ оно выражается сатирой, сначала глухой, дѣйствующей намеками — въ баснѣ, потомъ болѣе открытой — въ сатирѣ лирической и драматической. Возбужденное негодованіе пробуждаетъ, разумѣется, въ обѣихъ сторонахъ взаимныя опасенія, желаніе уладить дѣло къ выгодѣ собственной и какъ можно больше вытянуть для себя отъ противной стороны. Это обстоятельство заставляетъ обратить вниманіе на устройство общественной и семейной жизни, на отношенія однихъ членовъ общества къ другимъ, и литература склоняется къ общественнымъ интересамъ. Разнообразіе этихъ интересовъ и успѣхи борьбы изъ-за нихъ опредѣляютъ дальнѣйшее развитіе литературы. Бываетъ время, когда народный духъ ослабѣваетъ, подавляемый силою побѣдившаго класса, естественныя влеченія замираютъ на время, и мѣсто ихъ заступаютъ искусственно возбужденные, насильно навязанные понятія и

взгляды — въ пользу побѣдившихъ; тогда и литература не можетъ выдержать: и она начинаетъ воспѣвать нелѣпыя и беззаконныя затѣи класса побѣдителей, и она восхищается тѣмъ, отъ чего съ презрѣніемъ отвернулись бы въ другое время. Такъ было, напримѣръ, у нѣмцевъ въ началѣ прошлаго столѣтія, когда хотѣли заставить ихъ забыть за разными потѣхами кровавыя передряги предшествовавшаго времени. Подобное тому бывало и у другихъ народовъ. Но какъ скоро общество или народъ очнется и почувствуетъ, хотя смутно, свои естественныя нужды, станетъ искать средствъ для удовлетворенія своимъ потребностямъ, — и литература тотчасъ является служительницею его интересовъ. И голосъ ея обыкновенно бываетъ тѣмъ рѣзче, тѣмъ тверже, чѣмъ болѣе силы пріобрѣтаетъ въ обществѣ дѣло, ею защищаемое. Наоборотъ не бываетъ; а если иногда и кажется, будто жизнь пошла по литературнымъ убѣжденіямъ, то это иллюзія, зависящая отъ того, что въ литературѣ мы часто въ первый разъ замѣчаемъ то движеніе, которое непримѣтно для насъ, давно уже совершалось въ обществѣ. Иначе и не можетъ быть: откуда вдругъ взялись бы, хоть у насъ, напримѣръ, жалобы на злоупотребленія чиновниковъ или толки о желѣзныхъ дорогахъ, если бы въ обществѣ не было давно уже потребности въ правосудіи и въ хорошихъ путяхъ сообщенія? Для того, чтобы извѣстная идея высказалась наконецъ литературнымъ образомъ, нужно ей долго, незамѣтно и тихо, созрѣвать въ умахъ людей, имѣющихъ прямое, непосредственное соотношеніе съ практическою жизнью. На вопросы жизни отвѣчаетъ литература тѣмъ, что находитъ въ жизни же. Поэтому направленіе и содержа-

ніе литературы можетъ служить довольно вѣрнымъ показателемъ того, къ чему стремится общество, какіе вопросы волнуютъ его, чему оно наиболѣе сочувствуетъ. Разумѣется, все это мы говоримъ о тѣхъ случаяхъ, когда голосъ литературы не стѣсняется разными посторонними обстоятельствами. Нельзя, напр., думать, что индійцы спокойно смотрятъ на неистовства англичанъ потому, что въ остъ-индскихъ газетахъ не было нѣкоторое время рѣзкихъ статей противъ англійскихъ злоупотребленій. Мы знаемъ, что причина такого страннаго спокойствія вполнѣ внѣшняя — запрещеніе остъ-индскаго генералъ-губернатора. Точно такъ, зная, что въ Австріи почти не выходитъ порядочныхъ философскихъ книгъ, нельзя полагать, чтобы нѣмцы, живущіе въ Австріи, отъ природы лишены были способности философствовать, которою такъ богаты ихъ единоплеменники, живущіе въ другихъ государствахъ. Не выходитъ же книгъ потому, что католическіе монахи зорко за ними смотрятъ и стараются не допускать ихъ до печати. Но это явленія исключительныя, возможныя только при австрійской подозрительности да при остъ-индскомъ произволѣ; большею же частью общественные, жизненные интересы тотчасъ проявляются въ литературѣ, съ большею или меньшею сознательностью и ясностью.

Сознательности и ясности стремленій въ обществѣ литература много помогаетъ, — въ этомъ мы отдаемъ ей полную справедливость. Чтобы не ходить далеко за примѣрами, укажемъ на то, чѣмъ полна теперь вся Россія, что отодвинуло далеко назадъ всѣ остальные вопросы, — на измѣненіе отношеній между помѣщиками и крестьянами. Не ли-

тература пробудила вопросъ о крѣпостномъ правѣ; она взялась за него, и то осторожно, непрямо, тогда только, когда онъ уже совершенно созрѣлъ въ обществѣ; и только теперь, когда онъ уже прямо поставленъ правительствомъ, литература осмѣливается прямо и серьезно разсматрвать его. Но какъ ничтожно было участіе литературы въ возбужденіи вопроса, столь же велико можетъ быть ея значеніе въ строгомъ и правильномъ его обсужденіи. Намъ уже много разъ приходилось слышать отъ многихъ просвѣщенныхъ помѣщиковъ, что теперь необходимо, чтобы люди науки и мысли, равно какъ и люди жизненнаго опыта, одинаково приняли на себя трудъ высказать печатно свои замѣчанія о томъ, какъ, по ихъ мнѣнію, лучше устроить это дѣло, столь важное и благодѣтельное. Въ этомъ случаѣ — литература незамѣнима. По нашему мнѣнію, она можетъ принести здѣсь гораздо болѣе пользы, чѣмъ даже открытыя, публичныя совѣщанія. Совѣщанія эти во всякомъ случаѣ должны имѣть болѣе или менѣе частный характеръ, и кромѣ того, въ нихъ слишкомъ много страстности, импровизація не рѣдко замѣняетъ строго-послѣдовательное разсужденіе и рѣшеніе. Литературныя разсужденія имѣютъ характеръ всеобщности: ихъ можетъ читать вся Россія. Кромѣ того, въ литературномъ изложеніи пылъ перваго увлеченія непремѣнно сглаживается, и мѣсто его необходимо заступаетъ спокойная обдуманность, хладнокровное соображеніе мнѣній разныхъ сторонъ и выводъ строго логическій, свободный отъ впечатлѣній минуты. Здѣсь роль литературы чрезвычайно важна, и великость ея значенія ослабляется въ этомъ случаѣ только малостью круга, въ которомъ она дѣйствуетъ. Это

послѣднее — такое обстоятельство, о которомъ невозможно безъ сокрушенія вспомнить и которое обдаетъ насъ холодомъ всякій разъ, какъ мы увлечемся мечтаніями о великомъ значеніи литературы и о благотворномъ вліяніи ея на человѣчество.

Въ самомъ дѣлѣ, мы впадаемъ въ страшное самообольщеніе, когда считаемъ свои писанія столь важными для народной жизни; мы строимъ воздушные замки, когда полагаемъ, что отъ нашихъ словъ можетъ перемѣниться ходъ историческихъ событій, хотя бы и самыхъ мелкихъ. Конечно, пріятно и легко — строить воздушные міры,

И увѣрять, и спорить,
Какъ въ нихъ-то важны мы!

Но сдѣлайте маленькій, безпристрастный разсчетъ, и вы увидите, какъ велико ваше самообольщеніе. У лучшихъ нашихъ журналовъ, въ которыхъ сосредоточивается вся литературная дѣятельность, насчитывается до 20,000 подписчиковъ; столько же будетъ и у газетъ (хотя подписчики на журналы обыкновенно подписываются и на газеты). Если на каждый экземпляръ положить 10 читателей, то окажется 400,000. Можно порадоваться такой цифрѣ, забывъ на минуту, что она преувеличена. Но скажите, что же значатъ эти сотни тысячъ предъ десятками милліоновъ, населяющихъ Россію? Какъ же живутъ эти остальные 64.600,000, не читающіе нашихъ газетъ и журналовъ? Участвуютъ ли они въ тѣхъ разсужденіяхъ о возвышенныхъ предметахъ, какіе мы съ такою гордостью стараемся повѣдать міру? Интересуютъ ли ихъ наши художественныя созданія, которыми мы восхищаемся? На-

ходятъ ли они отраду въ тѣхъ живыхъ мысляхъ, какія мы высказываемъ въ нашихъ литературныхъ обличеніяхъ, общественныхъ вопросахъ, поднятыхъ во имя цѣлаго человѣчества? Знаетъ ли это человѣчество, что мы о немъ хлопочемъ, что мы лѣземъ изъ кожи, готовы подраться между собой, споря о его благосостояніи?.. Знаютъ ли крестьяне села Безводнаго или Многоводнаго, Затишья или Залѣсья, что ихъ исправники, становые и управители давно уже преданы суду общественнаго мнѣнія, — въ литературныхъ очеркахъ, картинахъ, воспоминаніяхъ и т. п.? Знаютъ ли они все это и чувствуютъ ли облегченіе своей участи, подъ благотворнымъ вліяніемъ литературы? Да и сами-то исправники, становые и управители, знаютъ ли о литературномъ судилищѣ? Многіе слыхали, вѣроятно, а иные, можетъ быть, и сами читали; но большая-то часть, вѣроятно, не читала. Да и когда имъ читать? Имъ надобно службой заниматься; бросить служебныхъ занятій нельзя, потому, что они выгоду доставляютъ; — а читаньемъ, вѣдь, сытъ не будешь. Если же и случится прочитать кое-что, такъ каждый пойметъ по-своему и приметъ къ свѣдѣнію то, что наиболѣе приближается къ его понятіямъ. Можно предполагать, что число негодяевъ и мошенниковъ, исправленныхъ литературою, крайне ограничено. Кажется, мы не ошибемся, если на сто тысячъ общаго числа читателей положимъ одного исправленнаго негодяя (да и то мы боимся, чтобы читатели не осердились на насъ за то, что мы предполагаемъ въ ихъ числѣ такихъ нехорошихъ людей; но просимъ извиненія, оправдываясь пословицею: въ семьѣ не безъ урода). Слѣдовательно, всѣ эти столь многія сотни литераторовъ, проникну-

тыхъ горячею любовью къ добру, и еще болѣе горячею ненавистью къ пороку, всѣ эти доблестныя фаланги мирныхъ рыцарей слова, должны ограничить кругъ своихъ подвиговъ только *четырьмя* обращеніями (да и то сомнительными,—замѣтитъ читатель). Ту же самую ограниченность круга дѣйствій нужно замѣтить и въ тѣхъ отдѣлахъ литературы, которые имѣютъ предметомъ распространеніе знаній. Напр., сколько было у насъ толковъ о воспитаніи и обученіи. Толковали преимущественно о школьномъ воспитаніи. А сколько народу у насъ учится въ школахъ? Всего на всего, во всѣхъ вѣдомствахъ и на всѣхъ степеняхъ обученія, съ небольшимъ 350,000 мальчиковъ да дѣвочекъ до 40,000. Изъ всего числа ихъ статьи о воспитаніи были прочитаны, разумѣется, только нѣсколькими студентами. Да онѣ, правда, не для воспитанниковъ и назначались, а для учителей. Учителей у насъ тысячъ 15 (на всю-то Россію!), и можно полагать, что десятая часть изъ нихъ прочитала то, что было писано о недостаткахъ современнаго воспитанія и обученія. Изъ этой десятой части половина навѣрное знала еще гораздо раньше то, на что наконецъ указываетъ литература; а изъ остальныхъ одни прочитали и не согласились, а другіе согласились, да поняли по-своему, и хорошо, если хоть десятая доля поняла все какъ слѣдуетъ. Изъ понявшихъ же, вѣроятно, не болѣе опять какъ десятая приняла на себя трудъ приложить писанныя мудрости къ дѣлу, да изъ нихъ дай Богъ чтобы хоть десятая часть имѣла успѣхъ. Такимъ образомъ окажется только полтора человѣка, въ практической дѣятельности которыхъ проявится благодѣтельное вліяніе литературы. Результаты не до такой степени блистательные, чтобы за нихъ сочи-

нять себѣ тріумфы, сплетать вѣнки и воздвигать памятники! — Напрасно также у насъ и громкое названіе *народныхъ* писателей: народу, къ сожалѣнію, вовсе нѣтъ дѣла до художественности Пушкина, до плѣнительной сладости стиховъ Жуковскаго, до высокихъ пареній Державина и т. д. Скажемъ больше: даже юморъ Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа. Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже онъ и грамотѣ выучится; онъ долженъ заботиться о томъ, какъ бы дать средства полмилліону читающаго люда прокормить себя и еще тысячу людей, которые пишутъ для удовольствія читающихъ. Забота не малая! Она-то и служитъ причиною того, что литература доселѣ имѣетъ такой ограниченный кругъ дѣйствія. Не навязывай мы народу заботы о нашемъ прокормленіи и о всякомъ нашемъ удовольствіи, такъ, конечно, мы же были бы въ выигрышѣ; наши просвѣщенныя идеи быстро распространились бы въ массахъ, и мы стали бы имѣть больше значенія, наши труды стали бы цѣнить выше. Но, къ сожалѣнію, литература, т. е. ея восхвалители и многіе дѣятели, находятся въ горькомъ самообольщеніи, изъ котораго трудно извлечь ихъ. Изобразивши художественнымъ образомъ красу природы, неба, цвѣтъ розо-желтый облаковъ, или совершивши глубокій анализъ какого-нибудь перегороженнаго сердца, или трогательно разсказавши исторію будочника, вынувшаго пятакъ изъ кармана пьянаго мужика, литераторъ воображаетъ, что онъ ужъ невѣсть какой подвигъ совершилъ, и что отъ его созданія произойдутъ для народа послѣдствія неисчислимыя. Напрасно: созданіе это, во-первыхъ, и не дойдетъ до народа, а во-вторыхъ, если и дойдетъ,

то нимало не займетъ его и не принесетъ ему пользы. Массѣ народа чужды наши интересы, непонятны наши страданія, забавны наши восторги. Мы дѣйствуемъ и пишемъ, за немногими исключеніями, въ интересахъ кружка, болѣе или менѣе незначительнаго; оттого обыкновенно взглядъ нашъ узокъ, стремленія мелки, всѣ понятія и сочувствія носятъ характеръ парціальности. Если и трактуются предметы, прямо касающіеся народа и для него интересные, то трактуются опять не съ общесправедливой, не съ человѣческой, не съ народной точки зрѣнія, а непремѣнно въ видахъ частныхъ интересовъ той или другой партіи, того или другого класса. Въ нашей литературѣ это послѣднее обстоятельство еще не такъ замѣтно, потому что вообще у насъ въ прежнее время мало толковали о народныхъ интересахъ; но въ литературахъ западныхъ духъ парціальности выставляется несравненно ярче. Всякое явленіе историческое, всякое государтвенное постановленіе, всякій общественный вопросъ обсуживается тамъ въ литературѣ съ различныхъ точекъ зрѣнія, сообразно интересамъ различныхъ партій. Въ этомъ, конечно, ничего еще нѣтъ дурного: пусть каждая партія свободно выскажетъ свои мнѣнія: изъ столкновеній разныхъ мнѣній выходитъ правда. Но дурно вотъ что: между десятками различныхъ партій почти никогда нѣтъ партіи народа въ литературѣ. Такъ, напр., множество есть исторій, написанныхъ съ большимъ талантомъ и знаніемъ дѣла: и съ католической точки зрѣнія, и съ раціоналистической, и съ монархической, и съ либеральной, — всѣхъ не перечтешь. Но много ли являлось въ Европѣ историковъ народа, которые бы смотрѣли на событія съ точки зрѣнія народныхъ массъ,

разсматривали, что выигралъ или проигралъ народъ въ извѣстную эпоху, гдѣ было добро и худо для массы, для людей вообще, а не для нѣсколькихъ титулованныхъ личностей, завоевателей, полководцевъ и т. п. Политическая экономія, гордо провозглашающая себя наукою о *народномъ* богатствѣ, въ сущности заботится только о возможно выгоднѣйшемъ употребленіи и возможно скорѣйшемъ увеличеніи капитала, слѣдовательно, служитъ только классу капиталистовъ, весьма мало обращая вниманія на массу людей безкапитальныхъ, не имѣющихъ ничего, кромѣ собственнаго труда. Нѣсколько голосовъ поднималось, правда, во Франціи въ защиту этихъ безпомощныхъ людей отъ односторонняго могущества капитала; но капиталисты называли эти голоса безуміемъ и сочинили противъ нихъ великое множество системъ, въ которыхъ строго логически доказывали, что никто не имѣетъ права запретить имъ пріумножать свои капиталы посредствомъ труда людей безкапитальныхъ. Да ужъ что говорить о наукахъ? Даже поэзія, всегда столь сочувствовавшая всему доброму и прекрасному и презиравшая мелкіе, своекорыстные разсчеты, даже поэзія постоянно увлекалась духомъ партій и классовъ, и только въ немногихъ частныхъ явленіяхъ возвышалась до точки зрѣнія чисто человѣческой, превышающей частные интересы кружковъ или какихъ-нибудь особенныхъ личностей. Она избирала всегда возвышенныя идеи, возвышенныя личности, далеко выдающіяся изъ толпы, и рѣдко спускалась до простого люда. У грековъ это еще было такъ себѣ, ничего; потому что и жизнь у нихъ была устроена особеннымъ образомъ, такъ что масса народа не исключалась изъ участія въ общемъ ея ходѣ. Поэтому и

въ литературѣ ихъ, хотя возвышеннѣйшія роли играются богами, полу-богами, царями и героями, но, съ другой стороны, и народъ является нерѣдко въ видѣ хора, играющаго роль здравомысла и хладнокровно обсуживающаго преступленія и глупости главныхъ дѣйствующихъ лицъ пьесы. Въ началѣ греческой поэзіи видимъ мы, правда, взбалмошныхъ Менелаевъ и Агамемноновъ да сладострастныхъ Парисовъ, изъ-за которыхъ народы проливаютъ кровь свою; но во время высшаго развитія греческой цивилизаціи являются и Аристофановы поселяне. Вообще въ греческой поэзіи интересы народа уважались еще нѣсколько. Но въ Римѣ находимъ уже не то: тамъ уже развивается односторонняя государственная идея, и человѣкъ имѣетъ значеніе только какъ принадлежность Рима. Тамъ уже не трогаютъ страданія народа, не занимаютъ его интересы и радости. Римская поэзія воспѣваетъ отвлеченныя. возвышенныя идеи да сильныхъ мужей, въ родѣ того, который не поблѣднѣетъ, если весь міръ станетъ предъ нимъ разрушаться. Это отталкивающее преклоненіе предъ безчеловѣчіемъ мертвитъ всю поэзію Рима, и человѣческое чувство пробуждается въ ней почти только для эпикурейскихъ наслажденій. Даже сатира имѣетъ тамъ характеръ вовсе не гуманный, а или отвлеченный, или лично раздражительный. При императорахъ народъ особенно подвергся презрѣнію; даже слово vulgaris (vulgaire собственно: народный) приняло значеніе пошлаго, даже неприличнаго. Въ среднихъ вѣкахъ продолжается та же исторія, только въ болѣе грубомъ видѣ. Барды, прославляющіе подвиги побѣдителей, да трубадуры и менестрели, воспѣвающіе воинскую доблесть, знатное происхожденіе и неестественно возвышенныя

чувства, овладѣваютъ всей поэзіей. Народъ награждается полнымъ презрѣніемъ; ему за милость только дозволяютъ любоваться подвигами знатныхъ рыцарей, а ужъ если придется простому человѣку угостить рыцаря, такъ это такая честь, отъ которой онъ весь вѣкъ долженъ быть счастливъ. Въ первое время преобладаніе физической силы было такъ громадно, страхъ, нагнанный побѣдителями на побѣжденныхъ, такъ былъ силенъ, что самъ народъ какъ будто убѣждался въ томъ, что всѣ эти высокомѣрные бароны и ордалы всякаго рода — особы священныя, высшей породы, и что онъ долженъ чтить ихъ съ трепетомъ и вмѣстѣ съ радостью. Не одни сановные трубадуры, ѣздившіе съ оруженосцами, жонглерами и всякими приспѣшниками, не одни придворные паразиты, а самъ народъ наивно воспѣвалъ героевъ, «погубившихъ болѣе народа, чѣмъ жесточайшая чума», и «величавые, недоступные дворцы, у воротъ которыхъ стояли львы, какъ живые, будто готовые поглотить всякаго, кто, неприглашенный, дерзнетъ приблизиться къ великолѣпному жилищу». Скоро, впрочемъ, народъ воспользовался иначе орудіемъ, которое дали ему въ руки: въ XV вѣкѣ онъ рѣшительно измѣняетъ тонъ и слагаетъ злѣйшія сатиры на своихъ притѣснителей и на тѣхъ, отъ которыхъ онъ прежде ждалъ спасенія, но въ которыхъ жестоко обманулся, — на католическихъ духовныхъ. У народовъ Западной Европы до сихъ поръ сильно распространенъ этотъ родъ поэзіи, но настоящая, свѣтская, аристократическая литература пренебрегаетъ такой поэзіей. Она имѣетъ другія стремленія, другой характеръ: ей нужно сочувствіе извѣстныхъ кружковъ общества, полныхъ своими обыденными забо-

тами и вовсе не безпокоящихся о томъ, что дѣлалось и дѣлается въ остальномъ человѣчествѣ, за предѣлами ихъ тѣснаго круга. Интересы этихъ кружковъ и отражаются въ поэтическихъ созданіяхъ новыхъ народовъ. Если же когда вздумается литератору взглянуть и на свои отношенія къ массѣ, то онъ взглянетъ на это непремѣнно по-своему, съ точки зрѣнія собственныхъ интересовъ. Съ теченіемъ времени, разумѣется, все больше и больше начинаютъ обращать вниманія на требованія массъ, иногда литература и расшумится, если произойдетъ какое-нибудь замѣтное столкновеніе интересовъ различныхъ классовъ въ самой жизни. Но способъ разсужденія, употребляемый въ подобныхъ случаяхъ, обыкновенно напоминаетъ графа де-Местра и его книгу о папѣ. Графъ, какъ набожный католикъ и отставной пьемонтскій сенаторъ, разсуждаетъ очень мило. «Народы страдаютъ, — говоритъ онъ, — отъ произвола, жестокости и насилій свѣтской власти; нужно противодѣйствіе этой власти. Но самъ народъ глупъ, грубъ, безнравственъ, подлъ, и потому противодѣйствія составить не можетъ. Единственно возможное и дѣйствительное средство для его спасенія и сохраненія состоитъ въ томъ, чтобы обратиться къ святѣйшему папѣ и признать надъ собою его духовную и свѣтскую власть» . . . Въ такомъ же родѣ и современные, хоть бы французскіе, писатели сочиняютъ: одинъ мелодраму для доказательства, что богатство ничего не приноситъ, кромѣ огорченій, и что слѣдовательно бѣдняки не должны заботиться о матеріальномъ улучшеніи своей участи; другой — романъ, для убѣжденія въ томъ, что люди сладострастные и роскошные чрезвычайно полезны для развитія промышленности, и

что слѣдовательно люди, нуждающіеся въ работѣ, должны всей душою желать, чтобы побольше было въ высшихъ классахъ роскоши и расточительности, и т. п.

Рѣдко, и то у высшихъ геніевъ поэзіи, являлась чистая любовь къ человѣчеству, не возмущаемая интересами партій. Еще въ невѣжественной Европѣ XVI вѣка раздались знаменательныя слова: «Человѣкъ былъ онъ», и въ нихъ выразилось сознаніе генія о достоинствѣ человѣка. Въ эпоху, близкую къ нашей, другой геній той же націи, называемый, обыкновенно, ненавистникомъ человѣчества, сказалъ пророчески, что «пройдетъ на землѣ царство меча, и невозможны будутъ поработители». Злобными сарказмами мстилъ недавно торжествующимъ партіямъ за германскій народъ Генрихъ Гейне, полагавшій весь смыслъ искусства и философіи въ томъ, чтобъ пробуждать отъ сна задремавшія силы народа. Всѣ горести и труды бѣдняковъ нашли себѣ живой и полный отголосокъ въ пѣсняхъ національнаго французскаго поэта, котораго недавно парижское правительство похоронило съ такой офиціальной торжественностью. Въ своемъ поэтическомъ пониманіи общихъ нуждъ и стремленій человѣчества, Беранже возвысился до такихъ стиховъ:

Le pauvre a-t-il une patrie?
Que me font vos vins et vos blés,
Votre gloire et votre industrie,
Et vos orateurs assemblées!

Но не много подобныхъ стиховъ въ европейскихъ литературахъ; не многіе поэты возвышались надъ интересами кружковъ и рѣшались отказаться отъ воспѣванія отвлеченныхъ добродѣтелей — хра-

бросты, рѣшительности, вѣрности, терпѣнія и т. п., или отъ сіяющихъ игрушекъ, въ родѣ великолѣпныхъ мостовъ, зданій, фейерверковъ и пр., или наконецъ личныхъ ощущеній при взглядѣ на звѣзды при прогулкѣ вдвоемъ, при посѣщеніи музея и т. п. Возвыситься надъ мелкими интересами кружковъ, стать выше угожденія своекорыстнымъ требованіямъ меньшинства, къ сожалѣнію, не умѣла еще до сихъ поръ ни одна европейская литература.

Это небольшое отступленіе, сдѣланное нами по поводу ограниченности круга дѣйствій русской литературы, приводитъ насъ теперь именно къ тому, съ чего мы хотѣли начать нашу статью, — къ разсмотрѣнію содержанія и характера, успѣвшаго проявиться въ исторіи нашей литературы. Выше мы замѣтили, что у насъ не такъ замѣтно высказывался характеръ парціальности, развившейся въ литературахъ Западной Европы. Слова эти требуютъ поясненія. Мы вовсе не хотѣли ставить нашу литературу выше всѣхъ европейскихъ, вовсе не думали приписывать ей небывалое безпристрастіе и широту взгляда, отрѣшеніе отъ частныхъ интересовъ въ пользу общихъ, высшее сознаніе человѣческаго достоинства и т. п. Совсѣмъ нѣтъ, мы хотѣли только сказать, что такъ какъ у насъ до сихъ поръ литература не считалась важной и существенной принадлежностью жизни, то, по большей части, никто и не думалъ дѣлать ее орудіемъ своихъ плановъ, никто не обращалъ вниманія на то, служитъ ли литература какимъ-нибудь партіямъ, и какимъ именно, къ чему она расположена, противъ чего возстаетъ. Всѣ очень хорошо понимали, что мало кто можетъ у насъ соображаться съ тѣмъ, что говорится въ книгахъ, и что ходъ нашей жизни зависитъ не отъ ни-

санныхъ убѣжденій, до которыхъ никому нѣтъ дѣла, а отъ вещей гораздо болѣе существенныхъ, имѣющихъ непосредственное отношеніе, по пословицѣ, къ *своей рубашкѣ* каждаго. Поэтому-то никто и не заботился о духѣ и направленіи литературы, и въ ней не выразилось такого замѣтнаго увлеченія духомъ различныхъ партій, какъ на Западѣ. Но нельзя же было оставаться ей безъ всякаго направленія; нужно же было выразить какія-нибудь стремленія и понятія: безъ этого не можетъ обойтись ни одно произведеніе мысли человѣческой. Всего ближе, разумѣется, было выразиться въ литературѣ интересамъ и мнѣніямъ тѣхъ, въ чьихъ рукахъ было книжное дѣло, тѣхъ, въ комъ оно находило хоть маленькую поддержку и опору. Такъ и случилось.

Во время языческой древности у русскихъ, какъ и у всѣхъ славянъ, существовала уже поэзія народная. Не зная древней языческой русской поэзіи въ ея настоящемъ, неиспорченномъ видѣ, мы можемъ судить о ней только по аналогіи съ поэзіею другихъ славянскихъ племенъ и по намекамъ, сохранившимся въ томъ, что до насъ дошло отъ русской древности въ измѣненіяхъ позднѣйшаго времени. Сравнительное изученіе поэзіи славянскихъ народовъ привело многихъ къ полному убѣжденію въ томъ, что въ древности выражались въ ней дѣйствительно общенародные интересы и воззрѣнія на жизнь. Это, разумѣется, и было совершенно естественно при господствѣ патріархальныхъ отношеній, когда еще не существовало ни малѣйшаго разлада между жизнью семейною и государственною, а, напротивъ, онѣ сливались въ одно нераздѣльное цѣлое. Что можетъ быть проще и естественнѣе того, что

Всякъ отецъ въ дому своемъ владыка:
Мужи пашутъ, жены шьютъ одежду,
А умретъ глава всѣхъ домочадцевъ,
Дѣти всѣмъ добромъ сообща владѣютъ.
Выбравъ старшину себѣ изъ рода,
Чтобъ ходилъ, для пользы ихъ, на сеймы,
Гдѣ съ нимъ кметы, лехи и владыки [1].

Когда жизнь устроена еще такимъ образомъ, то, само собою разумѣется, поэзія непремѣнно должна выражать народные интересы. Но, къ сожалѣнію, почти ничего не имѣемъ мы отъ той древности, когда кметы разсуждали съ лехами и владыками на общественныхъ сеймахъ. По всей вѣроятности и разсуждали-то они плохо, потому что мало имѣли образованія, слишкомъ сильно еще были подавлены внѣшними вліяніями. Разсужденіямъ ихъ недоставало многаго для того, чтобы удовлетворить всѣхъ и чтобы быть вполнѣ справедливыми и разумными. Не было у нихъ пособія ни въ жизненной опытности прошедшихъ вѣковъ, ни въ знаніи природы и умѣньѣ владѣть ею, ни въ знаніи міра души человѣческой. Кругъ ихъ зрѣнія былъ узокъ, они ходили ощупью, дѣлали неурядицу, и, не понимая выгодъ своего положенія, сами должны были искать исхода изъ тѣхъ безпорядковъ, къ которымъ сами себя привели. Исходъ нашелся, конечно, такой же, какъ и вездѣ, — нѣсколько леховъ сказали безтолковымъ кметамъ: «вы ничего не понимаете и дѣлаете только глупости; предоставьте все намъ и дѣлайте то, что мы прикажемъ». По врожденной человѣку лѣни и по сознанію своего безсилія, кметы съ радостью согласились и даже начали сочинять пѣсни

[1] Кметы — простые поселяне, лехи — богатые владѣльцы, владыки — мелкіе владѣтели.

во славу мудрыхъ и сильныхъ лиховъ, умѣвшихъ водворить между ними тишину и порядокъ. Тутъ-то народная поэзія и должна была измѣнить свой характеръ сообразно съ новымъ устройствомъ жизненныхъ отношеній. Но и при этомъ измѣненіи остались слѣды общаго характера прежней поэзіи: народныя пѣсни не скоро потеряли свой простой, естественный характеръ, не скоро увлеклись чуждыми интересами, и до сихъ поръ въ нихъ замѣчають слѣды первоначальной простоты естественныхъ условій быта. Въ этомъ отношеніи славянская народная поэзія имѣетъ даже преимущество предъ прочими европейскими: въ ней больше пѣсенъ бытовыхъ и менѣе воинственныхъ, рыцарскихъ повѣствованій; да и тѣ, какія есть, относятся большею частью къ позднѣйшимъ эпохамъ, когда уже и народъ пріучился ко множеству одностороннихъ отвлеченностей. Вообще же, по отзыву одного изъ любителей-славянистовъ (Бродзинскаго), «въ славянскихъ народныхъ пѣсняхъ выражаются люди, не властолюбивые, жестокіе, страстные ко всему необыкновенному, привязанные къ мечтамъ собственнаго воображенія, но люди, далекіе отъ желаній причудливыхъ и странныхъ, отъ страстей буйныхъ и насильственныхъ», и пр. Сужденіе это вполнѣ можетъ быть примѣнено къ русской народной поэзіи. По нашему мнѣнію, въ ней заключается много доказательствъ того, что въ народѣ нашемъ издревле хранилось много силъ для дѣятельности обширной и полезной, много было задатковъ самобытнаго, живого развитія. Въ этомъ случаѣ мы не можемъ согласиться съ г. Милюковымъ, который все безобразіе русскихъ сказокъ и пѣсенъ складываетъ на народность и говоритъ, что отъ нея нечего было

ожидать безъ коренной реформы. Мы думаемъ, что нѣтъ у насъ достаточно данныхъ для того, чтобы обвинять народность въ безобразіяхъ поэзіи и даже самой жизни; а есть, напротивъ, данныя, позволяющія видѣть причину ихъ въ обстоятельствахъ, пришедшихъ извнѣ. Народная поэзія, какъ видно, долго держалась своего естественнаго, простого характера, выражая сочувствіе къ обыденнымъ страданьямъ и радостямъ, и инстинктивно отвращаясь громкихъ подвиговъ и величавыхъ явленій жизни, славныхъ и безполезныхъ. На дѣлѣ народъ долженъ былъ терпѣть ихъ и даже принимать въ нихъ участіе, но въ поэзіи его нѣтъ ни малѣйшихъ слѣдовъ хоть какого-нибудь сочувствія къ подобнымъ явленіямъ. Въ этомъ отношеніи намъ кажется любопытною замѣтка г. Бодянскаго (въ сочиненіи «О славянской народной поэзіи», стран. 124), въ которой онъ говоритъ объ участіи народа въ удѣльныхъ ссорахъ князей. «Народъ не бралъ къ сердцу ихъ счетовъ между собою,—говоритъ онъ,—не интересовался ихъ выгодами и потерями; ему все равно было пустошить землю, взять на щитъ городокъ и т. п., подъ стягомъ ли Олеговичей или Мономаховичей. Это была дѣятельность, не склонявшая въ свою пользу сердца ратовавшихъ, дѣятельность, такъ сказать, машинальная. Доказательствомъ служитъ то, что народъ не почтилъ этихъ усобицъ ни одной своей пѣсней, никакимъ почти преданіемъ, ни малѣйшею, хоть бы глухою, темною молвой».

Это замѣчаніе, высказанное слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ, до сихъ поръ не опровергнуто ни однимъ фактомъ, несмотря на множество вновь изданныхъ съ тѣхъ поръ памятниковъ и изслѣдованій. Въ самомъ дѣлѣ, можно полагать, что до са-

мой татарской эпохи народъ держалъ себя совершенно равнодушно въ отношеніи къ политическимъ событіямъ Руси, имѣвшимъ, со временъ Владиміра, большею частью династическій интересъ. Только во времена бѣдствій родной земли вспомнилъ онъ минувшую славу и обратился къ разработкѣ старинныхъ преданій, оставшихся, конечно, еще отъ временъ норманновъ. Тутъ онъ началъ организовать разбросанныя сказанія, перепуталъ лица, мѣстности и эпохи и цѣлый трехсотлѣтній періодъ сгруппировалъ около лица одного Владиміра, бывшаго ему памятнѣе другихъ. Возбуждалась любовь къ этимъ пѣснямъ, конечно, горькимъ чувствомъ при взглядѣ на современный порядокъ вещей. При нашествіи народа невѣдомаго ожиданія всѣхъ обратились, разумѣется, къ князьямъ; они, которые такъ часто водили свой народъ на битву съ своими, должны были теперь защищать родную землю отъ чужихъ. Но оказалось, что князья истощили свои силы въ удѣльныхъ междоусобіяхъ и вовсе не умѣли оказать энергическаго противодѣйствія страшнымъ непріятелямъ. Они бѣгали отъ монголовъ, пока не узнали, что они не вмѣшиваются во внутреннее управленіе и довольствуются собиранемъ подати. Тогда они признали себя данниками монголовъ, и народъ узналъ, что онъ сталъ татарскимъ улусомъ и что подати на немъ прибавилось. Горько было настоящее положеніе народа, обманутаго въ своихъ ожиданіяхъ, онъ невольно сравнилъ нынѣшнія событія съ преданіями о временахъ давно минувшихъ, и грустно запѣлъ про славныхъ, могучихъ богатырей, окружавшихъ князя Владиміра. Пѣсня эта была сначала горькимъ упрекомъ настоящему, а потомъ, доставляя народу забвеніе и даже утѣше-

ніе, стала увлекать его и заставляла примѣнять прежнія событія къ современному теченію дѣлъ. Такимъ образомъ богатырей Владиміровыхъ заставили сражаться съ татарами и самого Владиміра сдѣлали данникомъ «грознаго короля Золотой Орды Этмануйла Этмануйловича». Дальнѣйшія искаженія объясняются такъ же легко: въ живой дѣйствительности народъ не видѣлъ никакого средства управиться съ своими поработителями и долженъ былъ безмолвно склониться предъ ихъ силою. Но тяжела ему была эта покорность, и онъ все не оставлялъ мечтать о средствахъ освобожденія. Чѣмъ далѣе эти мечты были отъ дѣйствительности, тѣмъ болѣе они принимали дѣтскій характеръ: въ нихъ являлись и волшебники, и оборотни, и неестественныхъ размѣровъ богатыри, и разумные кони, и наговоры еретическе. А когда попались эти пѣсни въ руки книжникамъ, то и послѣднюю жизненность потеряли, подъ ихъ реторическими прикрасами. Но вліяніе книжной литературы на народную словесность заслуживаетъ болѣе подробнаго разбора. Г. Милюковъ, къ сожалѣнію, не сдѣлалъ этого, и потому его статья о народной поэзіи русской не имѣетъ окончательной полноты. Мы скажемъ здѣсь объ этомъ нѣсколько словъ, которыя кажутся намъ не лишними для того, чтобы яснѣе понять причины и свойства разлада, постоянно господствовавшаго у насъ между литературою книжною и словесностью народа.

Наша книжная словесность, начавшаяся со временъ Владиміра, не была, какъ всѣмъ извѣстно, произведеніемъ національныхъ элементовъ, а была перенесена къ намъ съ-чужа. Мало того, она явилась къ намъ не вслѣдствіе того, что въ народѣ явилась

потребность заимствованія чужой образованности, а просто по случайному обстоятельству. Простодушный разсказъ Нестора убѣждаетъ насъ неопровержимо, что народъ во времена Владиміра еще не созрѣлъ для той высшей цивилизаціи, которая при немъ принесена была на Русь, вмѣстѣ съ божественнымъ ученіемъ христіанства. Самъ Владиміръ отослалъ отъ себя магометанъ болгарскихъ только потому, что ему не понравилось обрѣзаніе и запрещеніе пить вино, а нѣмцевъ — потому, что «отцы наши этого не приняли». Бояре, посланные для испытанія вѣръ, вовсе не думаютъ о внутреннемъ ихъ содержаніи и достоинствѣ, а обращаютъ вниманіе только на внѣшность: болгарская служба имъ не понравилась, у нѣмцевъ не нашли они никакой красоты, а отъ Византіи были въ восторгѣ потому, что тамъ, по наивному разсказу Нестора, патріархъ, услышавъ объ ихъ прибытіи, — «повелѣ создати крилосъ, по обычаю сътворища праздникъ, и кадила возжгоша, пѣнія и лики съставиша; и иде съ ними въ церковь, и поставиша я на пространьнѣ мѣстѣ, показующе красоту церковную, пѣнія и службы архиерейски» (Несторъ, подъ годомъ 6495). А другіе бояре, не стоявшіе на мѣстѣ пространнѣ во время архіерейскаго служенія, тоже подали голосъ въ пользу Византіи, но уже отказываясь рѣшительно отъ собственнаго мнѣнія въ такомъ важномъ дѣлѣ, а ссылаясь просто на авторитетъ Ольги. Владиміръ удовлетворился ихъ мнѣніями. Если же князь и бояре дѣйствовали такимъ образомъ, то, разумѣется, и странно было бы ожидать отъ народа какого-нибудь сознательнаго убѣжденія. Черезъ столѣтіе послѣ самаго событія одинъ, безъ сомнѣнія, изъ просвѣщеннѣйшихъ людей тогдашней Ру-

си — Несторъ-лѣтописецъ, и тотъ еще не понималъ необходимости внутренняго убѣжденія въ подобныхъ случаяхъ. Онъ находитъ совершенно естественнымъ, что наканунѣ невѣрные людье плачутъ о Перунѣ, котораго бросили въ Днѣпръ, и кричатъ ему: «выдыбай, Боже!», а на другой день слышатъ приказъ: «аще не обрящется кто на рѣцѣ, богатъ ли, ли убогъ, или нищь, ли работникъ, противенъ мнѣ да будетъ», и съ радостью идутъ на рѣку, говоря: «аще бы се не добро было, не бы сего князь и боляре пріяху». Разсматривая этотъ случай безпристрастно, можно приложить къ нему то же самое мнѣніе, какое высказано г. Бодянскимъ объ участіи народа въ междоусобныхъ ссорахъ князей. А между тѣмъ Несторъ заключаетъ свой разсказъ тѣмъ, что «бяшеше си видѣти радость на небеси и на земли, толико душъ спасаемыхъ, а дьяволъ стеня глаголаше: увы мнѣ, яко отсюда прогонимъ есмь» (Нест., 6496 г.).

Все это неопровержимо доказываетъ, что народъ не былъ предварительно приготовленъ къ принятію тѣхъ высокихъ истинъ, которыя ему предлагались и не въ состояніи былъ еще воспользоваться, какъ слѣдуетъ, благодѣяніями новой цивилизаціи, входившей въ Русь вмѣстѣ съ христіанствомъ. Для полнѣйшаго убѣжденія въ этомъ нужно вспомнить продолженіе того же разсказа Нестора о томъ, какъ вели себя русскіе люди въ отношеніи къ новой цивилизаціи. Владиміръ, говоритъ лѣтописецъ, началъ поставлять церкви, разрушать кумиры, ставить поповъ и «нача поимати у нарочитое чади дѣти и даяти нача на ученье книжное; матере же чадъ сихъ плакахуся по нихъ; еще бо не бяху ся утвердили вѣрою, но яко по мертвецки плакахуся». Нѣсколь-

ко не сочувствуя, конечно, отвращенію народа отъ ученья, нельзя, однакоже, съ грустью не согласиться, что фактъ этотъ не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, и что даже въ наше время въ простомъ народѣ онъ не утратилъ своего значенія. Ни самого ученья, ни тѣхъ, которые боятся его, обвинять тутъ нечего, да и вообще здѣсь никого обвинять нельзя, кромѣ развѣ несовершенства рода человѣческаго, которое всегда мѣшаетъ исторіи идти, какъ бы намъ хотѣлось теперь, при нашихъ просвѣщенныхъ воззрѣніяхъ. Разумѣется, если бы русскіе были болѣе образованы во времена Владиміра, болѣе приготовлены самой жизнью къ отверженію своихъ языческихъ понятій и вѣрованій, то послѣдствія мѣръ, произведенныхъ Владиміромъ, были бы несравненно благотворнѣе. Но что же дѣлать, если этого не случилось? Нельзя сердиться на это, а можно только отмѣтить факты, послѣдовавшіе за тѣмъ и имѣющіе непосредственную связь съ положеніемъ образованности русскаго народа при Владимірѣ. Факты эти, правда, не утѣшительны; но пропустить ихъ нельзя, потому что они слишкомъ рѣзко обозначились и въ жизни, и въ поэзіи народной и не истребились до сихъ поръ. Мы говоримъ о множествѣ суевѣрій и предразсудковъ, донынѣ охватывающихъ всю жизнь крестьянина и составляющихъ несомнѣнный остатокъ языческихъ вѣрованій. Эти суевѣрія тѣмъ глубже вкоренились въ народной жизни, что они издавна перемѣшались съ христіанскими воззрѣніями и такимъ образомъ какъ будто получили нѣкоторую законность на взглядъ простолюдина. Такого смѣшенія, разумѣется, не могло бы быть, если бы высокія истины христіанства съ самаго начала были хорошо поня-

ты въ народѣ и если бы онъ самъ дошелъ до сознанія ложности язычества. Только и успѣхи цивилизаціи въ массахъ народа были бы быстрѣе, и ходъ развитія былъ бы правильнѣе, потому что не было бы двойственности въ началахъ, управлявшихъ жизнью и дѣятельностью народа. Теперь эта двойственность должна была проявиться въ размѣрахъ весьма широкихъ. Съ одной стороны, новое ученіе должно было проникать постепенно въ сознаніе народа, и о внушеніи его должны были стараться тѣ лица, въ рукахъ которыхъ находится власть надъ народомъ; съ другой стороны, языческія понятія и преданія были слишкомъ сильно вкоренены во всѣхъ проявленіяхъ народнаго быта и оказывали сильное противодѣйствіе новымъ началамъ. Возникло неизбѣжное противорѣчіе въ народной жизни, и оно, самымъ естественнымъ образомъ, должно было привести къ тому, что имѣвшіе въ рукахъ своихъ силу воспользовались ея для того, чтобы доставить торжество своимъ началамъ. Мы не имѣемъ положительныхъ извѣстій объ этомъ отъ первыхъ временъ христіанства въ Россіи; но послѣдующее время постоянно даетъ намъ аналогическіе факты. Въ концѣ XI столѣтія «Правило» Іоанна митрополита возстаетъ противъ волхвованія и языческихъ обычаевъ; въ половинѣ XII вѣка обличаются суевѣрія языческія въ «Вопрошаніяхъ Кирика къ Нифонту»; въ XII вѣкѣ Серапіонъ обличаетъ ихъ. Начиная же съ XIV вѣка сохранилось множество окружныхъ посланій и грамотъ, запрещающихъ «бѣсовскія игрища» съ пѣснями. Обличенія пастырей противъ смѣшенія языческихъ понятій съ христіанскими не прерывались до временъ Тихона Воронежскаго, котораго поученія противъ Ярилы и

т. п. отличаются жестокою нетерпимостью. Къ несчастію, всѣ ихъ усилія не были въ состояніи возвысить народъ до совершенно чистыхъ и правильныхъ понятій о христіанской религіи. Нужно было употребить другое средство заставить народъ по крайне мѣрѣ отставать хоть понемногу отъ привязанности ко всему языческому. Для этого надобно было дѣйствовать запрещеніями, направленными противъ всего, что носило на себѣ отпечатокъ язычества. Очевидно, что такое положеніе дѣлъ не могло быть благопріятно для развитя народной поэзіи, родившейся у славянъ тоже на языческой почвѣ. Ихъ древнія преданія должны были заглохнуть среди новыхъ условій быта, или измѣниться сообразно съ этими условіями. Заглохнуть совершенно они не могли, потому что народъ, не имѣющій еще письменной литературы, и при томъ народъ славянскій, не могъ оставаться безъ устной поэзіи. Но сохранить свою первоначальную чистоту и свѣжесть эта поэзія тоже не могла, потому что новыя понятія неизбѣжно примѣшивались къ кругу прежнихъ вѣрованій и измѣняли характеръ произведеній народной фантазіи. Книжная словесность, вынесенная къ намъ изъ Византіи, старалась, конечно, внести въ народъ свои идеи; но какъ чуждая народной жизни, она могла только по-своему искажать то, что было живого въ народѣ, и не въ состояніи была ни проникнуться истинными его нуждами, ни спуститься до степени его пониманія. Что книжная словесность хотѣла сдѣлаться близкою къ народу, это доказывается множествомъ духовныхъ стиховъ, которые носятъ на себѣ самые яркіе слѣды книжнаго вліянія. Объ этихъ стихахъ г. Милюковъ совершенно справедливо говоритъ, что они «принесены

къ намъ первоначально изъ Греціи и остались совершенно чуждыми народу, который, слушая слѣпыхъ нищихъ, не заимствовалъ у нихъ ни одной пѣсни и не зналъ, о чемъ они поютъ». Безъ всякаго сомнѣнія, размноженіе у насъ духовныхъ стиховъ не было случайнымъ явленіемъ, естественно возникшимъ вслѣдствіе потребности самого народа. Необходимо предположить, что учители наши, прибывшіе изъ Византіи, старались о томъ, чтобы привить народу чуждыя ему преданія и даже прибѣгали для этого къ самимъ преданіямъ народнымъ, передѣлывая ихъ на свой ладъ и примѣшивая къ нимъ то, что считали нужнымъ. Самымъ яркимъ примѣромъ можетъ служить «Сказаніе о Мамаевомъ побоищѣ» въ сравненіи съ «Словомъ о полку Игоревѣ». Сравнительный разборъ этихъ двухъ произведеній очень хорошъ у г. Милюкова, и мы привели бы его здѣсь, если бы онъ не былъ слишкомъ обширенъ (стр. 15—24). Въ немъ весьма ярко выставляются прибавки позднѣйшаго книжника, человѣка, принадлежавшаго къ клиру и потому старавшагося замѣнить народныя воззрѣнія своими понятіями, болѣе или менѣе чуждыми народу и доселѣ. Извѣстно, что въ «Словѣ о полку Игоревѣ» вполнѣ господствуетъ языческое міросозерцаніе: предзнаменованія, сны, обращеніе къ природѣ, — все это противно духу христіанства. А между тѣмъ составлено это сказаніе могло быть не ранѣе конца XII вѣка, — вотъ доказательство, какъ мало новыя понятія успѣли укорениться въ умахъ народа даже въ теченіе двухъ столѣтій. Но еще черезъ два столѣтія книжникъ, вовсе не знавшій народа, вздумалъ воспользоваться канвою народнаго эпическаго сказанія для примѣненія ея къ другому событію, въ которомъ бы могъ выра-

зиться другой взглядъ на міръ и на жизнь. И вотъ іерей Софроній пишетъ, какъ Мамай, попущеніемъ Божіимъ, отъ наученія діаволя, идетъ казнити улусъ свой, Русскую землю; какъ великій князь Димитрій прежде всего обращается за совѣтомъ къ митрополиту Кипріану; какъ тотъ совѣтуетъ «*утолить* Мамая *четверицею* (т. е. дать ему вчетверо больше того, что прежде давалось), дабы не разрушилъ Христовой вѣры»; какъ Димитрій получаетъ благословеніе двухъ воиновъ-монаховъ отъ св. Сергія; какъ онъ припадаетъ съ молитвою слезною къ чудотворнымъ иконамъ; какъ предъ битвою вкушаетъ присланной ему отъ св. Сергія просфоры, какъ участь сраженія рѣшается святою помощью Бориса и Глѣба. Во всей повѣсти господствуетъ строго-благочестивый взглядъ, и повсюду предвѣщанія и дива языческія замѣнены знаменіями и чудесами христіанскими. Ясно, что новыя вѣрованія много бы выиграли отъ подобнаго образа дѣйствія, если бы книжные учители древней Руси, при своемъ благочестіи, владѣли еще умѣньемъ постигнуть духъ народный и имѣли бы сколько-нибудь поэтическаго такта. Къ сожалѣнію, этого не было у нихъ; въ поэтическихъ произведеніяхъ древнихъ книжниковъ господствуетъ вялость, мертвенность, отвлеченность, отсутствіе всякой поэзіи. Оттого-то они и не проникли въ народъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и идеи, вставленныя въ нихъ, распространялись очень слабо. Тѣмъ не менѣе народная поэзія не могла уже остаться неприкосновенною, позднѣйшіе наросты ясно видны въ томъ, что по основѣ своей должно относиться къ древнѣйшему времени. Очень жаль, что г. Милюковъ мало принялъ въ соображеніе тѣ измѣненія, какія должны были произойти въ народ-

ныхъ, особенно въ историческихъ, пѣсняхъ съ теченіемъ времени, и всю ихъ грубость и всѣ недостатки отнесь на счетъ древней русской жизни, — не опредѣляя, какую именно древность онъ разумѣетъ. Поэтому нѣкоторыя явленія древней русской поэзіи поняты имъ, кажется, не совсѣмъ вѣрно. Напр., онъ, говоря, что въ историческихъ пѣсняхъ русскихъ есть даже попытка на изображеніе характеровъ, указываетъ для примѣра на лицо Владиміра, которое будто бы имѣетъ сходство съ историческимъ Владиміромъ. Съ этимъ мы никакъ не можемъ согласиться. Въ личности Владиміра, по нашему мнѣнію, болѣе нежели въ чемъ-нибудь, выразилось византійское вляніе на нашу народную поэзію. Не такими представлялъ народъ нашъ своихъ князей, близкихъ къ норманскому періоду; это мы видимъ въ народныхъ преданіяхъ, записанныхъ Несторомъ. Вспомнимъ величавый образъ Святослава, храбраго, дѣятельнаго, раздѣляющаго съ подданными всѣ труды и недостатки, заботящагося о богатствѣ земли своей, говорящаго: «Не посрамимъ земли Русскія,—ляжемъ костьми ту». Вспомнимъ и позднѣйшее изображеніе князя Игоря въ «Словѣ», мало подвергнемся книжной порчѣ: и онъ, подобно древнимъ князьямъ, является храбрымъ и дѣятельнымъ; онъ самъ идетъ во главѣ своего войска въ чужую землю, чтобы отомстить врагамъ за обиду земли русской; онъ не смущается предъ опасностями и говоритъ: «Лучше потяту быти, неже полонену быти» . . . Не такимъ являлся Владиміръ въ нашихъ народныхъ сказаніяхъ. Въ немъ нѣтъ и признаковъ русскаго князя; это не что иное какъ византійскій владыка, или вообще восточный правитель, недоступный для народа, стоящій отъ не-

го на недосягаемой высотѣ, счастливый избранникъ судьбы, не имѣющій другого дѣла, кромѣ пировъ и веселья. Въ народныхъ пѣсняхъ, Владиміръ постоянно является пирующимъ. Почти каждая пѣсня начинается тѣмъ, что у ласкова князя Владиміра было пированье — почестной пиръ, было столованье — почестной столъ. Князь Владиміръ потѣшается на этомъ пирѣ, и, что бы ни случилось, онъ ничего другого не дѣлаетъ, какъ только «по свѣтлой гридні похаживаетъ, да черныя кудри расчесываетъ». Являются во время пира его служители, израненные, булавами буйны головы пробиваны, съ извѣстіемъ о какихъ-то невѣдомыхъ людяхъ, появившихся на княжеской землѣ, — а князь пьетъ, ѣстъ, прохлаждается, ихъ челобитья не слушаетъ. Нападаетъ на Кіевъ Калинъ царь, Владиміръ «весьма закручинился, запечалился, повѣсилъ буйну голову и потупилъ очи ясныя», оттого что «нѣтъ у него стоятеля, нѣтъ оберегателя» . . . Пріѣзжаетъ Илья Муромецъ съ Соловьемъ разбойникомъ и велитъ ему свистнуть въ полсвиста, а князя Владиміра вмѣстѣ съ его княгинею беретъ подъ пазуху, чтобы они не упали отъ свисту соловьинаго. А въ другой пѣснѣ князь Владиміръ и «*окорачъ ползетъ*» отъ сильнаго свиста конскаго . . . Есть ли во всемъ этомъ хоть какое-нибудь сходство съ чисто-русскимъ, собственнымъ, народнымъ представленіемъ князей? Есть ли что-нибудь подобное вообще въ славянскихъ пѣсняхъ, не подвергшихся восточному вліянію? Какъ хотите, сваливать подобныя представленія на коренную русскую народность невозможно. Они могли явиться только въ позднѣйшую эпоху, принесшую къ намъ много восточныхъ понятій, усердно распространявшихся въ народѣ

книжниками, которые столь же плохо понимали требованія поэтической истины, какъ и нужды русскаго народа. Невозможно сомнѣваться, что значительная доля искаженій въ русской народной поэзіи произведена была — намѣренно или ненамѣренно — именно этими книжниками.

Съ теченіемъ времени народная поэзія все теряла свое значеніе, слабѣла и глохла, а книжная словесность принимала все болѣе широкіе размѣры и вторгалась съ своими опредѣленіями во всѣ отдѣлы народной жизни. Но въ ней не было жизненной силы, она не могла проникнуть въ самый духъ народа и должна была ограничиться только внѣшностью, формой. Съ самаго начала не понявши народнаго характера, она стала совершенно чуждою народности русской и заключилась въ тѣсной сферѣ своихъ схоластическихъ опредѣленій. Въ этой схоластической отвлеченности держалась она невозмутимо до тѣхъ поръ, пока жизнь Руси тянулась молчаливо и однообразно, безъ прогресса, безъ самобытнаго развитія, подъ неурядицей удѣльныхъ междоусобій, подъ игомъ татаръ, подъ вліяніемъ не установившихся государственныхъ отношеній . . . Отличительною чертою этой книжной, схоластической словесности было безсиліе предъ существующимъ фактомъ и безсмысленное подчиненіе ему, даже безъ желанія объяснить его. Если встрѣчались факты противоположные, книжники склонялись предъ тѣмъ, который бралъ перевѣсъ, и во имя его преслѣдовали другой, противный. Такъ возставали они противъ языческихъ суевѣрій съ теченіемъ времени все больше и больше, между тѣмъ какъ по естественному порядку вещей надобно полагать, что они съ теченіемъ времени все-таки постепенно

ослабѣвали. Такъ въ концѣ XIII столѣтія вздумалъ Серапіонъ говорить противъ княжескихъ междоусобій, когда въ это время, подъ игомъ татаръ, удѣльныя распри сами собою уже значительно ослабѣли. Такъ было и во всѣхъ другихъ случаяхъ. Но, при всей своей жалкой немощи, при всемъ отсутствіи живыхъ силъ, явленія, подобныя Серапіону, представляютъ еще отрадную сторону нашей древней письменности. Они были прогрессомъ въ сравненіи съ тою безжизненною схоластикою, какая господствовала въ большинствѣ книжниковъ. Тѣ уже стояли совершенно въ сторонѣ отъ русской жизни и толковали, весьма горячо и пространно, именно о томъ, до чего русскому не было ровно никакого дѣла. Замѣчательно, чѣмъ начали свое письменное поприще въ Россіи древніе книжники. Первое, по времени, произведеніе, написанное въ Россіи, было посланіе Льва митрополита (умеръ въ 1007 г.) противъ латинянъ, гдѣ онъ подробно разсуждаетъ объ опрѣснокахъ, о постѣ въ субботу, о безженствѣ священниковъ и т. п. Нельзя не сознаться, что трудно было выбрать предметъ, болѣе далекій отъ русской жизни. Но выборъ его объясняется, конечно, отношеніями Византіи, которая была тогда въ самомъ разгарѣ своей вѣковой распри съ Римомъ.

Впрочемъ при всей видимой неподвижности древней русской письменности, при всей ея отвлеченности и безжизненной схоластикѣ, и въ ней нельзя не видѣть нѣкотораго развитія, которое съ теченіемъ времени дѣлается все примѣтнѣе. И въ ней выразился общій законъ распространенія образованности, постепенно расширяющей свой курсъ, несмотря ни на какія препятствія. Литература вообще

всегдашній спутникъ образованности; развитіе ея идетъ параллельно съ развитіемъ потребностей образованныхъ классовъ. Пока образованныхъ людей немного, литература необходимо служитъ выраженіемъ интересовъ немногихъ; когда всѣ будутъ образованы, литература, — нѣтъ сомнѣнія, — будетъ отзываться на потребности всѣхъ, расширивъ кругъ своего дѣйствія и избавившись отъ духа кружковъ и партій. Это самое расширеніе круга дѣйствія литературы совпадаетъ съ другимъ, не менѣе важнымъ обстоятельствомъ — приближеніемъ ея къ настоящей, дѣйствительной жизни, съ избавленіемъ отъ всего призрачнаго и съ признаніемъ интересовъ истинныхъ и существенно-важныхъ. Любопытно было бы сдѣлать очеркъ всей русской литературы съ этой точки зрѣнія. Г. Милюковъ не могъ этого сдѣлать, потому что въ древней Руси онъ отвергаетъ всякое развитіе, а въ новой, послѣ-петровской, видитъ развитіе уже слишкомъ быстрое. Въ основаніи, конечно, и то и другое вполнѣ справедливо, особенно въ отношеніи къ поэзіи; но намъ кажется, что если мы согласимся вполнѣ съ первымъ, отрицательнымъ положеніемъ г. Милюкова, то окажется нѣсколько преувеличеннымъ второе положеніе — о новой поэзіи. Дѣло въ томъ, что и въ древней письменности все же замѣтно нѣкоторое расширеніе взгляда, доказывающее, что съ теченіемъ времени книжное дѣло начинаетъ интересовать уже большее количество лицъ, чѣмъ прежде, и что эти лица принадлежатъ къ болѣе разнообразнымъ кругамъ. Въ первое время письменность никого не интересовала, кромѣ духовенства, и ни для чего не нужна была, кромѣ распространенія истинъ вѣры. Другихъ потребностей еще не было въ обществѣ, и

вслѣдствіе того являются только книги священныя, богослужебныя и разсужденія о предметахъ, занимавшихъ только духовенство, и при томъ не русское, а византійское. Такимъ образомъ и являлись посланія противъ латинянъ, поученія о постѣ, о молитвѣ во храмѣ, объ иконахъ и пр., вызванныя не нуждами русской жизни, а возраженіями, которымъ эти предметы подвергались въ Византіи. Вскорѣ основаны были у насъ монастыри, и вслѣдъ затѣмъ явились монашескіе уставы, сочиненія о монашескомъ житіи и пр. Почти при самомъ же своемъ началѣ письменность не ограничивается уже, однако, исключительно религіозными интересами; она служитъ также орудіемъ власти свѣтской, хотя все еще не выходитъ изъ круга духовныхъ предметовъ. Владиміръ издаетъ уже «Уставъ о церковномъ судѣ», которымъ опредѣляется отчасти формальное отношеніе духовенства къ народу. Зато и со стороны духовенства является вскорѣ похвала кагану Владиміру, написанная митрополитомъ Иларіономъ (полов. XI ст.). Долгое время затѣмъ въ письменности русской видно почти исключительное проявленіе интересовъ княжескихъ и духовныхъ. Не говоря о поученіяхъ, посланіяхъ, грамотахъ монастырямъ и церквамъ, житіяхъ святыхъ, — даже древнія путешествія и лѣтописи отличаются тѣмъ же характеромъ. Путешествія предпринимались преимущественно на Востокъ, съ религіозной цѣлью; и на всѣ предметы смотрѣли наши древніе путешественники съ точки зрѣнія иноческой. Свѣтскіе интересы ихъ не занимали: игуменъ Даніилъ былъ въ Іерусалимѣ тогда, какъ имъ владѣли крестоносцы, видѣлся съ Балдуиномъ, и, не обративъ ни малѣйшаго вниманія на такое историческое событіе, какъ

крестовые походы, со всею теплотою души разсказалъ, какъ онъ ставилъ свое кадило, и пересчиталъ, за какихъ именно князей русскихъ онъ поставилъ его. То же и въ лѣтописяхъ: внесены сюда и проповѣдь грека-философа предъ Владиміромъ, и исповѣданіе Владимірово, и исторія построенія Печерской обители, и житіе Бориса и Глѣба, и множество текстовъ и духовныхъ разсужденій. Съ другой стороны, тщательно записывается время рожденія и смерти всякаго князя, описывается его нравъ, его наружность; его отношеніе къ духовенству никогда не забывается, — и только. Если отношеніе князя къ дружинѣ указывается, то лишь затѣмъ, чтобы восхвалить князя; дружина упоминается только къ слову. Если говорится, что князь былъ милостивъ и нищелюбивъ, то опять это говорится не потому, чтобы благо народное трогало душу лѣтописца, а потому, что этимъ доказывается дорогая для него мысль: «бѣ бо князь сей любя словеса книжная»; а въ словесахъ этихъ сказано: блаженъ мужъ милуяй, и т. п. Такимъ образомъ первые представители просвѣщенія въ Россіи, ставшіе выше массы народа, выражали въ письменности свои стремленія и интересы, тѣсно связанные одинъ съ другимъ и взаимно другъ друга поддерживавшіе. Но отношенія ихъ къ массѣ народа естественно вынуждали ихъ обратить вниманіе и на то, чтобы устроить сколько возможно лучше эти отношенія. Выраженіе этой потребности въ книжныхъ произведеніяхъ является, съ одной стороны, въ свѣтскомъ законодательствѣ, начинающемся весьма рано, съ «Русской Правды», а съ другой стороны — въ духовныхъ поученіяхъ, имѣющихъ нѣкоторое отношеніе къ жизни. Таковы были нравственныя наставленія о смиреніи,

терпѣніи, отреченіи всѣхъ благъ мірскихъ и покорности волѣ Божіей, и т. п. Бывало даже и болѣе прямое отношеніе къ народной жизни, очевидно вызванное обстоятельствами, имѣвшими значеніе въ глазахъ князей и духовныхъ. Такъ, напр., еще въ XI вѣкѣ, въ «Правилѣ» митрополита Іоанна находимъ статью противъ торговли рабами; такъ въ XII вѣкѣ, въ посланіи Никифора читаемъ увѣщаніе князю, чтобы онъ самъ входилъ во все и не слушалъ навѣтовъ людей, окружающихъ его. Въ XII и XIII вѣкахъ самыя лѣтописи нѣсколько болѣе начинаютъ обращать вниманія на положеніе народа: обстоятельство это, безъ сомнѣнія, произошло не безъ отношенія къ тому, что въ это время встрѣчаются между писателями многіе изъ бѣлаго духовенства, бывшіе, конечно, въ ближайшемъ соприкосновеніи съ народомъ, чѣмъ монахи. Для Нестора жизнь ограничивалась Печерскимъ монастыремъ; а для какого-нибудь попа Іоанна или пономаря Тимофея—не могла ограничиваться даже однимъ ихъ приходомъ. Поэтому-то мы и встрѣчаемъ, напр., въ Новгородской лѣтописи (подъ 1230 г.) подробное и живое описаніе дѣйствій голода на новгородскихъ жителей, съ замѣчаніями даже о цѣнѣ съѣстныхъ припасовъ. Далѣе кругъ людей грамотныхъ (значитъ, по-тогдашнему, образованныхъ) расширяется, какъ видно, и въ XIV—XV вѣкахъ предпринимаются и описываются путешествія уже свѣтскими людьми, какъ, напр., Стефаномъ Новгородскимъ, Василіемъ—гостемъ московскимъ, Афанасіемъ Никитинымъ — тверскимъ купцомъ; въ то же время организуются цѣлыя системы вѣроученія, противныя православію, и нерѣдко составлявшіяся безъ всякаго участія лицъ духовныхъ. Кругъ дѣятельности духовенства рас-

ширяется и находитъ себѣ предметъ, имѣющій дѣйствительное значеніе въ народѣ и вызванный явленіями самой жизни. Точка зрѣнія, разумѣется, остается та же, отвлеченно-возвышенная, безъ малѣйшаго приноровленія къ народнымъ нуждамъ и воззрѣніямъ, безъ всякаго живого взгляда на жизненныя отношенія, производящія то или другое явленіе въ народѣ. Но важно уже и то, что содержаніе письменности все-таки расширяется и обращается къ настоящему положенію дѣлъ: значитъ, въ самой жизни была сила, которая могла вывести даже книжную схоластику изъ ея мертвыхъ отвлеченій на поприще дѣятельности, хоть сколько-нибудь живой. Мало того, изъ среды самой массы поднимаются отголоски на явленія общественной и государственной жизни. Въ этомъ отношеніи интересны дошедшія до насъ двѣ различныя повѣсти о взятіи Пскова. Одна изъ нихъ составлена въ Москвѣ и восхваляетъ подвиги московскаго воинства, приходя въ негодованіе отъ своеволія псковитянъ. Другая повѣсть принадлежитъ псковичу и смотритъ на дѣло съ другой стороны: обвиняетъ московскаго намѣстника въ притѣсненіяхъ, князя въ вѣроломствѣ и сожалѣетъ объ утратѣ вольности. Это — несомнѣнный знакъ, что литературные интересы теперь уже такъ расширились, что въ письменности можетъ даже отражаться мнѣніе большинства народа въ противность покоряющей его силѣ. Въ XVI вѣкѣ размножаются частные лѣтописцы отдѣльныхъ областей, раздаются обличенія Максима Грека, направленныя даже противъ митрополита и самого царя, и кромѣ того это столѣтіе представляетъ намъ двѣ книги, въ высшей степени замѣчательныя «Домострой» и «Сказанія Курбскаго». «Домострой»

во всѣхъ своихъ воззрѣніяхъ вѣренъ старой рутинѣ, и съ этой стороны даетъ только новое доказательство того, какъ книжное ученіе портило у насъ самыя простыя и естественныя отношенія, какъ оно узаконяло собою множество нелѣпыхъ и грубыхъ понятій. Появленіе этой книги важно въ другомъ отношеніи: оно свидѣтельствуетъ, что въ XVI вѣкѣ чувствовали уже надобность примѣнить книжную мудрость и къ семейной жизни, слѣдовательно письменность служила уже не однимъ интересамъ церковнымъ и государственнымъ. Сказанія Курбскаго имѣютъ другое значеніе. Здѣсь и самый взглядъ на дѣло рѣзко отличается отъ того взгляда, который старались усвоить Россіи греческіе и огречившіеся наши книжники. Представителемъ этого взгляда является тутъ уже самъ Іоаннъ, бывшій, какъ извѣстно, весьма искуснымъ въ книжномъ ученіи. Въ перепискѣ его съ Курбскимъ весьма интересно слѣдить, какъ онъ располагаетъ арсеналомъ доводовъ, взятыхъ изъ книгъ того времени, для того чтобы оправдать свое поведеніе и во что бы то ни стало обвинить Курбскаго. Онъ силится доказать, что бояре, какъ и всѣ подданные, обязаны были до конца претерпѣть съ кротостью и незлобіемъ всѣ его жестокости; въ примѣръ подобной кротости приводитъ онъ раба Курбскаго, Василія Шебанова, который спокойно стоялъ предъ Іоанномъ, когда этотъ своимъ костылемъ пригвоздилъ его ногу къ полу и, облокотясь на костыль, читалъ письмо Курбскаго. Но Курбскій уже не убѣждается доводами Іоанна; у него другая точка опоры — сознаніе своего собственнаго достоинства. Взглядъ его не можетъ еще возвыситься до того, чтобы объяснить надлежащимъ образомъ и посту-

нокъ Грознаго съ Шебановымъ; нѣтъ, — Шебановъ пусть терпитъ, ему это прилично, и князю Курбскому дѣла нѣтъ до того, что приходится на долю Васьки Шебанова. Но съ собой, съ княземъ Курбскимъ, аристократомъ и доблестнымъ вождемъ, онъ не позволитъ такъ обращаться. За себя и за своихъ сверстниковъ-аристократовъ онъ мститъ Іоанну гласностью, исторіей. Книжное дѣло призывается теперь для служенія не одной духовной власти и правительственнымъ распоряженіямъ, а ужъ и для интересовъ иного класса — бояръ и высшихъ сановниковъ. Къ нимъ преимущественно относились жестокія казни и опалы Іоанновы; изъ ихъ среды и нашелся человѣкъ, который употребилъ оружіе слова для выраженія своего неудовольствія. Но въ Россіи того времени нельзя было написать того, что написалъ Курбскій; только въ наше время его сказанія могли быть повторены русскимъ исторіографомъ и изданы въ Россіи въ подлинномъ видѣ. Въ царствованіе Грознаго горькая истина должна была высказываться въ чужой землѣ, далеко отъ Россіи, въ которой вся письменность блуждала еще въ византійскихъ отвлеченіяхъ, не касаясь жизни. Книга Курбскаго первая написана отчасти уже подъ вліяніемъ западныхъ идей; ею Россія отпраздновала начало своего избавленія отъ восточнаго застоя и узкой односторонности понятій. Вслѣдъ за нею начинаются событія, болѣе и болѣе сближающія насъ съ Западомъ и оживляющія нашу литературную дѣятельность. Унія возбуждаетъ религіозные споры, не ограничивающіеся схоластическими преніями, но сопровождающіеся важными послѣдствіями въ самой жизни. Въ то же время, вмѣстѣ съ желаніемъ, съ той и другой стороны, доказать народу пре-

восходство своихъ мнѣній, является потребность дать ему средства къ образованію. И вотъ являются катехизисы для народа, руководства къ правой вѣрѣ и т. п. Но этого мало: надо дать возможность читателямъ понимать и обсуживать самимъ спорный вопросъ. Теперь уже нельзя ограничиться одними положеніями и запрещеніями: какъ скоро есть споръ, сомнѣніе, нужно, во что бы то ни стало, разсѣять его, подѣйствовавши на разсудокъ. А для разсудка нужны данныя, факты, знанія; и вотъ являются учебныя книжки, очевидно назначенныя для первоначальнаго образованія: грамматики, словаря, синопсисы и пр. Разумѣется, вездѣ, гдѣ можно было, во всѣхъ этихъ книжкахъ высказывался односторонній взглядъ той партіи, къ которой принадлежалъ авторъ; разумѣется само собою и то, что ни та, ни другая партія не заботилась ни о какихъ другихъ интересахъ, кромѣ своихъ собственныхъ, и что до народнаго блага имъ дѣла не было. Но важно здѣсь то, что книжники уже поставлены были въ такое положеніе, въ которомъ должны были допустить надобность нѣкотораго образованія и въ другихъ классахъ народа, не принадлежащихъ къ сословію, имѣвшему до того монополію книжнаго дѣла и вообще образованности. Въ этомъ отношеніи унія имѣла сходство съ реформаціею; при движеніи реформаціонныхъ идей, папы тоже поставлены были въ невозможность поддерживать свое значеніе запрещеніемъ народу читать Библію, оставленіемъ его въ невѣжествѣ и т. п. Все нужно было разъяснить, все выставить наружу. Конечно, движеніе, возбужденное уніею, не имѣло такихъ размѣровъ, какъ движеніе реформаціи, но все же оно имѣло съ нимъ нѣкоторое сходство, по своему

характеру. Оно выразилось преимущественно въ западной и южной Руси, но не могло не коснуться сѣверо-восточнаго края, тѣмъ болѣе, что онъ пришелъ съ западомъ въ ближайшее соприкосновеніе во время самозванцевъ. Тутъ интересъ былъ еще ближе къ жизни, нежели въ западной Руси во время уніи; обращеніе къ народу еще необходимѣе, чѣмъ тамъ. Книжники должны были понять теперь, какъ слабы узы, доселѣ державшія старый порядокъ: онѣ разорваны были самимъ народомъ при первомъ появленіи призрака, принявшаго имя законнаго государя. Видя, что невѣдѣніе народа о самыхъ простыхъ вещахъ гибельно дѣлается для тѣхъ самихъ, которые его воспитывали; догадавшись, наконецъ, что невѣжество не надежно, что на него нельзя положиться ни въ чемъ, потому что оно постоянно можетъ служить орудіемъ въ рукахъ перваго обманщика, книжники рѣшились вразумлять народъ относительно нѣкоторыхъ предметовъ: толковали ему о самозванцахъ, разсказывали исторію Годунова и Димитрія, писали увѣщательныя грамоты и пр. Грамоты и повѣствованія эти читали теперь уже не только духовенство и правительственные люди: книжность спустилась уже и въ классъ мелкаго чиновничества, которое не только читало, но даже и само принялось сочинять. Много произведеній XVIII вѣка принадлежитъ въ Россіи дьякамъ, подъячимъ, переводчикамъ приказовъ и другимъ чиновникамъ. Одно изъ такихъ сочиненій, написанное опять-таки не въ Россіи, а въ чужой землѣ русскимъ подъячимъ посольскаго приказа, выходитъ изъ ряда обыкновенныхъ произведеній старой Руси и обнаруживаетъ уже замѣчательную силу анализирующей мысли. Мы говоримъ о Кошихинѣ.

У него уже взглядъ болѣе широкій, болѣе человѣчный, чѣмъ у всѣхъ русскихъ, до него писавшихъ о Россіи даже въ отрицательномъ духѣ. Онъ является образованнымъ представителемъ интересовъ средняго сословія, надъ которымъ налегло старинное барство съ своимъ невѣжествомъ и спесью. У Кошихина ужъ не тѣ идеи, что у Курбскаго: онъ уже сожалѣетъ и о грубости семейныхъ отношеній, и о невѣжествѣ высшаго класса, и объ административныхъ обманахъ, и о жестокости пытки, и объ отчужденіи Россіи отъ Европы. И замѣчательна его точка зрѣнія: въ немъ нѣтъ непріязни къ Россіи, онъ не смотритъ на ея недостатки какъ на нераздѣльные съ природою народа, онъ объясняетъ ихъ обстоятельствами, отношеніями различныхъ классовъ между собою, и тому подобное. Такъ, напримѣръ, говоря о безстыдствѣ и невѣжествѣ бояръ, Кошихинъ объясняетъ его тѣмъ, что они наученья никакого не принимаютъ отъ другихъ народовъ; не принимаютъ же потому, что обычая не повелось ѣздить за границу, изъ опасенія нарушить чистоту вѣры и старые обычаи. «Россійскаго государства люди породою своею спесивы и необычайные ко всякому дѣлу, понеже въ государствѣ своемъ поученія никакого добраго не имѣютъ и не пріемлютъ, кромѣ спесивства, и безстыдства, и ненависти, и неправды. Понеже для науки и обычая въ иныя государства дѣтей своихъ не посылаютъ, страшась того: узнавъ тамошнихъ государствъ вѣру и обычаи, начали бъ свою вѣру отмѣнять и приставать къ инымъ, и о возвращеніи къ домамъ своимъ и къ сродичамъ никакого бы попеченія не имѣли и не мыслили . . А который бы человѣкъ, князь или бояринъ, или ктонибудь, самъ, или сына, или брата своего, послалъ

для какого-нибудь дѣла въ иное государство, безъ вѣдомости, не бивъ челомъ государю, и такому бъ человѣку за такое дѣло поставлено было въ измѣну, и вотчины, и помѣстья, и животы взяты бъ были на царя; и ежели бъ кто самъ поѣхалъ, а послѣ его осталися сродственники, и ихъ пытали бъ, не вѣдали ли они мысли сродственника своего; или бъ кто послалъ сына, или брата, или племянника, и его потому жъ пытали бъ, для чего онъ послалъ въ иное государство, не напроваживаючи ль какихъ воинскихъ людей на московское государство, хотя государствомъ завладѣти или для какого иного воровскаго умышленія по чьему наученію, и пытавъ того такимъ же обычаемъ» (41 стр.). Этотъ отзывъ привели мы для того, чтобы показать, что уже въ половинѣ XVII вѣка сознавалась людьми средняго сословія необходимость разумныхъ заимствованій отъ Европы. Сужденіе Кошихина можетъ, пожалуй, показаться исключительнымъ явленіемъ; но здѣсь важно не то, во сколькихъ лицахъ мысль выразилась, а то, что она могла появиться въ это время, и появиться какъ естественный выводъ изъ данныхъ, существовавшихъ въ самой жизни. Значитъ, жизнь уже сама по себѣ вела къ сближенію съ Западомъ и къ заимствованію его знаній и обычаевъ; и, значитъ, совершенно напрасно утверждаютъ нѣкоторые, что мѣры Петра шли совершенно наперекоръ естественному ходу нашей исторіи. Онъ, конечно, ускорилъ движеніе, и еще, можетъ быть, отъ него зависѣла отчасти форма, въ которой проявилось заимствованіе. Но, зная нѣсколько относящихся сюда фактовъ изъ временъ, предшествовавшихъ Петру, нельзя не убѣдиться, что и здѣсь отъ естественнаго хода дѣлъ зависѣло болѣе, чѣмъ

отъ личной воли преобразователя. Обыкновенно петровской реформѣ дѣлаютъ тотъ упрекъ, что, совершивши сближеніе наше съ Европой слишкомъ быстро, Петръ не далъ установиться у насъ на этотъ счетъ здравымъ и солиднымъ идеямъ, а все подражаніе обратилъ только къ одной формѣ, къ внѣшности. Фактъ самъ по себѣ справедливъ. Но невозможно приписывать его только вліянію быстроты петровской реформы: какъ бы медленно мы ни заимствовали, все-таки стали бы заимствовать сначала только внѣшность: таково было состояніе просвѣщенія даже въ высшихъ классахъ, которые болѣе другихъ имѣли средствъ къ сближенію съ «иныхъ государствъ людьми». Одни, какъ видно изъ Кошихина, вовсе не хотѣли тогда ничего иностраннаго; другіе же, какъ видно изъ фактовъ, признавали необходимость введенія нѣкоторыхъ вещей на иностранный маперъ, — но на какіе же предметы обращалось ихъ вниманіе? Изъ-за границы выписывали отличныхъ архитекторовъ, кое-какихъ музыкантовъ и комедіантовъ, которые «комедь ломали», и т. п. Развѣ это не внѣшность была? И развѣ этимъ путемъ Русь вѣрнѣе могла дойти до истинныхъ началъ образованности, чѣмъ путемъ обширной, всеобщей реформы, предпринятой Петромъ? Напротивъ, при этихъ-то мелочныхъ заимствованіяхъ, удовлетворявшихъ вкусу немногихъ бояръ, которые желали воспользоваться европейскою образованностью для собственной потѣхи, Русь всего менѣе могла бы успѣть въ своемъ развитіи; тогда какъ реформа Петра, взволновавши давнишній застой Руси, разорвавши узы, которыми связывали всѣхъ остатки мѣстничества и другіе боярскіе предразсудки и обычаи, давши больше про-

стора всѣмъ классамъ, значительно ускорила ходъ самой образованности, которая до того подвигалась такимъ медленнымъ, едва примѣтнымъ шагомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ раздвинула и предѣлы литературы. Въ періодѣ послѣ-петровскомъ литературное развитіе, не отступая отъ своего главнаго хода, идетъ гораздо быстрѣе, чѣмъ прежде, хоть не до такой степени быстро, какъ полагаетъ г. Милюковъ.

Мы чувствуемъ, что читатели уже недовольны нами за то, что мы такъ долго останавливаемъ ихъ вниманіе на предметѣ, не имѣющемъ ни малѣйшаго соотношенія ни съ однимъ изъ животрепещущихъ вопросовъ, волнующихъ современное общество. Мы знаемъ, что теперь, когда умы всѣхъ обращены къ интересамъ первой важности — къ отмѣненію крѣпостного права, къ гласности, злоупотребленіямъ между чиновниками, недостаткамъ воспитанія и образованія и т. п., теперь немногіе захотятъ взглянуть въ статью, толкующую о вопросахъ литературныхъ, не касающихся жизни. Знаемъ мы, что плохое время выбрали для своей скромной статьи, столь далекой отъ всѣхъ общественныхъ вопросовъ. Но что же дѣлать, если дѣло литературы такъ мило намъ, — хоть насъ и бранятъ за мнимое пренебреженіе къ ней, — если судьбы ея такъ насъ занимаютъ, что мы не умѣемъ остановиться, разъ заговоривши о ней. А говоря объ ея историческихъ судьбахъ, что же могли бы мы сказать интереснаго для современныхъ читателей, когда общественные вопросы до самаго послѣдняго времени были чужды нашей литературѣ, когда она держалась совершенно особнякомъ и существовала «для немногихъ»? Впрочемъ, мы чувствуемъ, что оправданія наши

очень неудовлетворительны, и, сознавая свою вину, постараемся кончить наши замѣтки какъ можно скорѣе, такъ какъ въ дальнѣйшемъ развитіи нашей литературы (нужно предупредить читателя) интересы, волнующіе нынѣ общество, оставались почти въ той же неприкосновенности, какъ было и до Петра.

Познакомившись съ нравами и государственнымъ устройствомъ другихъ народовъ, Петръ увидѣлъ, какъ важно образованіе народное для блага цѣлаго царства. Поэтому постоянной заботой его было водвореніе въ Россіи образованія по примѣру Европы. Лучшимъ средствомъ для распространенія образованности онъ справедливо считалъ книги, и въ его время письменность русская является рѣшительно провозвѣстницею воли монарха для подданныхъ. Онъ понялъ, что при заботѣ о просвѣщеніи народа необходимо призвать на помощь живое убѣжденіе, и это убѣжденіе распространялъ посредствомъ книгъ. Всякое событіе его царствованія, всякій новый законъ, новое распоряженіе, находили себѣ объясненіе и оправданіе въ произведеніяхъ письменности. Такъ являются во время Петра книга «О причинахъ, какія имѣлъ онъ къ началію войны со шведами», «Правда воли монаршей о наслѣдованіи престола», множество регламентовъ, спеціальныхъ книгъ по части инженерной, артиллерійской, морской и пр., наконецъ «Вѣдомости», въ которыхъ въ первый разъ русскіе увидали всенародное объявленіе событій военныхъ и политическихъ. Всѣ новыя потребности, возбужденныя Петромъ, непремѣнно, по его же мысли и желанію, сопровождались книжными явленіями, которыя такимъ образомъ служили разумнымъ оправданіемъ мѣръ, принятыхъ

правительствомъ. Почти всѣ книги такого рода были изданы не частными людьми, а по распоряженію самого же правительства; но самая возможность писать о всяческихъ предметахъ, начиная съ политическихъ новостей и оканчивая устройствомъ какой-нибудь лодки, — расширила кругъ идей литературныхъ и вызвала на книжную дѣятельность многихъ, которые въ прежнее время никогда бы о ней и не подумали. Замѣчательнѣйшимъ явленіемъ въ тогдашней письменности былъ, безъ сомнѣнія, крестьянинъ Посошковъ, рѣшившійся разсуждать самоучкой о вопросахъ политической экономіи, — о средствахъ умножить избытокъ въ народѣ и отвратить скудость. Не говоря о точкѣ зрѣнія Посошкова, которая, можетъ быть, не совсѣмъ удовлетворитъ требованіямъ живой народной науки, — замѣтимъ здѣсь только о томъ, какъ въ этомъ случаѣ простой здравый смыслъ русскаго человѣка сошелся съ результатами, добытыми наконецъ въ многолѣтнихъ опытахъ и изслѣдованіяхъ людей ученыхъ. Посошковъ принялся за разсужденія о богатствѣ народномъ просто потому, что этотъ предметъ былъ къ нему ближе всякаго другого и проще для него; а между тѣмъ этотъ самый предметъ составляетъ науку, служащую вѣнцомъ всѣхъ такъ называемыхъ общественныхъ наукъ. Справедливость требуетъ, впрочемъ, сказать, что Посошковъ, хотя и крестьянинъ, не былъ вполнѣ представителемъ своего класса, а скорѣе выходцемъ изъ него: онъ занималъ какую-то начальственную должность, и въ его разсужденіяхъ, вмѣсто естественнаго побужденія прямыхъ нуждъ народныхъ, видны нерѣдко разные административные виды. То, что въ маленькихъ размѣрахъ примѣтно у Посошкова, въ

колоссальномъ видѣ выказалось у другого крестьянина, который, благодаря Петровой реформѣ, получилъ возможность выучиться разнымъ наукамъ, побывалъ за границей и сдѣлался тоже выходцемъ изъ своего сословія. Ломоносовъ сдѣлался ученымъ, поэтомъ, профессоромъ, чиновникомъ, дворяниномъ, чѣмъ вамъ угодно, но ужъ никакъ не человѣкомъ, сочувствующимъ тому классу народа, изъ котораго вышелъ онъ. Иначе, впрочемъ, и не могло быть въ то время, хотя Петръ и уничтожилъ китайскую стѣну, отдѣлявшую до него боярина отъ окольничаго, окольничаго отъ думнаго человѣка, и т. д., хотя онъ, признавши права заслугъ и образованія, далъ всѣмъ просторъ идти впередъ, — но не могли же всѣ вдругъ пріобрѣсть образованіе и отличиться заслугами. Всего легче могли воспользоваться средствами образованія опять-таки дѣти бояръ, окольничихъ и т. п. Низшія сословія могли также высылать теперь на состязаніе своихъ избранныхъ, но состязаніе во всякомъ случаѣ было неравное, и эти избранные все-таки оставались едва замѣтными исключеніями изъ цѣлой массы. Если русская аристократія петровскаго времени не стала во главѣ цѣлой націи по своей образованности и нравственному превосходству, то причина этого заключается, конечно, ужъ не въ недостаткѣ матеріальныхъ средствъ, а просто въ разъѣдающемъ и отупляющемъ вліяніи нашего стариннаго барства. Впрочемъ, если не по умственнымъ совершенствамъ, то по своему общественному положенію, по табели о рангахъ боярство все-таки завладѣло тогда литературою, и она, не сдѣлавшись непосредственнымъ достояніемъ высшихъ классовъ, какъ была прежде достояніемъ духовенства, постоянно однако-

же употреблялась посредственно къ ихъ услугамъ. Мы говоримъ здѣсь о меценатствѣ, которое такъ распространилось у насъ во времена послѣ Петра и дѣлало Россію отчасти похожею въ нѣкоторыхъ отношенияхъ на Римъ временъ имперіи и послѣднихъ годовъ республики. Князь Кантемиръ, принадлежавшій еще къ вѣку самого Петра, и при томъ самъ аристократъ, держался довольно независимо, и по влеченію сердца воспѣвалъ правительственныя и общественныя реформы Петра. Но Ломоносовъ имѣлъ уже своихъ *милостивцевъ,* въ угоду которымъ сочинялъ разныя «стиховныя штуки», какъ говорилъ Тредьяковскій. Ломоносовъ много сдѣлалъ для успѣховъ науки въ Россіи; онъ положилъ основаніе русскому естествовѣдѣнію, онъ первый составилъ довольно стройную систему науки о языкѣ; но въ отношеніи къ общественному значенію литературы онъ не сдѣлалъ ничего. Какъ до него схоластическая поэзія ограничивалась изображеніемъ «Орла россійскаго», или сочиненіемъ аллегорическаго «Плача и утѣшенія» въ виршахъ Симеона Полоцкаго и Сильвестра Медвѣдева, такъ точно и у Ломоносова поэзія не шагнула дальше дидактическаго правоученія да напыщеннаго воспѣванія бранныхъ подвиговъ. Дѣйствительной жизни онъ не хотѣлъ знать и даже полагалъ, кажется, что о ней можно говорить не иначе какъ низкимъ слогомъ, котораго долженъ избѣгать порядочный писатель. Нельзя же было, въ самомъ дѣлѣ, разсказывая хоть бы, напримѣръ, о затрудненіяхъ мужика, у котораго послѣдняя лошадь пала, возвыситься до того паѳоса, до какого доходили наши поэты, описывая ужинъ и фейерверкъ, данный знатнымъ бояриномъ. Тутъ уже не только чувства не тѣ, самый языкъ не тотъ

будетъ. Возвышеннымъ, краснорѣчивымъ, витіеватымъ слогомъ можно воспѣвать только высокія явленія жизни — взятіе непріятельскаго города, отбитіе у врага нѣсколькихъ пушекъ, торжество по случаю побѣды, иллюминацію, раздачу наградъ и т. п. Вслѣдствіе такихъ соображеній, лучшіе представители тогдашней литературы старались, такъ сказать, вести себя сколько можно аристократичнѣе въ отношеніи къ низкимъ предметамъ и къ «подлому народу», какъ называли тогда публику, не принадлежащую къ высшему кругу. Ломоносовъ, правда, говоритъ иногда судіямъ земнымъ, чтобъ они блюлись отъ буйности и подданныхъ не презирали, а наблюдали народную льготу; но это говорится такъ en masse, въ видахъ отвлеченной добродѣтели и справедливости и отчасти даже для краснаго словца, а ничуть не по глубокому сердечному сочувствію къ нуждамъ народа. Такъ точно Сумароковъ возставалъ противъ невѣжества, спеси дворянской, взяточничества и т. п. и въ то же время сочинялъ трагедіи, въ которыхъ разные герои, владыки и ихъ наперстники вѣщали высокимъ слогомъ нелѣпѣйшія безсмыслицы. Тѣ, противъ кого писалъ Сумароковъ грозныя сатиры, слушали эти нелѣпости и хвалили, зная, что авторъ въ милости у знатныхъ особъ; а простая публика, видя, что тутъ для нея ничего нѣтъ, преоткровенно грызла орѣхи во время представленія. Тутъ уже Сумароковъ пришелъ въ истинное негодованіе и отъ души высказалъ, что этотъ «подлый народъ» не стоитъ чести смотрѣть трагедіи россійскаго Корнеля и Расина, и что сей подлый народъ есть необразованная скотина, не признающая даже такихъ авторитетовъ, какъ г. Вольтеръ и онъ, г. Сумароковъ. Но Сума-

рокову еще можно простить: у него ужъ такой нравъ былъ; онъ всѣхъ ругалъ сколько силъ хватало, хотя самъ и восхищался очень наивно своимъ чиномъ и кавалерствомъ. Можно, съ другой стороны, простить и пресмыканіе предъ знатными какому-нибудь Тредьяковскому, котораго можно было высѣчь за непоставку къ сроку оды на маскарадъ: это ужъ былъ человѣкъ убитый; его такъ всѣ и принимали за шута. О всѣхъ этихъ Петровыхъ, Костровыхъ и т. п. говорить нечего: они только и жили милостивцами, стараясь потѣшать ихъ невѣжество то великолѣпной стиховной галиматьей, то собственной фигурою. Такъ, въ Римѣ, послѣ покоренія имъ Греціи, образованные рабы, гувернеры, піиты и вмѣстѣ съ тѣмъ шуты и полные невольники невѣжественныхъ патриціевъ служили имъ своимъ умомъ, образованностью, ловкостью и вмѣстѣ щеками и спиною. Учиться и работать считалось въ тогдашнемъ Римѣ недостойнымъ патриція; наука и работа признавались и въ тогдашней Россіи недворянскимъ дѣломъ. Высшій классъ выпустилъ изъ головы своей мысль объ образованности и думалъ удержать ее въ своихъ рукахъ посредствомъ подачекъ своимъ паразитамъ, торговавшимъ дарами просвѣщенія. Къ удивленію находимъ, что барамъ нашимъ продѣлка ихъ удавалась очень долго. Г. Милюкову кажется, что Державинъ цѣлымъ вѣкомъ отдѣленъ отъ Ломоносова; но мы никакъ этого не находимъ. Державина сама императрица приняла подъ свое покровительство; но и тутъ не избавила его отъ необходимости отыскивать милостивцевъ, которыхъ производилъ онъ и въ геркулесы, и въ гиганты, и чуть не въ полубоги. Что же касается до взгляда на народъ, его нужды и отноше-

нія, то Державинъ подвинулся не много со временъ Ломоносова или даже Симеона Полоцкаго. Довольно припомнить его восклицаніе:

> Прочь, дерзка чернь, непросвѣщенна,
> И презираемая мной!

Восклицаніе, нужно признаться, не совсѣмъ гуманное, какъ и вообще произведенія Державина, носящія на себѣ отпечатокъ то отвлеченной мертвой схоластики, то эпикурейскихъ ощущеній, не очищенныхъ ни изящнымъ вкусомъ, ни здравой мыслью, то придворнаго шутовства въ духѣ нравовъ того времени. Нѣтъ, мы рѣшительно несогласны съ г. Милюковымъ, будто отъ Ломоносова до Державина совершилось какое-то громадное развитіе въ русской поэзіи. Если развитіе и было, то самое ничтожное, да и то скорѣе въ отношеніи къ внѣшности, къ формѣ выраженія, а ужъ никакъ не въ отношеніи къ развитію и расширенію содержанія. Какъ прежде воспѣвались отвлеченныя добродѣтели и совершенства, такъ и теперь—только еще утомительнѣе. Ни одна изъ нравственныхъ одъ Ломоносова не можетъ поравняться величиной съ подобными же одами Державина, изъ которыхъ въ иныхъ нѣтъ ли, пожалуй, стиховъ до тысячи. Какъ прежде поэтъ падалъ ницъ, въ нѣмомъ восторгѣ, предъ мужемъ брани, мѣряя свое благоговѣніе числомъ людей, убитыхъ подъ его начальствомъ, такъ точно и теперь, — да еще восторженнѣе прежняго. Какъ прежде на всемірныя событія смотрѣли изъ маленькой форточки своего узенькаго окошечка съ рѣшоткой и мѣряли всю землю собственной четвертью, такъ и теперь кругъ зрѣнія нисколько не расширился. Довольно привести одинъ фактъ. Державинъ былъ

кѣмъ-то обиженъ, и написалъ «*Оду на коварство*». Черезъ три года произошла французская революція, онъ придѣлалъ къ своей «Одѣ на коварство» нѣсколько строфъ и пустилъ ее въ свѣтъ подъ названіемъ: «Ода на коварство французскаго возмущенія». Не удовольствуясь этимъ, онъ пришилъ къ ней еще похвалу князю Пожарскому. Такія воззрѣнія существовали у русскихъ поэтовъ прошедшаго вѣка!..

На кого еще указать изъ этого же періода литературы? На Хераскова и Княжнина? У нихъ еще менѣе народности, еще менѣе возвышенія до интересовъ общественныхъ, чѣмъ у Державина. Предметы поэмъ Хераскова и трагедій Княжнина уже сами собою показываютъ, какъ мало чуяли духъ русской народности сіи высокопарные піиты, пѣвшіе «отъ варваровъ Россію освобожденну» и гремѣвшіе своими Росславами. Выборъ событій миѳологическихъ или ненародныхъ, отвлеченная точка зрѣнія, стараніе дѣлать намеки, пріятные высшимъ (какъ, напр., въ «Титовомъ милосердіи»), все это обличало отчужденіе отъ народности, пренебреженіе къ нуждамъ и страданіямъ людей, если они только не пользуются громкими титулами.

О Карамзинѣ говорили у насъ какъ о писателѣ народномъ, впервые коснувшемся родной почвы, спустившемся изъ области мечтаній къ живой дѣйствительности. Правда ли все это? Можно ли сказать, что Карамзинъ избавился отъ призраковъ, которые тяготѣли надъ его предшественниками, и взглянулъ на дѣйствительную жизнь свѣтло и прямо? Едва ли. Правда, державинское и ломоносовское пареніе является у Карамзина уже весьма слабо (а все-таки является); правда и то, что онъ изображаетъ нѣж-

ныя чувства, привязанность къ природѣ, простой бытъ. Но какъ все это изображается! Природа берется изъ Армидиныхъ садовъ, нѣжныя чувства — изъ сладостныхъ пѣсенъ труверовъ и изъ повѣстей Флоріана, сельскій бытъ — прямо изъ счастливой Аркадіи. Точка зрѣнія на все попрежнему отвлеченная и крайне аристократическая. Главная мысль та, что умѣренность есть лучшее богатство и что природа каждому человѣку даетъ даромъ такія наслажденія, какихъ ни за какія деньги получить невозможно. Это проповѣдуетъ человѣкъ, живущій въ довольствѣ и который, послѣ вкуснаго обѣда и пріятной бесѣды съ гостями, садится въ изящномъ креслѣ, въ комнатѣ, убранной со всѣми прихотями достатка, описывать блаженство бѣдности на лонѣ природы. Выходитъ умилительная картина, въ которой есть слова: природа, простота, спокойствіе, счастье, но въ которой на дѣлѣ нѣтъ ни природы, ни простоты, а есть только самодовольное спокойствіе человѣка, не думающаго о счастьѣ другихъ. Отчего происходило это? Неужели писатели карамзинской школы въ самомъ дѣлѣ полагали, что наши сѣверные поселяне похожи на аркадскихъ пастушковъ; неужели они не видѣли, что въ простомъ народѣ есть свои нужды, свои стремленія, есть нищета и горе житейское, а не призрачное? Конечно, они это знали и видѣли; но имъ казалось, что этого незачѣмъ вносить въ литературу, что это будетъ даже неприлично и смѣшно. Такъ въ наше время что сказали бы мы о писателѣ, который бы описалъ съ паѳосомъ и подробностью страданія лошади, оторванной отъ корму, запряженной противъ воли въ карету и принужденной ударами кнута ѣхать, куда ей вовсе не хочется?

Такъ въ карамзинское время дико было снисходить до истинныхъ чувствъ и нуждъ простого класса. Въ самой исторіи Карамзинъ держится постоянно той точки зрѣнія, которая выразилась въ заглавіи его творенія: «Исторія *Государства* Россійскаго». Черезъ 20 лѣтъ послѣ него Полевой хотѣлъ писать исторію русскаго *народа;* но ему весьма плохо удалось его дѣло. Нельзя, впрочемъ, винить ни его за неудачу, ни Карамзина за его образъ воззрѣнія. Исторія не сочиняется, а составляется по даннымъ, сохранившимся болѣе всего въ письменныхъ памятникахъ. А что представляла историку наша древняя письменность? Мы уже видѣли, что въ ней принимали участіе только два малочисленнѣйшіе класса народа, и ихъ только интересы выражались въ ней. Слѣдовательно, исторіи народа по даннымъ лѣтописнымъ составить было невозможно, если человѣкъ не умѣлъ, какъ говорится, читать между строкъ. А Карамзинъ если и имѣлъ отчасти это искусство, то единственно для проведенія своей главной идеи о государствѣ. Такимъ образомъ нашелъ онъ, что Іоаннъ III въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ выше Петра Великаго; такимъ образомъ умѣлъ провести нить великихъ князей кіевскихъ, а потомъ владимірскихъ черезъ весь удѣльный періодъ; такимъ образомъ порядку государственному онъ противополагалъ свободу народную; не умѣвши понять, что они нераздѣльны и взаимно другъ друга поддерживаютъ, онъ говорилъ: народы дикіе любятъ свободу, народы просвѣщенные любятъ порядокъ . . . До какой степени Карамзинъ сблизилъ русскую литературу съ дѣйствительностью, видно изъ твореній его поклонника и послѣдователя — Жуковскаго. Мечтательность, призраки, стремленіе къ чему-то невѣдомому, на-

дежда на успокоеніе тамъ, въ заоблачномъ туманѣ, патріотическія чувства, обращенныя къ русскимъ шлемамъ, панцырямъ, щитамъ и стрѣламъ, соединеніе державинскаго паренія съ сантиментальностью Коцебу — вотъ характеристика романтической поэзіи, внесенной къ намъ Жуковскимъ. Одно только изъ русской народности воспроизвелъ Жуковскій (въ «Свѣтланѣ»), и это одно — суевѣріе народное. И, кажется, только въ этомъ отношеніи романтическая поэзія и могла соприкасаться съ нашимъ народнымъ духомъ; во всемъ остальномъ она отдѣлялась отъ него неизмѣримой пропастью.

И однакоже Карамзинъ и Жуковскій получили въ русскомъ обществѣ такое значеніе, какого не имѣлъ ни одинъ изъ предшествовавшихъ писателей. Чѣмъ же объяснить это? Тѣмъ, разумѣется, что оба они удовлетворяли потребностямъ того общества, которое ихъ читало. Вопросъ остается за тѣмъ, что это было за общество? Говорятъ, что Карамзина и Жуковскаго любитъ и знаетъ вся Россія, и этому вѣрятъ зѣло ученые люди, которые полагаютъ, что они-то ученые и образованные и составляютъ Россію, а все остальное, находящееся внѣ нашего круга, вовсе недостойно имени русскаго. Коренная Россія не въ насъ съ вами заключается, господа умники. Мы можемъ держаться только потому, что подъ нами есть твердая почва — настоящій русскій народъ; а сами по себѣ мы составляемъ совершенно непримѣтную частичку великаго русскаго народа. Вы, можетъ быть, намѣрены возразить мнѣ, заговоривши о преимуществахъ образованности, которая даетъ человѣку власть надъ неодушевленной природой, надъ неразумными животными, возвышаетъ насъ надъ толпой. Но погодите

хвалиться вашей образованностью, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока вы не найдете средствъ обходиться безъ этой толпы, или давать ей столько же, сколько она вамъ даетъ. Всякій законъ, всякое пріобрѣтеніе, всякое положеніе, всякая вещь наконецъ — тѣмъ лучше, чѣмъ большему количеству личностей или предметовъ доставляетъ пользу или удобство. А это что же за великое явленіе, которое въ теченіе вѣковъ все ограничивается сотнями и тысячами людей, не обращая вниманія на милліоны!.. И повѣрьте, что эти милліоны вовсе не виноваты въ своемъ невѣжествѣ: не они отчуждаются отъ знанія, отъ искусствъ, отъ поэзіи, — а ихъ чуждаются и презираютъ тѣ, которые успѣли захватить умственное достояніе въ свои руки. Если же имъ и даютъ что-нибудь, въ родѣ мертвыхъ схоластическихъ стиховъ вмѣсто живой народной поэзіи, то народъ естественно отвращается отъ подобныхъ прелестей, какъ вовсе не подходящихъ къ его потребностямъ и къ его положенію. Кѣмъ же ограничивалась литература даже во времена Карамзина и Жуковскаго? Кругъ людей, требованіямъ которыхъ удовлетворяли эти писатели, былъ, правда, шире прежняго. Ломоносовскія и державинскія оды восхвалялись и повторялись только людьми, не чуждыми придворной жизни; повѣсти Карамзина и баллады Жуковскаго перечитывались, можно сказать, по всемъ дворянскомъ кругѣ. Это и составляетъ значительный шагъ впередъ, сдѣланный карамзинскою школою. Вмѣстѣ съ тѣмъ она неизбѣжно должна была теперь нѣсколько спуститься къ дѣйствительности, — хотя все еще далеко не достигла ея. Что въ прежней, пиндарической школѣ было призрачное величіе, то здѣсь — призрачная

нѣжность; тамъ великолѣпіе, здѣсь достатокъ; тамъ громъ и молнія, здѣсь роса и радуга; тамъ фейерверки, здѣсь каскады; тамъ трубы и кимвалы, грохочущія славу князей на удивленіе смертныхъ; здѣсь арфы, призывающія простыхъ дѣтей природы наслаждаться чувствительностью. Здѣсь приближеніе къ дѣйствительной жизни находимъ мы по крайней мѣрѣ въ томъ, что уже менѣе возбуждаются всякія страшилища и разрушители земного счастья. Литература сама еще не смѣетъ подойти къ дѣйствительности и объявить себя на сторонѣ настоящаго положенія вещей; но уже съ меньшей охотой, чѣмъ прежде, восхваляетъ она то, что противорѣчитъ естественному порядку дѣлъ. Въ литературѣ видимо является наклонность къ примиренію съ жизнью и характеръ консервативный. Теперь, если недовольство дѣйствительнымъ міромъ и является, то уже не во имя какихъ-нибудь громкихъ, исключительныхъ явленій, а во имя чего-то «очарованнаго», какъ выражался Жуковскій, во имя какихъ-то глубочайшихъ стремленій человѣческаго духа, которыхъ, однакоже, поэтъ и самъ не сознавалъ хорошенько. Такая перемѣна необходимо должна была явиться при расширеніи круга людей, интересующихся литературою. Очевидно, что въ древнія времена какой-нибудь скальдъ, для котораго весь міръ заключался въ высокородномъ рыцарѣ, — его господинѣ и милостивцѣ, — могъ безъ зазрѣнія совѣсти, съ самымъ искреннимъ восторгомъ, пѣть его бранные подвиги, оставаясь совершенно равнодушнымъ къ страданіямъ человѣчества. Его вѣдь никто и не слышалъ изъ этого человѣчества; онъ пѣлъ для своего рыцаря и его дружины. Если же какіе-нибудь скованные плѣнники и при-

сутствовали тутъ же во время пѣсни, то ихъ стоны и проклятія только возвышали славу пѣвца и удовольствіе доблестнаго рыцаря съ дружиною. Нельзя было оставаться при такомъ же направленіи въ то время, когда не одна рыцарская дружина, но уже и мирные граждане стали интересоваться поэтическими созданіями. Нужно было и ихъ потѣшить чѣмъ-нибудь, и вотъ является, для ихъ удовольствія украшенная природа, граціозныя китайскія куколки, изящныя чувства и т. п. Это было — неудачный суррогатъ дѣйствительности, на которую явилась уже потребность, но которую боялись дать живьемъ, боясь оскорбить отвлеченныя требованія искусства.

Батюшковъ, любившій дѣйствительную жизнь, какъ эпикуреецъ, но тоже боявшійся пустить ее въ ходъ прямо, увидѣлъ, однако, что наши попытки на созданіе золотого вѣка изъ простой жизни никуда не годятся. Онъ пошелъ по другой дорогѣ, и въ своей недолгой литературной дѣятельности выразилъ такое умозаключеніе: «вы боитесь изображать просто природу и жизнь, чтобы не нарушить требованій искусства; но у древнихъ вы признаете соблюденіе правилъ искусства; смотрите же, я буду вамъ изображать жизнь и природу на манеръ древнихъ. Это все-таки будетъ лучше, чѣмъ выдумывать самимъ вещи, ни на что не похожія». Это дѣйствительно было лучше, но все-таки было еще плохо, тѣмъ болѣе, что у насъ почти не было людей, которые могли бы сказать, такъ ли Батюшковъ изображаетъ міръ и жизнь, какъ древніе, — или вовсе не похоже на нихъ.

Пушкинъ пошелъ дальше: онъ въ своей поэтической дѣятельности первый выразилъ возможность представить, не компрометируя искусства, ту самую

жизнь, которая у насъ существуетъ, и представить именно такъ, какъ она является на дѣлѣ. Въ этомъ заключается великое историческое значеніе Пушкина. Но и въ Пушкинѣ проявилось это не вдругъ, и при томъ проявилось не съ тою широтой взгляда, какой можно бы ожидать отъ художественной личности. Карамзинская опрятность, мечтательность Жуковскаго и эпикуреизмъ Батюшкова сильно проглядываютъ въ немъ; а къ этому присоединяется еще вліяніе Байрона, котораго, какъ справедливо замѣчаетъ г. Милюковъ, Пушкинъ не понялъ и не могъ понять какъ по основѣ собственнаго характера, такъ и по характеру общества, окружавшаго его. Натура неглубокая, но живая, легкая, увлекающаяся и при томъ, вслѣдствіе недостатка прочнаго образованія,, увлекающаяся болѣе внѣшностью, Пушкинъ не былъ вовсе похожъ на Байрона. «Пушкинъ не могъ понимать,—говоритъ г. Милюковъ,—той ужасной болѣзни, какою томилось общество европейское, не могъ питать къ нему той неумолимой ненависти и презрѣнія, какія кипѣли въ душѣ британскаго пѣвца, рожденнаго посреди самаго просвѣщеннаго народа, не могъ проливать тѣхъ горькихъ кровавыхъ слезъ, какими плакалъ Байронъ. Общество русское не было похоже на европейское, и если въ то время въ самой Европѣ не оцѣнили еще значенія пѣвца Чайльдъ-Гарольда и называли его главою *сатанинской школы*, то, разумѣется, Пушкинъ совсѣмъ не въ состояніи былъ понять его... Онъ плѣнился только разочарованнымъ и гордымъ характеромъ его героевъ, мрачнымъ колоритомъ картинъ и свободною легкостью формы». Такимъ образомъ Пушкину долго не давалась русская народность, и онъ изображалъ разочарованныхъ

«Плѣнниковъ» и «Алеко», вовсе не подозрѣвая, что такое разочарованіе не въ русскомъ характерѣ, хотя и встрѣчалось въ нашемъ обществѣ. Одаренный проницательностью художника, Пушкинъ скоро постигъ характеръ этого общества и, не стѣсняясь уже классическими приличіями, изобразилъ его просто и вѣрно; общество было въ восторгѣ, что видитъ, наконецъ, *настоящую,* не игрушечную поэзію, и принялось читать и перечитывать Пушкина. Съ его времени литература вошла въ жизнь общества, стала необходимой принадлежностью образованнаго класса. Но опять вопросъ: какъ относится этотъ классъ, по количеству и качеству, къ населенію цѣлой Россіи? Здѣсь нельзя не сознаться, даже съ нѣкоторымъ удовольствіемъ, что классъ людей, изображенныхъ Пушкинымъ и находящихся въ близкихъ отношеніяхъ къ нему, слѣдовательно имъ интересующихся, весьма малочисленъ у насъ. Повторяемъ: говоримъ это съ удовольствіемъ, потому что если бы въ Россіи было большинство такихъ талантливыхъ натуръ, какъ Алеко или Онѣгинъ, и если бы, при своемъ множествѣ, они все-таки оставались такими пошляками, какъ эти господа, — москвичи въ гарольдовомъ плащѣ, — то грустно было бы за Россію. Къ счастью, ихъ у насъ всегда было мало, и ихъ изображеніе не только народу было бы вовсе непонятно, но даже и въ образованномъ обществѣ интересовало не всѣхъ. Гораздо болѣе привлекли къ Пушкину вниманіе публики тѣ картины русской природы и жизни, какія разсыпаны повсюду въ его стхотвореніяхъ и выполнены съ удивительнымъ художественнымъ совершенствомъ. Въ то время и живое изображеніе природы было въ диковинку, а Пушкинъ такъ умѣлъ овладѣть формой

русской народности, что до сихъ поръ удовлетворяетъ въ этомъ отношеніи даже вкусу весьма взыскательному.

Мы сказали: *формой* народности, потому что содержаніе ея и для Пушкина было еще недоступно. Народность понимаемъ мы не только какъ умѣнье изобразить красоты природы мѣстной, употребить мѣткое выраженіе, подслушанное у народа, вѣрно представить обряды, обычаи и т. п. Все это есть у Пушкина: лучшимъ доказательствомъ служитъ его «Русалка». Но чтобы быть поэтомъ истинно-народнымъ, надо больше: надо проникнуться народнымъ духомъ, прожить его жизнью, стать вровень съ нимъ, отбросить всѣ предразсудки сословій, книжнаго ученія и пр., прочувствовать все тѣмъ простымъ чувствомъ, какимъ обладаетъ народъ, — этого Пушкину недоставало. Его генеалогическіе предразсудки, его эпикурейскія наклонности, первоначальное образованіе подъ руководствомъ французскихъ эмигрантовъ конца прошедшаго столѣтія, самая натура его, полная художнической воспріимчивости, но чуждая упорной дѣятельности мысли, — все препятствовало ему проникнуться духомъ русской народности. Мало того, — онъ отвращался даже отъ тѣхъ проявленій народности, какія заходили изъ народа въ общество, окружавшее Пушкина. Особенно проявилось это въ послѣдніе годы его поэтической дѣятельности. Жизнь все шла впередъ, міръ дѣйствительности, открытый Пушкинымъ и воспѣтый имъ такъ очаровательно, началъ уже терять свою поэтическую прелесть; въ немъ осмѣлились замѣчать недостатки, уже не во имя отвлеченныхъ идей и заоблачныхъ мечтаній, а во имя правды самой жизни. Ждали только человѣка, ко-

торый бы умѣлъ изобразить недостатки жизни съ такимъ же поэтическимъ тактомъ, съ какимъ Пушкинъ умѣлъ выставить ея прелести. За людьми дѣло не стало: явился Гоголь. Онъ изобразилъ всю пошлость жизни современнаго общества; но его изображенія были свѣжи, молоды, восторженны, можетъ быть болѣе, чѣмъ самыя задушевныя пѣсни Пушкина. Пушкинъ тоже тяготился пустотою и пошлостью жизни; но онъ тяготился ею, какъ Онѣгинъ, съ какимъ-то безсильнымъ отчаяніемъ. Онъ говорилъ о жизни:

Ея ничтожность разумѣю
И мало къ ней привязанъ я.

Но онъ не видѣлъ исхода изъ этой пустоты, его силъ не хватало на серьезное обличеніе ея, потому что внутри его не было ничего, во имя чего можно было предпринять подобное обличеніе. Онъ могъ только восклицать съ лирической грустью:

Цѣли нѣтъ передо мною,
Сердце пусто, празденъ умъ,
И томитъ меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ.

Оттого-то онъ и не присталъ къ литературному движенію, которое началось въ послѣдніе годы его жизни. Напротивъ, онъ покаралъ это движеніе еще прежде, чѣмъ оно явилось господствующимъ въ литературѣ, еще въ то время, когда оно явилось только въ обществѣ. Онъ гордо воскликнулъ въ отвѣтъ на современные вопросы: подите прочь! Какое мнѣ дѣло до васъ! и началъ пѣть Бородинскую годовщину и отвѣчать клеветникамъ Россіи знаменитыми стихами:

Вы грозны на словахъ, попробуйте на дѣлѣ!
Иль старый богатырь, покойный на постелѣ,
Не въ силахъ завинтить свой измаильскій штыкъ?
Иль русскаго царя безсильно слово?
Иль намъ съ Европой спорить ново?
Иль русскій отъ побѣдъ отвыкъ?

Можно было бы спросить: это ли направленіе чистой художественности? Не поднимаетъ ли здѣсь поэтъ тоже общественныхъ вопросовъ, съ тою разницею, что здѣсь выражаются интересы совсѣмъ другого рода? Да, эти произведенія были въ поэтической дѣятельности Пушкина шагомъ назадъ, — къ державинской и ломоносовской эпохѣ. Но общество наше было теперь уже не то. Г. Милюковъ справедливо говоритъ: «Общество скоро поняло, что любимый поэтъ оставилъ его, что народныя радости и печали не находятъ уже въ немъ горячаго сочувствія и даже встрѣчаютъ холодное презрѣніе. Тогда публика въ свою очередь, по невольному инстинкту, оставила поэта. Это охлажденіе публики сильно тревожило Пушкина въ послѣдніе годы его жизни. Онъ видѣлъ, какъ разорвалась та симпатическая связь, которая соединяла его съ обществомъ, и началъ съ лихорадочнымъ безпокойствомъ бросаться во всѣ отрасли литературы: въ исторію, романъ, журналистику, отыскивая какой-нибудь струны, которая связала бы его съ публикою. Но ничто не помогало, и смерть избавила его отъ печальной необходимости видѣть себя живымъ мертвецомъ посреди того общества, которое прежде рукоплескало каждому его слову» (стр. 177). Все это служитъ доказательствомъ того, что Пушкинъ постигъ только форму русской народности, но не могъ еще войти въ духъ ея. Этимъ-то и объясняет

ся, что въ послѣднее время онъ сталъ писать стихотворенія: «Клеветникамъ Россіи» и т. п., имѣвшія, можетъ быть, прекрасную художественную отдѣлку, но, по своей мысли, все-таки назначенныя *«для немногихъ»*, а никакъ не для большинства публики. Впрочемъ, недавно изданный VII томъ Пушкина доказываетъ, что воспріимчивая натура поэта не оставалась глуха къ призывамъ общественныхъ вопросовъ; только недостатокъ прочнаго глубокаго образованія препятствовалъ ему сознать прямо и ясно къ чему стремиться, чего искать, во имя чего приступать къ рѣшенію общественныхъ вопросовъ.

Болѣе силъ нашелъ въ себѣ Гоголь, котораго значеніе въ исторіи русской литературы не нуждается уже въ новыхъ объясненіяхъ. Но и онъ не смогъ идти до конца по своей дорогѣ. Изображеніе пошлости жизни ужаснуло его; онъ не созналъ, что эта пошлость не есть удѣлъ народной жизни, не созналъ, что ее нужно до конца преслѣдовать, нисколько не опасаясь, что она можетъ бросить дурную тѣнь на самый народъ. Онъ захотѣлъ представить идеалы, которыхъ нигдѣ не могъ найти; онъ, не въ состояніи будучи шагнуть черезъ Пушкина до Державина, шагнулъ назадъ до Карамзина: его Муразовъ есть повтореніе Фрола Силина, благодѣтельнаго крестьянина, его Уленька — блѣдная копія съ бѣдной Лизы. Нѣтъ, и Гоголь не постигъ вполнѣ, въ чемъ тайна русской народности, и онъ перемѣшалъ хаосъ современнаго общества, кое-какъ изнашивающаго лохмотья взятой взаймы цивилизаціи, съ стройностью простой, чисто народной жизни, мало испорченной чуждыми вліяніями и еще способной къ обновленію на началахъ правды и здраваго смысла.

Если окончить Гоголемъ ходъ нашего литературнаго развитія, то и окажется, что до сихъ поръ наша литература почти никогда не выполняла своего назначенія: служить выраженіемъ народной жизни, народныхъ стремленій. Самое большое, до чего она доходила, заключалось въ томъ, чтобы сказать или показать, что есть и въ народѣ нѣчто хорошее. Съ теченіемъ времени подобныя замѣчанія и указанія дѣлаются все чаще и чаще, и въ этомъ пока заключается развитіе нашей литературы. Въ числѣ исключительныхъ личностей, мало имѣвшихъ вліянія на литературное движеніе, нельзя забыть Кольцова и Лермонтова. Кольцовъ жилъ народною жизнью, понималъ ея горе и радости, умѣлъ выражать ихъ. Но его поэзіи недостаетъ всесторонности взгляда; простой классъ народа является у него въ уединеніи отъ общихъ интересовъ, только съ своими частными житейскими нуждами: оттого пѣсни его, при всей своей простотѣ и живости, не возбуждаютъ того чувства, какъ, напримѣръ, пѣсни Беранже. Лермонтовъ же обладалъ, конечно, громаднымъ талантомъ, и, умѣвши рано постичь недостатки современнаго общества, умѣлъ понять и то, что спасеніе отъ этого ложнаго пути находится только въ народѣ. Доказательствомъ служитъ его удивительное стихотвореніе «Родина», въ которомъ онъ становится рѣшительно выше всѣхъ предразсудковъ патріотизма и понимаетъ любовь къ отечеству истинно, свято и разумно. Онъ говоритъ:

Люблю отчизну я, но странною любовью;
Не побѣдитъ ея разсудокъ мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордаго довѣрія покой,
Ни темной старины завѣтныя преданья
Не шевелятъ во мнѣ отраднаго мечтанья.

Что же любитъ въ родинѣ этотъ поэтъ, равнодушный и къ воинской славѣ, и къ величавому покою государства, и даже къ преданьямъ темной старины, записаннымъ смиренными иноками-лѣтописцами? Вотъ что онъ любитъ:

Проселочнымъ путемъ люблю скакать въ телѣгѣ
И, взоромъ медленнымъ пронзая ночи тѣнь,
Встрѣчать по сторонамъ, вздыхая о ночлегѣ,
Дрожащіе огни печальныхъ деревень.
Люблю дымокъ спаленной жнивы,
Въ степи кочующій обозъ,
И на холмѣ, средь желтой нивы,
Чету бѣлѣющихъ березъ.
Съ отрадой, многимъ незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
Съ рѣзными ставнями окно;
И въ праздникъ, вечеромъ росистымъ,
Смотрѣть до полночи готовъ
На пляску, съ топаньемъ и свистомъ,
Подъ говоръ пьяныхъ мужичковъ.

Полнѣйшаго выраженія чистой любви къ народу, гуманнѣйшаго взгляда на его жизнь нельзя и требовать отъ русскаго поэта. Къ несчастью, обстоятельства жизни Лермонтова поставили его далеко отъ народа, а слишкомъ ранняя смерть помѣшала ему даже поражать пороки современнаго общества съ тою широтою взгляда, какой до него не обнаруживалъ ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ . . .

Таковъ былъ, по нашему мнѣнію, общій ходъ развитія русской литературы съ древнѣйшихъ временъ.

А сатирическое-то направленіе? восклицаетъ читатель. Вы о немъ ничего не говорите? Что литературное развитіе вообще было слабо, это мы знаемъ; это и г. Милюковъ говоритъ, и еще гораздо сильнѣе васъ. Но онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, превозно-

ситъ сатирическое направленіе. Г. Милюковъ говоритъ, что безъ сатирическаго направленія никакого спасенія не было для русской литературы, и что сатирическое направленіе всегда ее поддерживало, оживляло, возносило и прославляло. Г. Милюковъ говоритъ, что «сатира всегда сражалась съ массою, которая постепенно уменьшается; что она враждовала съ настоящимъ, какъ съ остатками прошедшаго, указывая на славное будущее, что она всегда производила благотворное дѣйствіе на нравы, что въ сатирѣ общество наше нашло тотъ двигатель, который постоянно продолжаетъ вести его по пути къ совершенству, уничтожая преграды, поставленныя вѣковымъ отчужденіемъ и невѣжествомъ». Вотъ что говоритъ г. Милюковъ о значеніи сатиры А мы даже не упомянули о ея благотворномъ вліяніи.

Да, — отвѣчаемъ мы, — вѣрьте г. Милюкову! Онъ слишкомъ нѣжно смотритъ на русскую литературу; онъ проникнутъ такою горячею любовью къ ней, что непремѣнно хочетъ въ ней отыскать нѣчто превосходное и благодѣтельное для нравовъ общества. Не за что взяться, такъ онъ и принялся за сатиру, какъ за прекрасное средство дать почувствовать благородныя стремленія литературы. Это съ его стороны большая поблажка, дѣлающая честь добротѣ его сердца, но тѣмъ не менѣе излишняя. Что касается до насъ, то мы вполнѣ вѣримъ г. Милюкову только тогда, когда онъ бранитъ что-нибудь: ужъ если такой добрый и снисходительный человѣкъ находитъ, что это дурно, думаемъ мы, то ужъ вѣрно и въ самомъ дѣлѣ дурно. Но когда онъ хвалитъ, то нельзя не видѣть, какъ его доброе сердце преувеличиваетъ значеніе восхваляемой вещи. Вотъ хоть бы и сатира русская . . .

Мы о ней нарочно не говорили именно потому, что г. Милюковъ такъ превозноситъ ее. «Очеркъ поэзіи» г. Милюкова составленъ такъ хорошо, какъ ни одна изъ исторій русской литературы, и потому намъ не хотѣлось спорить съ почтеннымъ авторомъ о предметѣ, который такъ послѣдовательно проведенъ имъ по всей книгѣ. Сатирическое направленіе, разумѣется, хорошо; кто же объ этомъ споритъ? Но зачѣмъ приходить отъ него въ такой восторгъ? зачѣмъ приписывать ему исправленіе нравовъ общества, зачѣмъ считать его какимъ-то двигателемъ? Стоитъ всмотрѣться пристальнѣе въ нашу сатиру, чтобы убѣдиться, что она проповѣдывала зады. Положеніе нашихъ сатириковъ было, въ самомъ дѣлѣ, отлично выгодное: они видѣли передъ глазами, въ другихъ частяхъ Европы, лучшій порядокъ и могли смѣяться надъ нашимъ дурнымъ порядкомъ, зная, чего именно хотятъ они. Они могли выставлять на позоръ наши заблужденія, наше невѣжество, почерпнувъ изъ западной науки истины, еще неизвѣстныя и недоступныя нашему обществу. Но что же дѣлала сатира? Она всегда шла позади жизни, тогда какъ, по своему исключительному положенію среди нашего общества, могла опережать ее; она видѣла порокъ только тогда, когда онъ былъ ужъ уличенъ, опубликованъ и всенародно наказанъ; ранѣе она не осмѣливалась дотронуться до него. Вѣдь были у насъ, конечно, люди образованные и раньше Кантемира; были и противники просвѣщенія: отчего же только послѣ указа Петра о томъ, что стыдно быть невѣждою, особливо дворянину, и что всѣ дворяне должны учиться, отчего только послѣ этого является сатира на хулящихъ ученіе? Пьянство испоконъ вѣку у насъ

было распространено; противъ него были указы еще въ XVI и XVII вѣкахъ; а до Кантемира опять никто сатирически не изобразилъ его. Мѣстничество при Петрѣ уже окончательно пало, а Кантемиръ потѣшается надъ нимъ (то есть вообще надъ боярской спесью) въ цѣлой длиннѣйшей сатирѣ. А ханжество, лесть, обманъ и т. п. развѣ меньше были распространены до Кантемира? Что же никто не поражалъ ихъ? Отвѣтъ, конечно, легокъ: тогда и сатиры вовсе не было, а на нѣтъ и суда нѣтъ. Ну, хорошо; а почему Кантемиръ не поражалъ тѣхъ пороковъ, какіе въ его время были сильны? Вы спросите какіе пороки? Да возьмите современныя записки, или хоть немножко пораньше. Возьмите хоть Кошихина. Вотъ, напримѣръ, онъ говоритъ, что при царскомъ погребеніи, которое совершается всегда ночью, бываетъ страшный грабежъ, потому что московскихъ людей *натура не богобоязливая:* «и сыщется того дни, какъ бываетъ царю погребеніе, мертвыхъ людей, *убитыхъ* и *зарѣзанныхъ,* больше ста человѣкъ. И изойдется на царское погребеніе денегъ на Москвѣ и въ городахъ близко того, что на годъ придетъ съ государства казны» (стр. 17). Или, напримѣръ, тотъ же почтенный подьячій пишетъ, что «во всемъ свѣтѣ нигдѣ такого на дѣвки обманства нѣтъ, яко въ московскомъ государствѣ», и описываетъ эти обманства. А они продолжались, съ разными видоизмѣненіями, и во времена Кантемира. Или — у Кошихина есть такое извѣстіе о чиновникахъ: хотя, говоритъ онъ, за взятки и положено наказаніе, и чиновники клянутся и крестъ цѣлуютъ, чтобы посуловъ не принимать, но «ни во что вѣра ихъ и заклинательство, отъ прелести очей своихъ удержати не могутъ и руки ко взятію

скоро допущаютъ, хотя не сами собою, однако по задней лѣстницѣ, чрезъ жену или дочерь, или чрезъ сына, и брата, и человѣка, и не ставятъ того себѣ во взятые посулы, будто про то и не вѣдаютъ» (стр. 93). Или вотъ это: «А буде (бояре и дворяне) учинятъ надъ подданными своими крестьянскими женами и дочерьми какія блудныя дѣла, или у жонки выбьютъ робенка, или мученая и битая съ робенкомъ умретъ, и будетъ на такихъ злочинцевъ челобитье, и по ихъ челобитью отсылаютъ такія дѣла на Москву къ патріарху» (стр. 114). Да чего тутъ ждать челобитья! Сатирой бы ихъ хорошенько этихъ злочинцевъ! Ихъ-то именно и прикрыть бы сатирой! Но сатира Кантемирова молчала объ этомъ, а возставала съ благороднымъ негодованіемъ противъ Медора, завивающаго кудри, противъ Менандра, переносящаго вѣсти, противъ скупого Хризиппа, противъ расточительнаго Клеарха. А главной ея заботой было воспѣть пользу преобразованій, уже сдѣланныхъ Петромъ, и посмѣяться надъ тѣми, которые безсильно на словахъ еще отвергали ихъ пользу. А то мало ли было во время Петра и вскорѣ потомъ пороковъ, подлежащихъ обличенію литературы! Загляните только въ «Записки Желябужскаго»: чего тамъ нѣтъ! «Въ 193 (1685) г. князю Петру Кропоткину учинено наказанье: битъ кнутомъ за то, что въ дѣлѣ своровалъ, выскребъ и приписалъ своею рукою. Въ томъ же году князь Яковъ Ивановъ, сынъ Лобановъ-Ростовскій, да Иванъ Андреевъ, сынъ Микулинъ, ѣздили на разбой по Троицкой дорогѣ, къ красной соснѣ, разбивать государевыхъ мужиковъ, съ ихъ великихъ государей казною, и тѣхъ мужиковъ они разбили, и казну взяли себѣ, и двухъ человѣкъ мужиковъ убили до смер-

ти. — Въ 201 (1693) году князю Александру Борисову сыну Крупскому чинено наказанье: бить кнутомъ за то, что жену убилъ. — Въ 202 г. земскаго приказа дьякъ Петръ Вязмитиновъ передъ московскимъ судныйъ приказомъ подыманъ съ козелъ и, вмѣсто кнута, битъ батоги нещадно: своровалъ въ дѣлѣ, на правежъ ставилъ своего человѣка вмѣсто отвѣтчика». Такія явленія заслуживали, я думаю, литературнаго обличенія болѣе, нежели завиванье кудрей и пристрастіе къ французскимъ модамъ. Если хотите прослѣдить явленія русской жизни, подлежащія сатирѣ, далѣе, то можете заглянуть во многія книги, только не въ сатирическія творенія. Въ русской сатирѣ современность вы рѣдко найдете; скорѣе попадется она вамъ въ какихъ-нибудь мемуарахъ Манштейна, Миниха, Храповицкаго, Грибовскаго, въ «Семена Порошина Запискахъ», въ «Актахъ, извлеченныхъ изъ иностранныхъ архивовъ» Тургеневымъ, въ «Полномъ собраніи законовъ Россійской Имперіи». Въ «Полномъ собраніи» есть, напримѣръ, указъ Петра I о томъ, «что крестьянъ продаютъ въ розницу, какъ скотовъ, и даже такъ, что отъ семей, отъ отца или отъ матери дочь или сына помѣщикъ продаетъ, отчего не малый вопль бываетъ». Сатира не коснулась такихъ явленій до послѣдняго времени. Можно ли послѣ этого сказать, что она была двигательницею общества по пути къ совершенству? стоитъ ли такъ же говорить о ея благотворномъ вліяніи на исправленіе нравовъ? Сумароковъ преслѣдовалъ взяточничество; это было хорошо, хотя и поздно немножко, потому что объ этомъ злѣ есть уже положительныя упоминанія въ XVI столѣтіи. Но что же вышло изъ его обличеній? Черезъ 25 лѣтъ послѣ не-

го Капнистъ опять обличалъ то же; черезъ 40 лѣтъ потомъ Гоголь возсталъ противъ того же въ «Ревизорѣ»; нынѣ, черезъ 20 лѣтъ послѣ «Ревизора», образовалась цѣлая литература приказной казуистики: видно, что мало пользы принесли сатиры русскихъ авторовъ, какъ онѣ ни были разнообразны и ядовиты. А все отчего? оттого, что сатира всегда была робка, мелочна, близорука, пока сама жизнь не опережала ея. Кого выводили преслѣдователи взятокъ? Городничаго, исправника, станового, квартальнаго, предсѣдателя гражданской палаты, да еще какого-то нарицательнаго судью, вѣроятно уѣзднаго. Предположите же, что всѣ подобные мелкіе чиновники исправились бы послѣ сатирическихъ нападеній на нихъ: думаете ли вы, что этого было бы довольно для прекращенія взяточничества въ цѣлой Россіи? — При томъ посмотрите, съ какой точки зрѣнія дѣлаются у насъ всѣ обличенія сатирическія. Говоря, — совершенно справедливо, что

... Законы святы,
Да исполнители — лихіе супостаты,

наши сатирики на томъ и успокаиваются. Не принимая въ разсчетъ состоянія общественной нравственности, ни историческихъ обстоятельствъ развитія порока, ни общаго положенія администраціи, ни отношеній одного класса къ другому, сатирики рады свалить всю бѣду на бѣдную личность чиновника, которая часто вовсе безъ вины виновата. Такъ одинъ умный администраторъ, въ родѣ Сквозника-Дмухановскаго, хотѣлъ предать суду одного человѣка, пойманнаго на мѣстѣ въ азартной игрѣ. «Съ кѣмъ же онъ былъ пойманъ?» Да одинъ, видите: онъ велъ азартную игру самъ съ собою! . .

Возьмите другой порокъ, который преслѣдовала наша сатира — невѣжество. Кантемиръ смѣялся надъ тѣми, которые не слушаются указовъ Петра I; Чувства его очень похвальны, хотя опять нельзя сказать, чтобъ они предупредили жизнь . . . Но посмотримъ, что изъ того вышло. Прошло 30—40 лѣтъ; Сумароковъ опять выводитъ господина, который говоритъ:

... Не надобно наукъ:
Пускай убытчается, уча ребятокъ, моты,
Мой мальчикъ не ученъ, а въ П. жъ пойдетъ вороты.

Прошло еще лѣтъ 20; г-жа Простакова говоритъ: что за географія? извозчики есть; что за дѣленіе? ни съ кѣмъ дѣлиться своимъ добромъ не надобно, и пр., въ этомъ духѣ. Проходитъ еще лѣтъ 40, и мы слышимъ сожалѣніе о князѣ Ѳедорѣ, который Богъ знаетъ зачѣмъ учится разнымъ наукамъ . . . Что изъ этого слѣдуетъ? По-нашему, — то, что одно изъ двухъ положеній г. Милюкова въ пользу сатиры невѣрно: или сатира не производила благодѣтельнаго вліянія на нравы; или же она производила его, и тогда, значитъ, послѣ Кантемира, она ужъ все повторяла зады единственно для своего удовольствія.

Повторять зады, впрочемъ, не въ диковинку было русской сатирѣ; она отлично умѣла бранить то, что ужъ отжило свой вѣкъ и было неопасно. Въ этомъ отношеніи особеннымъ искусствомъ отличался Державинъ. Онъ умѣлъ сочинить даже оду сатирическую, обративши стрѣлы своего остроумія на прошедшее да на нѣкоторыя анонимныя личности, которыхъ, впрочемъ, испугался, узнавъ, что до нихъ дошла его ода. Между прочимъ онъ остро-

умно и справедливо говоритъ, что при дворѣ Фелицы

> … Свадебъ шутовскихъ не парятъ,
> Въ ледовыхъ баняхъ ихъ не жарятъ;
> Не щелкаютъ въ усы вельможъ;
> Князья насѣдками не клохчутъ,
> Любимцы въявь имъ не хохочутъ
> И сажей не мараютъ рожъ.

А вѣдь когда это все совершалось, ничей сатирическій голосъ не поднялся для порицанія подобныхъ потѣхъ! Вотъ вамъ и могущество русской сатиры!

Если же не на прошедшее обращались нападенія сатириковъ, то ужъ на такіе микроскопическіе недостатки, отъ которыхъ общественная нравственность рѣшительно не измѣняла своего положенія. Напримѣръ, въ прошломъ столѣтіи каждый сатирикъ непремѣнно преслѣдовалъ со всѣмъ жаромъ «плохихъ стихотворцевъ». На нихъ и сатиры, и басни писались, и въ посланіяхъ они задѣвались, и даже, кажется, въ разговорахъ въ царствѣ мертвыхъ осмѣивались. Не правда ли, какое достойное занятіе для русскаго сатирика! Какъ хорошо рисуется этимъ домашнее, патріархальное значеніе русской литературы, которая писалась сама для себя, находила предметы въ своемъ тѣсномъ кружкѣ и довольна была тѣмъ, что производила посланія одного поэта къ другому, эпиграммы другого на третьяго, критики третьяго на посланія перваго, сатиры перваго на критики третьяго, и т. д. Вотъ ужъ въ подлинномъ смыслѣ литература была сама для себя цѣлью: художественная, видно, была литература!

Что же касается до дѣйствительныхъ и важныхъ злоупотребленій поэзіи, они никогда не встрѣ-

чали своевременнаго обличенія. Пиндаризмъ, имѣвшій въ виду

... Награду перстенькомъ,
Нерѣдко сто рублей, иль дружество съ князькомъ,

не встрѣтилъ насмѣшки ни въ ломоносовское, ни въ державинское время; а уже тогда, когда онъ отжилъ свой вѣкъ, явилась злая сатира Дмитріева: «Чужой толкъ». Надъ поэмами Хераскова тоже стали смѣяться только съ двадцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія. Только надъ Жуковскимъ Батюшковъ осмѣлился посмѣяться очень скоро, сочинивши пародію на его «Пѣвца»; зато пародія эта не была извѣстна публикѣ до прошедшаго года.

А подражаніе французамъ! Отъ Кантемира, Сумарокова, фонъ-Визина до «Русскаго Педагогическаго Вѣстника», издаваемаго съ прошлаго года нѣкіимъ господиномъ Вышнеградскимъ — всѣ, вотъ ужъ слишкомъ сто лѣтъ, всѣ нападаютъ на подражаніе французамъ; но только все не въ прокъ! Богъ знаетъ отчего это! — кажется, ужъ «Русская Бесѣда» и русское воззрѣніе сочинила на мѣсто французскаго, а все толку нѣтъ; какъ открылась первая возможность, такъ и отправились десятки тысячъ за границу... А замѣтьте, что подражаніе французамъ распространено вѣдь въ ничтожномъ меньшинствѣ русскихъ: народъ и до сихъ поръ, хоть и не чуждается иноземцевъ, какъ прежде, но и не думаетъ перенимать ихъ нравы. Что же это за могучая сатира, которая съ ничтожнымъ кружкомъ, въ частномъ вопросѣ, не можетъ справиться?

Нѣтъ, какъ вы хотите, и въ сатирѣ нашей постоянно господствовала та мелкость, та узкость взгляда, которыя мы замѣтили вообще въ нашей ли-

тературѣ. И сатира не возвышалась у насъ до пониманія народныхъ интересовъ. Нельзя же вѣдь Сумарокова, напримѣръ, назвать представителемъ народныхъ интересовъ только потому, что у него есть такіе стихи:

На то ль дворяне мы, чтобъ люди работали,
А мы бы ихъ труды по знатности глотали?
Мужикъ и пьетъ и ѣстъ, родился и умретъ;
Господскій также сынъ, хотя и слаще жретъ,
И благородіе свое нерѣдко славитъ,
Что цѣлый полкъ людей на карту онъ поставитъ:
Ахъ, должно ли людьми скотинѣ обладать!

Этими стихами обольщаться не должно; смыслъ ихъ не простирается далѣе такого заключенія: людьми надобно обладать не скотинѣ, а людямъ, и обладать по-людски, т. е. милостиво и справедливо. Та же мысль и у фонъ Визина, въ отзывахъ Простаковой о Палашкѣ. Въ случаѣ надобности, это можно доказать другими мѣстами изъ ихъ сочиненій.

Вообще, что русская сатира не народна, это видно ужъ изъ того, что она противорѣчитъ народной пословицѣ: «лежачаго не бьютъ». Она постоянно возставала на лежачаго, какъ только переставала пересыпать изъ пустого въ порожнее. А большею частью занималась этимъ полезнымъ пересыпаньемъ. Вѣдь придетъ же, въ самомъ дѣлѣ, въ голову русскому сатирику переводить «Буалову сатиру о различіи страстей человѣческихъ»! Или передѣлывать на русскіе нравы Ювеналову сатиру о благородствѣ! Грибоѣдовъ какъ будто имѣлъ въ виду русскихъ сатириковъ, изображая Чацкаго. Ни къ селу, ни къ городу, людямъ, которые не хотятъ ихъ слушать и не могутъ понять, а если поймутъ,

то не могутъ выполнить ихъ требованій, начинаютъ они кричать о Кузнецкомъ мостѣ и вѣчныхъ нарядахъ, объ иголкахъ и шпилькахъ (не замѣчая слона), возстаютъ противъ фраковъ и бритья бороды (а сами выбриты и во фракѣ), противъ мелочныхъ недостатковъ, зависящихъ отъ обычая или даже приличій, принятыхъ всѣми и въ сущности никому не мѣшающихъ. И тутъ же вдругъ, какъ снѣгъ на голову, грянутъ съ какимъ-нибудь маленькимъ требованьемъ: будь, дескать, добродѣтеленъ, служи безкорыстно, ставь общее благо выше собственнаго, и т. п. абстракціи, весьма милыя и вполнѣ справедливыя, но, къ несчастью, рѣдко зависящія отъ воли частнаго человѣка . . . Совершенно такъ, какъ Чацкій издѣвается надъ фракомъ, очень хорошо понимая, однако, что носить или не носить фракъ, брить или не брить бороду, вовсе не зависитъ отъ восклицаній какого-нибудь одного азартнаго господина.

Нѣтъ, мы рѣшительно недовольны русской сатирой, исключая сатиры гоголевскаго періода. Вотъ почему и не хотѣли мы говорить о ней такъ, какъ мы о многомъ не хотѣли говорить въ этой статьѣ. Просимъ читателей не видѣть въ нашихъ отрывочныхъ замѣткахъ какихъ-нибудь особенныхъ претензій. Мы даже не хотѣли проводить своего взгляда по всѣмъ явленіямъ русской литературы: мы сказали только, что любопытно было бы представить ходъ развитія русской литературы съ такой точки зрѣнія: какъ она постепенно сближалась съ народомъ и дѣйствительностью, постепенно избавляясь отъ исключительнаго вліянія книжниковъ-монополистовъ и отъ призрачныхъ, туманныхъ идей, насильно навязанныхъ ими литературѣ. Г. Милюковъ

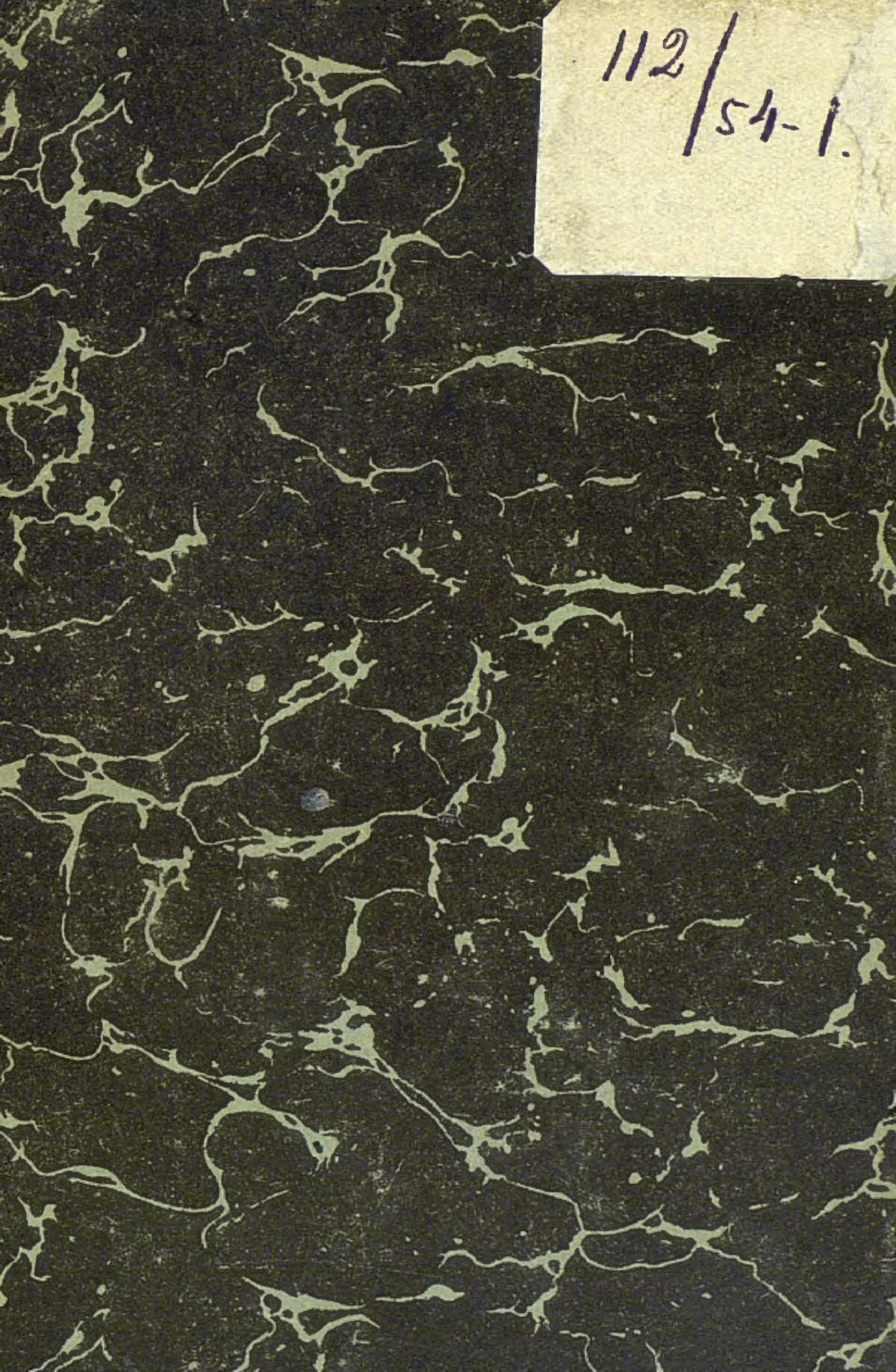
отчасти имѣлъ въ виду этотъ взглядъ въ послѣдней половинѣ своего труда, именно въ оцѣнкѣ дѣятельности Пушкина, Лермонтова и Гоголя; но, увлекшись жаркою любовью къ сатирическому направленію, — онъ не могъ провести этого взгляда по всей книгѣ. Да если бы и провелъ, то результаты его оказались бы, вѣроятно, излишне плодотворны, опять по тому же крайнему уваженію къ сатирѣ. Мы же съ своей стороны признаемъ только плодотворность сатиры Лермонтова, Гоголя и его школы, — да и то не въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, какъ представляетъ г. Милюковъ. Мы видимъ, что и Гоголь хотя въ лучшихъ своихъ созданіяхъ очень близко подошелъ къ народной точкѣ зрѣнія, но подошелъ безсознательно, просто художнической ощупью. Когда же ему растолковали, что теперь ему надо идти дальше и уже всѣ вопросы жизни пересмотрѣть съ той же народной точки зрѣнія, оставивши всякую абстракцію и всякіе предразсудки, съ дѣтства привитые къ нему ложнымъ образованіемъ, тогда Гоголь самъ испугался: народность представилась ему бездной, отъ которой надобно отбѣжать поскорѣе, и онъ отбѣжалъ отъ нея и предался отвлеченнѣйшему изъ занятій — идеальному самоусовершенствованію. Несмотря на то, художническая его дѣятельность оставила глубокіе слѣды въ литературѣ, и отъ нынѣшняго направленія можно ожидать чего-нибудь хорошаго, потому что нынѣшніе дѣятели начинаютъ явно стыдиться своего отчужденія отъ народа и своей отсталости во всѣхъ современныхъ вопросахъ. Предупредить жизни литература не можетъ, но предупредить формальное, офиціальное проявленіе интересовъ, выработавшихся въ жизни, она должна. Пока еще извѣстная идея нахо-

дится въ умахъ, пока еще она только должна осуществиться въ будущемъ, тутъ-то литература и должна схватить ее, тутъ-то и должно начаться литературное обсужденіе предмета съ разныхъ сторонъ и въ видахъ различныхъ интересовъ. Но ужъ когда идея перешла въ дѣло, сформировалась и рѣшилась окончательно, тогда литературѣ нечего дѣлать: развѣ только одинъ разъ (не больше) похвалить то, что сдѣлано. Поздняя же брань будетъ просто постыднымъ пересыпаньемъ изъ пустого въ порожнее, и будетъ только напоминать того хохла, который, будучи сильно побитъ, пришелъ домой и храбрился передъ родными, хвастаясь, что когда его били, такъ онъ тоже свое дѣло дѣлалъ — «показывалъ фигу» — въ карманѣ.

Пора наконецъ и разстаться съ г. Милюковымъ. Но мы не можемъ разстаться съ нимъ, не обративши вниманія читателей на его превосходный разборъ «Мертвыхъ душъ», по всѣмъ правиламъ эпической поэмы. Примѣненіе всѣхъ этихъ правилъ къ «Мертвымъ душамъ» обнаруживаетъ въ авторѣ большой діалектическій талантъ. Какъ, напримѣръ, умѣлъ онъ найти *чудесное* въ «Мертвыхъ душахъ?» — это была трудная задача, онъ нашелъ, и нашелъ такъ искусно, что мы не можемъ удержаться отъ удовольствія выписать это мѣсто.

„Въ героической поэмѣ, по условіямъ теоріи, должно быть чудесное: таково въ Энеидѣ вмѣшательство Эола и Юноны въ судьбу сына Анхизова, а въ Иліадѣ — участіе боговъ Олимпа во всѣхъ битвахъ и событіяхъ подъ стѣнами Трои. И это мы находимъ въ нашей отечественной эпопеѣ. Что можетъ быть чудеснѣе этихъ мертвыхъ душъ, которыя „окончили въ нѣкоторомъ родѣ свое земное существованіе“, а между тѣмъ невидимо присутствуютъ передъ вами по всей повѣсти и служатъ главнымъ основаніемъ

Типо-лит. Акц. О-ва „Самообразованіе". Спб., Забалканскій пр., д. 75


112/54-1.